

Булат Окунтава



Булат Окуджав

БУЛАТ ОКУДЖАВА

ДВА
РОМАНА

ПОСЕВ

Обложка работы Я. Трушновича

© 1970. Possev-Verlag, V. Gorachek K.G.,
Frankfurt/Main
Printed in Germany

Бедный Авросимов

Роман

Иван Евдокимович Авросимов, молодой рослый розовощекий человек с синими глазами, широко посаженными, отчего выражение его лица было всегда удивленным и даже восторженным, не успел пронумеровать и половины объемистой тетради, как затылком ощутил, что в комнате появились люди. Они вошли неслышно, чем немало смутили нашего героя и даже повергли его в трепет.

И действительно, шутка ли сказать, но как бы вы, милостивый государь, не вздрогнули и не сжались бы, когда в комнату, где вы приспособились быть один со своим занятием, вдруг пожаловали бы столь знатные особы, рядом с которыми вы — ничто.

И не то чтобы один из них заглянул в дверь мимоходом, случайно (и то страху не оберешься), а просто весь Высочайший комитет при всех орденах и регалиях изволил пожаловать к длинному своему столу, словно на торжественное пиршество.

У Авросимова, как он ни перепугался, все же мелькнул этот не совсем, может быть, удачный образ относительно пришествленного стола, ибо со времени известного и ужасного предприятия на Петровской площади прошло около месяца и первоначальный ужас начал зарастать корочкой.

Иван Авросимов, будучи провинциалом, никогда не предполагал, что фортуна так смилостивится к нему и уже в молодые лета вознесет его в место, которое раньше и сниться-то ему не могло и где будет решаться судьба того самого предприятия, наделавшего в государстве столько шуму.

И хотя наш герой сидел от главного стола на почтительном расстоянии, за своим маленьким столиком в уг-

лу и не должен был не то что слова молвить, но и глаз казать, он, однако, нисколько не чувствовал себя обойденным. И вот уж действительно не было ни гроша, да вдруг алтын, ибо, не приди его дядя, отставной штабс-капитан Артамон Михайлович Авросимов, в то знаменательное утро на площадь просто так, полюбопытствовать, как солдаты выстраиваются вокруг Петрова монумента, и не увидь он молодого императора Николая Павловича, который на всякий народ, на кучеров да на мастеровых топал ногами в ботфортах и кричал «Вот я вас!», и не бросься Артамон Михайлович с обнаженной шпагой на эту толпу с яростью, помутившей его взор, что царю не подчинились, и не осадил толпа, не было бы у нашего героя нынешнего взлета.

Однако все произошло именно так, и его величество изволили обратить внимание на Артамона Михайловича и на его верноподданное старание и даже сказали при этом: «Молодец, я тебя не забуду...»

И ведь не забыл, ибо к Артамону Михайловичу, примкнувшему к царской когорте, несмотря на преклонные годы, уже через какой-нибудь час подскочил адъютант генерала или полковник какой-то, а может быть, и не то и не другое, а сам генерал, и повлек старого Авросимова за собой, и граф Чернышев или Милорадович, со щекою в крови, протянул ему руку в белой перчатке...

Что там в этой перчатке было, дядя не рассказывал, но стоило Артамону Михайловичу потом заикнуться о своем племяннике, как тотчас племянник этим графом был вознесен и усажен на стул — писать быстро и разборчиво все, что говорится на Следственной комиссии, где эти гордые и недостижимые государственные деятели спрашивают у бунтовщиков по всей строгости, как, мол, они даже в мыслях могли иметь такое, а не то что на площадь выходить с оружием.

Вот уже почти неделю Иван Авросимов восседал на своем стуле, вот уже почти неделю по утрам входил он во двор Петропавловской крепости, однако привык-

нуть никак не мог и всякий раз вздрагивал, когда перед ним взлетала полосатая палка шлагбаума.

И пока он торопливо, по сторонам не глядя, семенил по двору, махнув рукой на достоинство и походку, выработанную в своей провинции, то есть умение ходить медленно, задрав голову, чтобы не подумали, что он там что-нибудь такое, а он как никак все-таки Авросимов и владелец двухсот душ, и вот пока он семенил таким образом, его одолевали всякие страшные мысли под влиянием темных крепостных стен и окон казематов, за которыми живые души гнили заживо.

И нынче утром, как всегда, пробегал он двор, торопясь на свой стул чудесный, и вдруг в отличие от прошлых разов, когда только страх и ужас леденили его, почувствовал, как что-то облегчило душу, и он понял, что это от мысли о том, что он не принадлежит к числу тех, кем так плотно нынче забиты казематы.

Господи, как это прекрасно придумано, что человеку непричастному можно дышать свободно, что есть судья, который все видит, все знает и ни в чем его не собьешь. Ведь могло бы случиться так, что он, Иван Авросимов, ходил бы, влача цепи на ногах... Ан не случилось.

И это был первый день, когда наш герой смог настоящему вздохнуть свободно. И он вздохнул, с благодарностью оценивая все выгоды своего положения. И словно в подтверждение его мыслей, перед ним возникло печальное шествие, которое состояло из преступника, влачившего по снегу кандалы, и из двух солдат с офицером во главе. Куда вели злодея, Авросимов не понял, да это было и неважно, но он еще раз радостно вздохнул, словно только что сам вырвался на свободу, да к тому же перестал семенить и голову вскинул, чтобы уж никак не было сходства, чтобы лишний раз хотя бы для самого себя почувствовать пропасть меж собой и им...

А злодей шел на него, и место попало такое, что нельзя было Авросимову свернуть, и он даже остано-

вился, чтобы ненароком не задеть злодея, не коснуться его. И так он стоял, видя его приближение, вознеся голову и стараясь придать лицу выражение полного презрения, хотя сквозь все усилия все-таки пробивалась краска испуга и губы мелко подрагивали.

А злодей все приближался. Был он коренаст. Дорогая, но потертая шинель была наброшена на плечи. Ноги его ступали в снег неуверенно. Из-под серой нанковой шапочки вылезал на лоб светлый чубчик, довольно-таки реденький. Ах, знаком был этот облик, знаком! И молодой Авросимов решительно глянул злодею в глаза. Но глаз его он не увидел. Глаз не было. Был белый блин. Авросимов вгляделся, недоумевая, и вдруг понял: батюшки, тряпка! Глаза преступника были завязаны, и конвоиры шли к нему вплотную, чтобы он не потерял направления.

Зачем же ему завязали глаза? Этой меры наш герой никак осознать не мог, и он стоял на снегу, пока печальное шествие не скрылось за углом здания, куда — неизвестно. А знал ли этот коренастый, как плачевно кончится его предприятие, когда, наверное, полный сил и здоровья, скликал солдат и распространял хулу на его императорское величество? А знал ли он, что его вот так поведут с завязанными глазами через крепостной двор и он, Авросимов, будет глядеть на него с чистой совестью? Знал ли он? Нет, он не знал. И снедаемый гордостью и честолюбием, наверное, злорадно смеялся и руки потирал, предвкушая, как будут униженно просить его о помиловании сам государь император, ибо не мог же злодей замышлять свое черное дело без того, чтобы не надеяться на это. И ведь дядя Артамон Михайлович не так чтобы ни с того ни с сего вдруг кинулся, обнажив шпагу, на толпу, которую медом не корми, а только дай ей позлодействовать. И эти высокие сановные люди ведь неспроста же собираются каждодневно в комнате, где и Авросимову выпала честь пребывать, собираются, чтобы решать, как государству очиститься от мрака бунтов и тоски хаоса.

Так с достоинством и твердостью размышлял наш герой, пока печальное шествие не скрылось за углом здания, после чего он вновь засеменил к своему стулу.

Явившись в Следственную значительно раньше положенного времени, он намеривался в тишине и одиночестве тщательно подготовиться к работе, как высокие чины незамедлительно пожаловали следом, словно не решились оставить молодого Авросимова наедине с самим собою. Они вошли один за другим, блистая эполетами, не глядя в сторону нашего героя, вошли бесшумно, словно не касались пола, и пестрая недобрая их вереница, словно поток, растеклась возле дверей и потекла, огибая длинный, покрытый синим сукном стол.

Авросимов встретил их стоя, вытянув руки по швам и вперив глаза в их лица, хотя ничего перед собою не видел, а только какое-то шевеление, мелькание и легкую суету; и лишь когда все уселись на свои стулья с высокими спинками, зрение его слегка прояснилось и он смог как бы в тумане различить наконец отдельных представителей этого ослепительного воинства.

Когда матушка Ариадна Семеновна провожала его и напутствовала в дорогу, Авросимов никак не мог понять ее слез и страхов, ибо вознесение его, хотя и было внезапным и стремительным, но ведь за что-то оно ему да выпало, ведь счастливые встречи Артамона Михайловича с царем и срочное письмо и прочее — ведь это был знак судьбы, тайных движений которой никто не умеет объяснить покуда.

Но взгляните-ка вокруг, вздумайтесь-ка. Много разных людей околачивалось в то утро на площади, много племянников и сыновей ждало милости судьбы по медвежьим-то углам, не видя перед собою с детства с самого ничего такого, отчего можно было бы вздрогнуть, ахнуть, получить сердцебиение, так надо же, чтобы именно Артамон Михайлович обнажил шпагу, чтобы племяннику своему письмо написал, мол, немедленно выезжать... Спроста ли это?

И вы, матушка, напрасно льете слезы, уподобляясь дворовым бабам вашим, отдающим сыновей своих в рекруты. Шуточное ли дело оказаться вдруг в Санкт-Петербурге, в самом что ни на есть его сердце, неподалеку от молодого государя, и, может быть, даже его самого сподобиться лицезреть и приветствовать низким поклоном, полным благоговения и любви... Господи, да и варений, и солений, и копчений ваших у меня будет вдоль, я ведь не к шведам отправляюсь! И с лица мне спадать не с чего, и Ерофеич присмотрит. А что до почерка, то в грамоте я не хуже иных-многих, как ведомо вам, и буйством не отличаюсь, даже на Рождество, и уж если и пригублю, так самую малость, да и то с вашего же благословения, так что мне столичные разгулы эти и ни к чему, вздор это. А которые прокучивают свои состояния оттого, что им много позволено, они потом и устраивают в горячке разные противозаконные предприятия... А я отправляюсь на царскую службу с ясным разумом, чистым сердцем и спокойною душой.

И когда кибитка выехала наконец с господского двора и, вздымая снег, заскользила по укатанной дороге и сельцо уже скрылось за леском — все стало затухать помаленьку: и матушкины слезы позабылись почти, и лица приживалок, и жалобы, и жалостные слова, все... Только тревога какая-то осталась в душе молодого Авросимова, от которой он не мог избавиться, и она саднила где-то там, в глубине, и пощипывала и нашептывала, и отдавала холодком.

Размышляя вдруг обо всем этом, он, натурально, и не заметил, как ввели очередного злодея, а уж когда заметил, тому с лица конвоиры молча срывали повязку, чтобы мог оглядеться.

Вот и огляделся. И Авросимов наш с удовольствием вообразил, как этот злодей видит все вокруг себя, как у него синие круги перед глазами пробегают, как он трепещет, да притворяется, что страху у него нет — еще раз судьбу испытывает.

И наш герой глянул исподлобья в глаза злодею,

тот ответил так нехотя, так равнодушно своим отрешенным взглядом и отворотился, и Авросимов его узнал! Он вспомнил двор крепостной и его, коренастого, идущего под конвоем...

Наступила тишина. Слышно было, как снег за окошком падает и в стекло попадает. И злодей, молодой еще, полковник, слегка кивнул сидящим за столом, вот именно кивнул, и прикрыл глаза. Любопытно. Ему на колени, наверное, не мешало бы встать...

Авросимов изготовил перо и прицелился, не совсем, однако, представляя себе, о чем можно спрашивать такого вот, с круглым лицом, с маленькими глазами, в которых ни мольбы, ни покаяния... И вдруг он обратил внимание на руки полковника, руки были скованы, пальцы мелко тряслись, выдавая страх перед лицом высочайших особ, глядевших на злодея молча и с гневом.

Снег шуршал о стекла. Конвойные офицеры переминались едва заметно. Ну пора, пора, начинайте же! Как вчера, так третьего дня: кто таков, род и звание, кто вовлек в преступный заговор и когда, как решился и почему, и прочее, и прочее, и прочее, чтобы и этот, как те его соумышленники, отвечал с дрожью в голосе и печально, потому что теперь уже ничего не оставалось другого, как отвечать, каяться и рыдать не стесняясь, в голос. И наш герой видел, как шевелятся губы сиятельного графа, сидящего во главе стола, а глаза при этом устремлены на злодея, а тот весь наклонился вперед, словно изготовился целовать графу руки, старческие и жилистые.

Значит, можно его спросить обо всем, пока он еще не грянулся об пол бездыханным от слабости и страха, спросить, чтобы уж до конца развязать все узлы и чтобы уж у других желания снова их завязывать не появилось...

Ведь плакал же третьего дня тот князь! Не стесняясь присутствием высокопоставленных особ, плакал, размазывая слезы по щекам ладонью. В голове умес-

титься не могло: как это он, князь, решился на такой позор? Воистину — чем больше у тебя есть, тем большего желаешь. Потому-то и твердили ему, Авросимову, с детства: не заносись, мол, не гордись, не зарься на чужое. Ах, не зря была матушка опытом умудрена, сумела разглядеть прах, в который не то что ступить, а и плюнуть позорно. И ведь он все это усвоил. А князь? Что же это он, князь, оскоромился?..

Но тут молодой Авросимов увидел склонившегося над собой самого правителя дел Александра Дмитриевича Боровкова, который разглядывал нашего героя, раздувая желтые ноздри, отчего у Авросимова похолодел затылок и руки стали липкими, скользкими, так что перо поползло из пальцев прочь. И в продолжающейся тишине раздался шепот секретаря, словно гром небесный, или Авросимову в страхе померещилось это: — Вы что, сударь? Ай спите?..

И правитель взмахнул кистью руки, и тотчас в уши ворвался звук, который исходил из того конца комнаты, где стоял злодей, непривычно горбясь. И Авросимов, зажмурившись на мгновение и упрятав свой страх, ткнул пером в бумагу и застрочил, застрочил с тщанием и отменной скоростью, стараясь наверстать упущенные звуки, слова, полные чрезвычайного смысла. То есть это ему показалось, что он застрочил, а на самом деле рука была по-прежнему неподвижна, и какая-то странная слабость охватила его тело, и он почувствовал, как кровь, хлынув к голове, ожгла щеки, и без того не отличавшиеся благородной бледностью. А получилось так не потому, что Боровков склонился над ним, хотя это и само по себе было ужасно, а потому, что сверх всякого ожидания коренастому злодею любезно подвинули кресло и предложили сесть вместо того, чтобы толкнуть его на колени, как он и заслуживал.

Так, может быть, он вовсе и не преступник, а напротив — князь? Но третьего дня тоже был князь, а цареубийством не гнушался. Значит, преступник он, ибо это его вели по крепостному двору с завязанными

глазами, хотя причуд и тайн у вельмож предостаточно (мало ли что глаза завязанные): вон и кресло присесть предложили... Но ведь руки в кандалах! И опять что-то очень знакомое показалось Авросимову во всем облике допрашиваемого злодея, а что — понять он не мог.

Имя и звание свое преступник выдохнул едва слышно, так, что Авросимов почти и не расслышал и перо его оставалось неподвижным, пока подскочивший и склонившийся над ним Боровков не шепнул огорченно: «Да Пестель же, сударь!..»

И Авросимов вывел аккуратно странное это имя и даже не позабыл снабдить прописную букву приличествующими вензелями, после чего Боровков удалился наконец к своему стулу за главным столом.

Дальше все пошло уже попроще, ибо помогла привычка, которая появилась в течение тех семи дней, что Авросимов высиживал за своим столиком попеременно с другими столичными грамотеями.

Перо скользило по бумаге легко, как сани, привезшие его, Авросимова, в Санкт-Петербург, и стремительно, как его собственный жизненный взлет, и ему даже казалось иногда, что члены Высочайшего комитета посматривают в его сторону, удовлетворяясь его прилежанием, и он старался как мог, почти не вникая в смысл беседы... И лишь тогда, когда преступнику дали время на обдумывание следующего вопроса и он, звеня цепью, поднес вопросный лист к глазам, Авросимов, вернувшись из лихой своей скачки, взглянул на членов комитета.

Злодей неторопливо просматривал вопросы, адресованные ему, а члены комитета переговаривались вполголоса, нисколько не удивляясь, что преступник-то сидит тоже в кресле, словно это он сейчас начнет задавать вопросы. Авросимову стало не по себе от этой мысли, а красивый такой кавалергард, стоящий возле дверей, тонкорукый такой и кудрявый, взглянул на нашего героя и вдруг усмехнулся одними губами и тотчас руку приложил ко рту, словно прикрыл зевоту, и это

движение отозвалось в памяти Авросимова, напомнив ему совершенно невероятный случай, происшедший с ним нынче утром, когда он выбежал, запахивая шинель, из ворот дома, где снимал квартиру, чтобы торопиться в крепость, к своему стулу. И вот в тот момент, как он выбежал из ворот, он почти столкнулся с молодой дамой ослепительной наружности, которая едва успела отскочить в сторону, а в ответ на его извинения быстро приложила пальцы к губам и, оглядев нашего героя любопытным и даже зовущим взглядом, кинулась прочь к ожидавшему ее роскошному выезду.

Авросимов долго еще стоял на месте, хотя сани давно скрылись, увозя прекрасную незнакомку, и утренняя метель успела засыпать следы полозьев. Это все произошло слишком стремительно, но наш герой, жадный до всего необычного, успел все-таки разглядеть ее лицо, полные губы и жар в глазах, и ровный, аккуратный, чуть розоватый носик. Кто была она? Вполне возможно, что и купеческая дочь, хотя это легко опровергалось ее благородной грациозностью и выездом, который купцам и не снился. Но если она, благородная дама, решила искать встречи с ним, с Авросимовым, значит, на то были у нее основания. А уж то, что она искала с ним встречи, а не так просто столкнулась у ворот, было ясно как божий день. Но какая тайна скрывалась за ее легкой усмешкой и в пальцах, прижатых к губам?

Молодой Авросимов не относился к числу людей, страдающих неуважительным к себе отношением, и скромность в поведении вовсе и не отвергала надежд на яркий случай, которого он был достоин, как всякий человек.

Он оглядел все близлежащее пространство, надеясь увидеть маленькую записку на розовой четвертушке. Записки не было. И след незнакомки простыл.

Несколько удрученный, он, однако, заторопился в крепость, чтобы не опоздать к назначенному часу.

И вот теперь, глядя на кавалергарда и его усмешку, он вдруг подумал, что этот тонкорукий и изысканный

офицер вполне мог оказаться ее братом и, восхищаясь взлетом и удачливостью Авросимова, мог, натурально, нашептать сестре такое, что она представила себе нашего героя в самом лучшем виде...

Тут Авросимов снова глянул на кавалергарда попристальнее и снова заметил усмешку на его губах.

Но приятные и обольстительные воспоминания об утре тотчас вылетели из головы, едва злодей Пестель начал говорить своим ровным глуховатым голосом, отвечая на следующий вопрос, которого Авросимов не слышал. И перо нашего героя стремительно кинулось к бумаге, поспешая за словами: «...никогда ничего никому не говорил ни такового...» — и даже разбрызгивая иногда чернила: «...ниже малейше подобного сему...»

Авросимову фраза понравилась, когда в паузу он оглядел ее всю сверху донизу опытным глазом. Но если «никогда, и ничего, и никому», то зачем же руки в цепях? Пестель... Лютеранского вероисповедания... Немец... Дорого ли ему соврать? «Никогда и нигде не был членом никакого такового злодейского тайного опщества...» Авросимов и не заметил, как в суете и собственное словцо вкатил, а именно «злодейского», так уж понесло перо, что и не остановишь.

— Нет, нет, нет, — сказал Пестель, — об этом я и не слыхивал...

Будучи человеком прилежным, наш герой первоначально намеревался в точности, то есть троекратно воспроизвести на бумаге услышанное отрицание, но, глянув оцепенело на круглое, с маленькими глазками лицо Пестеля, весь возмутился от неприязни к этому лицу и решительно оставил отрицание в единственном числе.

«Нет, никогда ничего такового не рассказывал, ибо никогда подобных мыслей не держал в приступной своей голове...» — записал Авросимов, и ему захотелось крикнуть что-нибудь оскорбительное в ответ на эту заведомую ложь, но он сдержал себя усилием воли и еще ниже нагнулся к листу, хотя сомнения, вспыхнувшие в

нем после того, как Пестеля усадили в кресло, не утихали, а напротив — возгорелись сильнее и жарче.

«...что же касается денег займа, то я неоднократно разным своим знакомым таковыя давал и ничего в том не считаю дурного...»

И впрямь, чего ж дурного? Прошлым летом Авросимов сам давал займы соседу Кириллову триста рублей ассигнациями до Рождества, хотя матушка и обижалась, а он все же дал, памятуя о доброте соседа и о его выручках, что по нынешним временам большая редкость. И как вы, матушка, этого не понимаете!

«...но чтобы я давал на прогоны для кулъера общества, то сего ни бывало, ибо ни к какому такому опществу не принадлежал...»

Боровков не подходил, значит, был доволен. Да и сам Авросимов был доволен собой, скача пером по бумаге и ощущая себя приобщенным к важному делу, хотя в темечке все что-то ныло едва-едва, словно бы кто сзади стоял молча. Скорее всего это из памяти не выходила прекрасная незнакомка, которая, вот ей-богу, не могла исчезнуть навсегда со своим призывным взглядом... А к тому же еще этот Пестель покачивался перед глазами, стоило только голову поднять, и тихое его «никогда, ничего, никому, нигде», тупое и монотонное, раздражало понемногу. А ведь скажи он «да» да поплачь, покайся — все бы уже кончилось. Как эти вчерашние да третьевешние что друг на друга валили торопливо, хотя перед правым судом правду молвить — не позор, а честь... «...тайных бумаг я никаких никогда нигде не прятал...» Ну вот, ну вот... «В генваре сего года ездил я в Киев не с членами тайнаго общества, а са сваимя друзьями...» Друзей имел! А они-то, друзья... И вдруг он вспомнил отчетливо, что это о Пестеле все дни разговор шел! А как же? Эти все, что на площади грозны были, а здесь слезы лили, ведь они Пестеля называли! Он, Авросимов, все думал: фамилия-то нерусская какая-то, прости Господи! Он никак записать ее не мог, нервничал... Теперь вспомнил. Они все, как сговорились, его

поминали, да торопились эдак-то, Авросимов даже подумал: «Чего это они немца какого-то поминают все? Нашли разбойники, козла...» А вышло, что немец-то вот он! Пестель. Павел Иванович. Да ко всему и не очень-то виноватый? Вон ему ведь кресло подкатили... Впрочем, руки-то в цепях?

И в этот момент наш герой вздрогнул, потому что Пестель произнес несколько в повышенном тоне и даже раздраженно:

— Я еще раз повторяю, что ни к какому тайному обществу не принадлежал и ничего не знаю...

И сказав это, он слегка поворотился в сторону нашего героя и неожиданно увидел его за маленьким столиком в углу, полусогбенным над тетрадью; увидел его глаза, удивленные и полные ненависти, и подумал: «Какой, однако, волчий взгляд», — и снова сел ровно, как и сидел.

«Нет, — подумал Авросимов, — я тебе не поддамся, выдюжу».

И выдюжил, и очень обрадовался, что может с чистой совестью смотреть в лицо цареубийце, не моргая и ничего не боясь, хотя как бы оно там вышло бы, попади Авросимов в полк к сему злодею, а не сиди он в комнате, где все — противу одного, да еще закованного... Выдюжил бы? А вот ей-Богу! Все равно... Крикнул бы разбойнику...

Авросимов поднял глаза. Судьи переговаривались о чем-то между собой. Пестель снова неотрывно смотрел в глаза Авросимову. Ах, знакомые черты у злодея!

«Молодой человек, — подумал Пестель. — Что он понимает? По крайней мере сочувствия — ни на грош. Как страшно... Возьми мы верх (и он усмехнулся горько), каково ему было бы?..»

Авросимову мгновенная усмешка на лице Пестеля не понравилась никак.

«Слава Богу, что они почти ничего не знают, — подумал в этот миг Пестель. — Судя по вопросам, они только еще ищут веревочку. Да вряд ли им это удастся...»

Ах, только бы не размякнуть! Только бы это кресло не принять за проявление истинных чувств...»

Он думал так и разглядывал высоких судей с тоской и отвращением. У графа Татищева — обрюзгшее лицо и меланхолия в каждом жесте, но умеет изворачиваться, ибо понимает, что от его председательской сметки зависит успех следствия, от которого, в свою очередь, зависит и его собственная судьба, хотя, впрочем, это общеизвестно с давних времен... Генерал Левашов очень старается, не очень задумываясь — для чего. Генерал Чернышев — старый знакомец — открыт, распахнут весь. Ему бы волю — он бы и до дыбы додумался...

Высокий суд был весь как на ладони перед Павлом Ивановичем. Почтенные мужи, кабы не пустые лица. Воистину — машина способная вопрошать, вопрошать, вопрошать!.. И развивая это представление, он вдруг поджался весь, и бледность покрыла его щеки, и обреченность внезапная овладела его душой и телом.

«Доищутся! — вдруг понял он, поверил в это, не в силах будучи отвести взора от их белых, покрытых морщинами масок. — Докопаются. Не упустят. Не упустят».

Губы графа Татищева дрогнули, расползлись, и военный министр, не глядя на Пестеля, неохотно спросил:

— Кто из офицеров вашего полка был принят в члены общества собственно вами?

Пестель откинулся в кресле, лицо его выразило муку.

— Я уже утверждал, — выдавил он хрипло, — что не принадлежал ни к какому тайному обществу, а следовательно, не мог никого в оное принимать...

«Никого никуда никогда ни принимал, — торопливо и привычно проскользило перо Авросимова по листу, — ибо сам не был членом никакого общества».

— Я уверен, — сказал Пестель, взглядываясь в лицо председателя, — что никто из этих офицеров не сможет по совести меня опровергнуть...

Судьи оставались неподвижны.

«Им не за что ухватиться!» — с сомнением подумал Пестель.

«Дурак! — чуть было не крикнул Авросимов из-за своего столика. — Не твои ли офицеры, разбойник, все эти дни тебя честят? Ай-яй-яй, не лги, не лги... Все ведь известно. И их сиятельство все ведь знает, да хочет в смысле снисхождения услышать ответ по правде. Он тебе участь облегчает, злодею. А немцу хоть кол на голове теши: никогда, ничего, нигде, никому...»

Пестель живо повернулся к Авросимову, словно слышал течение его мыслей, и настороженное что-то в лице молодого писца поразило его.

«Как он преобразился, — подумал Павел Иванович в волнении. — У него хоть щеки розовые не в пример этим. На него хоть смотреть можно... Ах, не слабею ли я? Не к жалости ли обращаюсь?.. Или он мне сигнал подает?»

«Отворотись ты от меня, враг! — воскликнул про себя Авросимов. — Мутишь ты меня всего...»

Генерал Левашов на аккуратном листке, заранее приготовленном, нацарапал торопливо: «Не пора ли объявить очную ставку, дабы ускорить ход дела?»

Военный министр на таком же листке вывел ленивую строку: «Поспешность в сем деле вредна. Должно утвердить преступника в полном нашем неведении. Зато раскрытие карт повергнет его в такое отчаяние, что хоть веревки вяжи».

Генерал Левашов кивнул удовлетворенно, не снимая белой морщинистой маски.

Авросимов почистил перо о рыжие свои кудри и подумал, что высокие чины могли бы вполне Пестеля загнать в угол, и тем более их неторопливость вызывала недоумение, хотя наш герой робел даже мысленно представить себе пусть самое легкое противоречие между собою и высоким судом. Долгий день начал томить его, и он с каждым часом со все большим удовольствием и тревогой предвкушал окончание работы, и как он пой-

дет через мост, колеблемый волной, и как, облачившись в мягкий сюртук, накинёт шубу и начнет прохаживаться возле ворот с независимым видом, но с тайной надеждой повстречать ту самую, утрешнюю. Не женское это дело самой подбиваться — так Богом устроено, а уж коли подбивается, значит, подкатило и надобно усилия дамы облегчить. Ведь не каждый день подобные выезды привозят к вашим воротам, милостивый государь, такую красоту, и ее надо уметь ценить. А как же? Тем более, что вся эта история страсть как интригует, и пока не дознаешься, до той поры покоя не будет. И в молодые лета это не позор.

«Какой он ни злодей, а все ж таки человек, — вдруг подумал Авросимов, глянув, как Пестель, в волнении наверно, обкусывает ногти. — И против Буонапарте воевал... Ах, злодей, злодей!..»

Но вот робкий как мираж облик незнакомки вспыхнул в его сознании с новой силой, словно озарился, и Авросимов удивительно отчетливо представил себе, как он стремительно подсаживает ее в карету и как уже на ходу впрыгивает сам, так лихо, изящно, что она вскрикивает и всплескивает руками от страха за него и «Ах!..» Но он смеется и усаживается рядом, а серые в яблоках несут, несут... Дальше-то что? Он рассказывает ей, глядя в ее полные ужаса глаза, как его дядя, отставной штабс-капитан Артамон Михайлович, выхватил шпагу перед глазами у государя и этой самой шпагой по толпе, по сборищу! Какие они?.. Носы сизые, как у Ерофеича, взгляд тусклый, щетина зверская через все лицо, а он, дядя, шпагой, шпагой... По лицам, по лицам... У Пестеля лицо кругловатое, белое, чистое, щетины нет... А дай ему шпагу и руки освободи — этот тонкорукый кавалерград ведь первым кинется прочь... А он, Авросимов? Когда дома бычок годовалый проломив забор, ворвался в сад и затанцевал среди яблоневых стволов, повергнув в страх и смятение матушку и родственниц дальних, которые отмахивались чепцами, визжа, он скатился с ветки, где восседал лениво, скатился поч-

ти на спину бычку и ухватил его за рог, и подчинил себе...

Пестель, словно ища отдохновения, снова глянул на Авросимова и увидел, что тот разглядывает его самого с неприкрытым любопытством, и подумал: «Странный, однако, молодец. Все чувства на физиономии... И какой рыжий! Должно — провинциал».

«Если он подойдет, — подумал наш герой, — и маленькими своими глазами упрется, ведь страшно. Ведь как подумаешь, что на руках — кровь, в душе — дьявол... Но смел, злодей! Не побоялся, что не выдюжит, не побоялся! Только как он плясать будет, когда узнает, что козни-то его известны все? Вот ужас...»

«Волк, истинно волк», — мелькнуло в голове у Павла Ивановича.

Сидящие за столом судьи снова пришли в легкое движение, почти незаметное со стороны, хотя Пестель научился уже угадывать за этим обязательный вопрос. И действительно — граф Татищев пожевал губами, спрашивая:

— Истинная цель сего общества направлена ли была к разрушению существующего в России порядка вещей?

Авросимов похолодел, так страшен показался ему вопрос, ибо порядок вещей — был он сам, Авросимов, и его кровь, и его душа, и его судьба. И как же, милостивый государь, не похолодеть, когда в лицо вам бросают такое, о чем даже помыслить невозможно?

— Не принадлежа к здесь упоминаемому обществу, — с твердым упрямством сказал Пестель, — и ничего не зная о его существовании, не могу сказать и о целях его...

«Ну погоди, враг, — подумал Авросимов, ненавидя. — Покаешься на каторге», — а перо его тем временем делало свое дело, как бы и не завися от него самого.

«Никогда не к какому преступному обществу не

принадлижал и тем еще менее могу сказать, какова истинная цель оннаго».

Павел Иванович глянул на лица высоких судей. Лицо Татищева было в маске, и Левашов словно аршин проглотил, да вот генераладъютант Чернышев сидел с разинутым ртом, подавшись вперед, на Пестеля...

«Знают! — содрогнулся Пестель. — Все знают. Притворяются».

Снег за окнами повалил гуще. Январские сумерки быстро накатили, и Авросимов ощутил тяжесть в правой руке и согнутых ногах.

Теперь ему все хитросплетения следствия становились понятнее, и то, что Пестель попался как муха на мед, не вызывало сомнений. Да, он еще сидел в своем жалком кресле, как последний калиф перед крушением царства, но кресло уже было не его и царство рассыпалось, а вокруг уже толпилось возмездие. И нашему герою, полному предвкушения справедливой расправы, не терпелось увидеть ее воочию, ибо мы всегда любим получать наличными в собственные руки за свои труды. И он чувствовал себя счастливецом, сознавая, что все это пройдет перед ним и лишний раз утвердит его правоту в этой жизни. Даже усталость не снижала этих счастливых чувств, даже едва заметное тревожное нытье в темечке не мешало. И когда Пестеля наконец отпустили и он выходил, сопровождаемый дежурными офицерами, наш герой не мог отказать себе в удовольствии еще раз взглянуть на него пристально и с осуждением. Но широкая спина Пестеля качнулась и исчезла в дверях. Он не обернулся.

Уже выходя из комендантского дома, Авросимов увидел, как военный министр медленно, по-медвежьи карабкается в карету, но, занеся одну только ногу, он обернулся и поманил Авросимова, на что тот, естественно, ответил стремительным скачком и остановился перед графом с бьющимся сердцем.

— Экий великан, — сказал Татищев, прищелкнув

языком. — Рука-то не устала скрести? Небось отсидел мягкие-то места, а?.. Злодея боишься?

— Нет, не боюсь, — выдавил Авросимов, не понимая направления беседы. — Я, ваше сиятельство, рад послужить государю.

— Вот как? — удивился граф, продолжая стоять на одной ноге и улыбаясь доброжелательно. — Это похвально, сударь ты мой, похвально. А не произвел ли на тебя Пестель симпатии? Он ведь человек весьма умный... А? — граф засмеялся, видя смятение в нашем герое. — Он ведь многих умников соблазнил, не тебе чета. А?.. Каков он тебе показался?

Авросимову смех военного министра разрывал душу своей неопределенностью. Намекает ли на что? Или недоволен чем?..

— Жалко Пестеля, — вдруг сказал граф, перестав улыбаться. — Хороший был командир. Что же его с толку сбило, как думаешь?

— Не знаю, ваше сиятельство, — пробормотал Авросимов, — должно, бес его обуял...

— Бес? — рассердился граф. — А небось встретился он с тобой месяц назад да посули он тебе рай земной, так ты за ним кинулся бы небось с радостью. А?

— Нет, ваше сиятельство, — сказал Авросимов, тайно мучаясь, — мне его посулы — пустое место. Я свой долг знаю. Мне его посулы...

— Ладно, ступай, — проворчал Татищев и ввалился в карету.

Авросимов вышел за ворота крепости, и Петербург померк. На Неве громоздился лед.

«Не зря матушка слезы лила, — удрученно подумал наш герой, прикрываясь от пронзительного морозного ветра. — Что-то все вокруг меня совершается, а понять нельзя. Беда какая».

И в самом деле, милостивый государь, посудите сами: когда на вас, баловня тишины уездной и благорасположения окружающих, на вас, не обремененного государственными заботами и в простоте душевной по-

мьшляющего о маленьком своем счастье без всякого там тщеславия и прочих иных чудачеств, вдруг сваливается тяжесть, недоступная вашему разуму и душе; когда на протяжении недели вы погружаетесь в разгул чужих страстей, намеков, недомолвок, тонкостей таких, что не приведи господь; когда сам военный министр, а не какой-нибудь уездный дворянский предводитель вам вопросы задает и нагоняет тумана; когда на ваших глазах цареубийце кресло предлагают, — ну как вам, милостивый государь вы мой, с вашим-то ясным взором и простотой и неискушенностью не ужаснуться да не впасть в меланхолию?

И так-то вот мучаясь, начинаете вы понимать, каково это быть у государственного кормила, чувствуя в сердце одно, а совершая другое, хотя все ради пользы отечества. И так это все тонко, хитро и недоступно, что греховными, а не просто смешными кажутся вам уездные ваши мечтания: мол, мне бы министром, я бы уж всё поворотил наилучшим бы образом. Где уж там! И не зря, не зря ваша матушка слезы лила, предчувствуя, каково это в Петербурге не сладко в чинах ходить, коли нет на то Божьего изъявления.

Так в расстроенных чувствах, в тревоге и в смятении шествовал наш герой по Васильевскому острову, но едва дошел до места, где Большой проспект смыкается с Первою линией, как словно из-под земли из крутящегося снега и мрака вдруг вырвалась карета шестеркой и остановилась, перегородив Авросимову дальнейший путь; и не успел он, как говорится, охнуть, из кареты показалось знакомое обрюзгшее лицо графа Татищева и военный министр сказал, улыбнувшись одними губами:

— Что это, сударь мой, пешком топаешь, ровно мужик? Так и замерзнуть недолго. Ишь разыгралась, — и он поглядел на черное небо. — А? Что скажешь?

— Не замерзну, ваше сиятельство, — широко разевая от страха рот, сказал Авросимов. — Я мороза не боюсь.

— Молодой ты какой да рыжий, да ничего не бо-

ишься, — сказал граф непонятно к чему. — У тебя друзья-то тоже небось молодые? Тоже небось все на свой лад переверотить намереваются? А?

— У меня здесь и друзей-то нету, — не в себе промолвил Авросимов, — упаси Бог...

— Что ж так? — усмехнулся военный министр. — Без друзей и не решить ничего... Вон Пестель с друзьями от рекрутчины придумал отказаться. Резонно? Что скажешь?

— Нельзя от нее отказываться, — выдавил Авросимов, переставая хоть что-нибудь понимать. — Нельзя... Так уж определено, что нельзя.

— Глуп ты, однако, — рассердился граф. — В государственных вопросах должно рассуждать, исходя из блага отечества, а для сего голову надо иметь... А у Пестеля государственная голова! — почти крикнул он. — И ты, сударь, пошел бы за ним, помани он тебя...

— Да нет же, ваше сиятельство, — почти плача возразил наш герой. — Вот уж нет...

Тут граф засмеялся.

— Эк тебя трясет. Уж не к девице какой пробирался? А?

— От внезапности встречи, ваше сиятельство...

— Врешь, — хмыкнул граф, — в женском обществе покоя ищешь... А к Пестелю, я замечаю, у тебя симпатии... Размышляешь, что да как... Да?

— Никак нет, — выдохнул Авросимов с ужасом.

— А отчего же нет? Это даже странно. Вот ежели бы ты сказал, что, мол, симпатию имею, но подавляю, мол, я бы тебе поверил...

— Я государю привержен, — заплакал Авросимов.

— Государю, — передразнил граф. — Государь есть идея. А в сердце у тебя что?

— Государь...

— Государь, — снова передразнил Татищев. — А сам к женщине спешишь...

— Никак нет, — сказал наш герой, а сам подумал:

«Да как же это нет, когда именно да?..» — и вспомнил давешнюю незнакомку.

— Ну ладно, ступай, — сказал граф сердито и полез в карету, захлопнул дверцу, но тут же высунулся, протянул Авросимову руку. — Возьми-ка вот...

— Что это? — не понял наш герой.

— Возьми, возьми, — сказал граф по-простецки, и что-то скользкое шлепнулось в ладонь Авросимова.

— Благодарю покорно, ваше сиятельство, — пролепетал он, а сам подумал «Уж не орден ли?»

Граф засмеялся. Кучер взмахнул кнутом. Экипаж скрылся.

Авросимов кинулся к ближайшему фонарю и раскрыл ладонь. Маленький красный бесенок с черными рожками стоял подбоченившись и глядел на него голубыми пронзительными глазами. Затем он вытянул вперед свою красную ручку и сказал, обращаясь неведомо к кому:

— Господа, не сочтите меня чрезмерно привередливым, но этакого подвоха от их сиятельства я никак не ждал-с...

Наш герой в ужасе потрянул ладонью о ладонь, схватил снегу и потер руки. И наваждение исчезло.

Конец света!

Впрочем, и это бы ничего, но дома Ерофеич поведал, что в его, Авросимова, отсутствие навевывалась дама, барина спрашивала, ожидать отказалась, назвалась непонятно.

— Какая еще дама? — простонал Авросимов, валясь в чем был на кровать.

— Знатная, — сказал Ерофеич. — Два жеребца карачовых на месте не стоят.

Но образ прекрасной незнакомки померк в сознаний Авросимова под тяжестью иных событий, померк, наподобие сумеречного Петербурга. Вертя на подушке голову, он пытался унять дрожь в челюстях и причитал:

— Цареубийца проклятый, сатана! Каторга по тебе плачет! Беда какая... Зачем, зачем это мне, Господи!..

Ерофеич, видя, как дитя страдает, кинулся в кухню стремглав.

А наш герой был, что называется, при последнем издыхании от страха и сумбура в голове, но, на его счастье, Ерофеич внес в комнату и поставил на стол дымящуюся тарелку щей с бараниной, и сытный аромат заставил Авросимова вздрогнуть и открыть глаза, ибо хотя и был он натурой чувствительной и по тем временам тонкой, однако молодость и здоровье делали свое дело, а пустой желудок отказывался ждать.

Кое-как переодевшись с помощью Ерофеича, Авросимов уселся к столу, испытывая естественное нетерпение, а тут еще как сквозь туман различил пузатую рюмку с крепкой домашней наливкой и, заткнув за воротник салфетку, опрокинул наливку одним махом.

— Может, огурчиков солененьких? — спросил Ерофеич.

— Давай, давай, — сказал наш герой, обжигаясь щами.

Ел он торопливо, но пища пока не производила своего благотворного влияния, и Авросимов не ощущал приятной расслабленности в теле, а, напротив, с каким-то ожесточением представлял себя рядом с военным министром, и как он, Авросимов, стоит, вытянув руки по швам, и как говорит жалкие слова вместо того, чтобы толково все разъяснить о себе и мнение относительно графского любопытства; то вдруг круглое лицо Пестеля, бледное и напряженное, появлялось перед ним, словно из пара, вьющегося над щами, и Авросимов пытался увязать его злодейство с тем, что граф Татищев понимает об этом.

И ведь как не помянуть матушку добрым словом, когда она слезы лила, хотя с другой стороны, все надо пройти самому и все понять. Вот, к примеру, надо, собравшись с мыслями, определить, как Пестель на злодейство решился.

— Ерофеич, — сказал Авросимов, — двадцать пять лет в солдатах ходить тяжело небось?

— А что это вы, батюшка, щи-то отставили? — спросил Ерофеич, пряча глаза, как будто и не его спрашивали.

— Уж, наверное, есть резон, коли этакий-то срок держат, — продолжал наш герой, откинувшись на стуле. — Или государь сам не знает, чего да сколько? — тут Авросимову показалась на лице старика улыбка... — А может, это козни все? — сказал он неуверенно.

— Щи-то остынут, — мягко сказал старик.

Лицо его было гладко и сурово, и уж не то что улыбки, а и малейшего просветления не было заметно. Авросимов заработал ложкой, доел щи, отставил тарелку и спросил:

— Или вот скажи мне, как бы тебе, к примеру, если бы вольную тебе? Что бы ты тогда?..

— Я, батюшка, государю рад послужить, — выдавил Ерофеич, не понимая направления беседы.

— Это похвально, сударь мой, — сказал Авросимов, доброжелательно улыбаясь. — А если тебе злодей вольную посулит — не произведет ли он на тебя симпатии? — и наш герой засмеялся, видя смятение в душе Ерофеича. — Он ведь многих умников соблазнил, не тебе чета. А? Каков он тебе?

— Я его сроду не видывал, — пробубнил Ерофеич.

— Не видывал? — рассердился Авросимов. — А небось встреться он с тобой месяц назад да посули он тебе рай земной, так ты бы за ним пошел с радостью? А?.. И меня бы — вилами...

— Нет, не пошел бы, — мигая и тайно мучась, сказал Ерофеич. — Вот я вам каши сейчас... — и он кинулся на кухню, переступая ватными ногами.

«Кашки... — подумал наш герой осовело. — А какво ему-то там, злодею этому? Вот я сейчас поем, оденусь в лучшее и пойду... Кликну ваньку¹! съезжу на

¹ Недорогой одноконный извозчик.

Невскую, до Фонтанной до самой пройду, к дяде Артаману Михайловичу загляну, спрошу его обо всем... А этому-то какво? Он сейчас небось хлебушка пожевал, водою запил и на досточки улегся... Ах, да зачем же он все это затеял?! Чего ему нехорошо было? Или не виноват он? Вон и кресло предложили!.. А цепи на руках? Да и соумышленники на него указывают почему зря...»

Отказавшись от каши, Авросимов улегся на постель и закрыл глаза. Организму его не пришлось долго со сном бороться, тем более что привычка деревенская была покуда сильна в нем, а именно — ранний сон и вставание на заре с петухами. И он вскоре захрапел, отдавшись этому приятному занятию, словно спасаясь от выпавших на его долю огорчений и забот, в которые был вовлечен не по собственному расчету. Но жизнь человеческая в руках Божьих, и уж если тебе назначено нести бремя, то от назначения этого с легкостью не уйдешь, как бы ни изворачивался, как бы ни притворялся. И едва наш герой прикрыл глаза и перестал слышать пошаркивание Ерофеича и его шуршание, как тотчас увидел перед собой лицо военного министра, который, не то что во сне бывает — искаженно как-нибудь изображается или вдруг залает (мало ли чего...), — а совершенно натурально устался на Авросимова и спросил:

— Где, когда, для чего, с кем?

И Авросимов, оказалось, сидел перед ним в Пестелевом кресле с голубыми протертыми подлокотниками и шевелил руками в цепях, и никак не мог решить, на какой вопрос отвечать сперва: на «С кем?» или «Для чего?».

И в тот самый миг, когда он, обливаясь потом, полный ужаса, решил все же — на первый, какой-то бес его обуял, и он выговорил одним духом:

— Нигде, никогда, ни с кем, никуда...

Татищев засмеялся и, вытянув руку, тронул его за плечо...

Авросимов открыл глаза и сквозь сонную пелену увидел Ерофеича, который словно отползал от него.

«Зарезать хотел!» — подумал наш герой и вскочил с постели. Ерофеич стоял рядом, будил его.

— Чего ты?!

— Кричите, ровно душит вас кто, — сказал Ерофеич. — Ложились бы по-божески. Ночь ведь.

— Ночь? — задумчиво, как не в себе, промолвил Авросимов и вдруг, уставившись в детские глаза Ерофеича, спросил: — А ты небось тоже с дружками-то со своими все на свой лад переверотить замышляешь? А? Говори...

— Какие у меня дружки, батюшка, — опасливо протянул Ерофеич. — Упаси Бог...

— Глуп ты! — рассердился наш герой. — Для государственных дел нужно голову иметь! Вот у Пестеля — голова. Небось кликни он тебя, ты бы рысью за ним побежал.

— Да нет же, батюшка! — почти плача, простонал Ерофеич. — Вот уж нет!.. Да тьфу мне на него!..

— А тебе не жаль его? Хороший ведь командир был, — сказал Авросимов, продолжая казнить Ерофеича взглядом.

— Да помилуйте, батюшка! — заплакал Ерофеич, не понимая сути. — Чего мне его жалеть, нешто он мой барин-то?

Меланхолия все-таки сотворила свое черное дело, и Авросимов опустил руки, не испытывая уже желания мучить Ерофеича, да и себя самого вопросами, которые он, по сути, себе самому и задавал, находясь в душевном смятении. Что знает человек, сей ничтожный, о себе самом? Пожалуй, лишь то, что он ничтожен перед лицом высших сил, и стоит ему об этом задуматься, как тотчас ничтожество его прет наружу, словно ребра у худого коня. Но если он и впрямь таков, откуда это у него сила взялась на государя руку поднять? На божество? На первого в сословии? Стало быть, либо государь не велик, что противоестественно, либо злодей велик, что то-

же противоестественно, хотя, может, и от сатаны все. Ну а Бог-то что же? А вот он и покарал. Тогда для чего же целый сонм судей, да адъютантов, да фельдъегерей, да всяких прочих, таких, как Авросимов сам? Почему они все божеское предписание исполняют, а те, другие, противуборствуют? В чем же истина? Велик государь? (А надо бы тебе, сударь ты мой, принять казнь за такие сомнения). Если велик, как же у того разбойника достало силы духа вынашивать черные свои планы об убийстве? Как он замахнуться-то осмелился? Вот ведь что ужасно! Какое оно, начало всему было? Не мог же он просто так: жил, жил, как все, вдруг решил — убью. Не мог. Значит, исподволь все копилось. А начало где? А нет ли этого начала и в нем самом, в Авросимове? Не зря матушка слезы лила! Да теперь уж что? Теперь держись знай.

А дело, видать, приближалось к полночи. Ерофеич похрапывал в прихожей. Свеча оплыла. Авросимов и сам потом объяснить не мог, какая сила его подняла с места, заставила одеться, не раздумывая. Даже галстух повязал он так, словно целый час вертелся перед зеркалом, хотя к зеркалу и не подходил, занятый своими мыслями, а так все — на ощупь. Накинул шубу и — вон из постылого дома к людям, туда, где шум.

И тут же за углом — ванька. И поехали — только полозья скрипят.

Мимо проплывали темные окна, кое-где свет пробивался, знаменуя, что жизнь идет своим чередом, минуя трагедии, снисходя к людям и давая им отдыхаться.

На углу Невской горел масляный фонарь, и вокруг него кружился снег. Авросимов отпустил ваньку и пошел вдоль Мойки, мимо спящих прекрасных домов.

Но не успел он проделать и сотни шагов, как мимо него пронеслась с шумом и гоготом вереница саней, переполненных какими-то людьми, остановилась как раз перед ним, и сидевшие в санях посыпались на снег против ворот темного дома. Авросимов услышал женский смех и визг и с любопытством провинциала шагнул поближе, чтобы позабавиться на редкую картину.

И вдруг он увидал, как два офицера тянут из сугроба молодую даму, а она визжит и сопротивляется. Тут эти офицеры заметили Авросимова и, очевидно, приняв его в темноте за своего, кликнули помочь им. Он с охотой кинулся исполнить их желание, ухватил даму за плечи и стал тянуть, но она не поддавалась, хохотала, выворачивалась, и Авросимов ощутил легкий винный

аромат, исходящий от шалуни. Голова у него слегка закружилась то ли от этого, то ли оттого, что он щекой невзначай прикоснулся к ее щеке и как бы ожегся, а она обернулась к нему и мягко ткнулась горячими губами в его шею.

Наконец они вытащили ее из сугроба и с криком и шутками повели в ворота, куда направилась и остальная компания, и тогда Авросимов выпустил из рук ее плечи и собрался было идти своей дорогой, но дама заметила это его намерение и крикнула:

— А вы куда же?

— Мне идти надо, — сказал Авросимов не очень радостно. — Я не ваш.

— Да мы все не наши, — засмеялась дама, и офицеры вторили ей.

— Пошли, пошли! — крикнул один из них, и Авросимов не заставил себя долго упрашивать.

Они прошли ворота и устремились к небольшому флигелю с освещенными окнами, стоявшему в глубине двора.

Они скинули шубы в маленькой прихожей, озаренной пламенем единственной свечи, и ринулись в залу, где тоже царил полумрак и сразу было не разобрать, что она собой представляет. В суете и неразберихе прихожей также тайной осталось, чей это флигель, кто встречал веселую гурьбу и по какому случаю это пиршество и ликование.

Единственное, что успел заметить на первых порах наш герой, это, что все приехавшие были люди молодые и, вероятно, холостые, судя по тому, как вольно они держались с молодыми дамами.

Сей же момент кто-то ловко занавесил окна; привычная дворня, невесть откуда взявшаяся, набежала, расставила на большом вытертом ковре, расстеленном прямо на полу, бутылки да флаконы, тарелки с огурцами, с кровяной колбасой, с сыром; побросала в беспорядке серебряные кубки и бокалы зеленого стекла и исчезла, будто ее и не было.

Авросимов, ворвавшись в залу с толпой, устроился на низком диване, еще не очень хорошо соображая, что к чему и для чего он здесь, однако веселье, непринужденность остальных сделали свое дело и позволили нашему герою быстро освоиться в незнакомой среде.

И вот, несколько поостыв, он уже стал обозревать со своего дивана новых знакомых, с которыми так внезапно и прихотливо свела его судьба, и понял, что они все действительно почти ровесники ему, а стало быть, можно и не чиниться.

В противоположном конце залы, на другом диване в золотом полумраке, раскинув руки, разметав светлые пряди волос, полулежала та самая молодая дама, которую Авросимов помогал тащить из сугроба. Она была в голубом платье, из-под которого выглядывала красная остроносая туфелька. Дама эта кричала что-то неразборчивое, а молодой человек в сером мятом сюртуке склонялся над ней с бокалом и умолял ее пригубить. Сердце у нашего героя затрепетало блаженно, и он снова ощутил на шее своей прикосновение горячих губ.

Некоторые молодые люди развалились прямо на ковре и ели, и пили, громко переговариваясь. В углу за круглым столиком началась игра. Из соседней комнаты доносился визг, да такой, что пламя свечей вздрагивало, отчего лица принимали нелепые формы.

Недалеко от себя Авросимов, медленно вращая головой, увидел другую молодую даму, в розовом платье, черноволосую. Она держала в одной руке кубок, а другой гладила по щеке лежащего перед ней офицера, а сама между тем поглядывала на нашего героя, и ему показалось, что она моргает ему, хотя это можно было отнести за счет дрожания пламени.

Авросимов потянулся было к вину, чтобы не отставать от компании и выпить за эту прекрасную молодую даму, как вдруг она легче пушинки кинулась к нему со странной улыбкой и протянула ему свой кубок. И не успел он воспротивиться из учтивости, как она тотчас скользнула на пол, налила себе и, устроившись возле

его ног, откинула голову и, смеясь, предложила выпить.

Старинное серебро зазвенело, сладкое вино легко пролилось внутрь, молодая дама обхватила колени нашего героя, приникла к ним горячим телом и, осушив свой кубок, швырнула его на ковер.

Авросимов склонился к ней, хохоча напропалую без всякой видимой причины, обнял ее за шею и утонул лицом в душных завиточках ее волос. А она и не вырывалась на манер деревенских девок или уездных барышень, когда, бывало, наш герой пытался со свойственной ему скромностью не то что обнять их, а лишь коснуться...

Откуда-то снизу сквозь пелену волос, рук, пальцев она спросила:

— Вас как звать-то? А?..

Авросимов, наслаждаясь, проговорил свое имя и потянулся к ее губам.

— Вань, а Вань... Вы что это, Ваня? — разгоряченно шептала она, смеясь и не протестуя. — Ох, какой!.. Ах, да какой же!..

Губы у нее были горячие, влажные, упругие, они шевелились, словно живые существа, прилипали — не отлепишь. Авросимов даже застонал, все более сползая к ней на ковер со своего дивана, все крепче обхватывая ее шею, плечи, задыхаясь... Вдруг она оттолкнула его этак лениво, скинула с себя его руки, проговорила капризно:

— Да ну вас, измяли всю... Что это вы, Ваня, как медведь... Ну вас...

А наш герой сидел рядом с ней на ковре, широко разинув рот, жадно дыша, в каком-то безумном отчаянии протягивая к ней руки.

— Да не лезьте вы, не лезьте, — сказала она, оправляя платье, — я к Сереженьке хочу...

— Как вас зовут? — выдавил он, задыхаясь, пытаясь остановить ее, ухватив за подол, но она легко, несмотря на некоторую полноту, упорхнула от него и в миг была уже возле прежнего своего офицера.

И тут до Авросимова снова стал доноситься шум веселья, словно слух вернулся к нему. Трещали поленья в камине.

— Ба! А вы здесь откуда? — услышал наш герой и, подняв голову, увидел знакомого тонкорукого кавалергарда, который с бокалом остановился над ним. Авросимов тотчас вскочил и поклонился со всей возможной учтивостью.

— Вот уж незачем церемонии, — засмеялся кавалергард. — А вы с нами? Это прелестно. Нравится?

— Нравится, — сказал Авросимов потерянно, поглядывая на прекрасную свою незнакомку, прильнувшую к другому.

— А, эта?.. — засмеялся кавалергард. — Дельфиния... Да ну ее к черту...

— Дельфиния? — удивился наш герой.

— А черт знает, как ее на самом-то деле зовут, — сказал кавалергард, усаживаясь на диван. — Меж нас она — Дельфиния... В сене нашли, — и увидев, как вскинулись брови у нашего героя, сказал: — А это и хорошо, ведь верно? Вольно так... Иногда ведь это прелестно ото всего уйти к черту... Настоишься там, насмотришься за день... — и он кивнул куда-то, но Авросимов понял, что тот имеет в виду. — Отчего ж вы не пьете? Я вот смотрю на вас там — вы там очень переживаете, это заметно... А меня зовут Бутурлин Павел... А если вы с Дельфинией пошалить хотите... Хотите?

— Да ну ее, — сказал Авросимов, глотая слюну и стараясь не видеть, как она обвивает своего офицера.

— Это ведь просто, — усмехнулся Бутурлин. — Я могу сказать...

— Да нет, сударь. Пустое все это, — ответствовал наш герой, тая надежду.

Они выпили. Авросимов снова краем глаза глянул на Дельфинию, но ее не было и офицера не было. Вместо них на диване сидел нога за ногу черноусый гренадерский поручик и медленно раскачивался.

— Этот уже готов, — засмеялся Бутурлин, кивая

на поручика, — а ведь он может пять бутылок один осушить... Да, верно, перебрал, перебрал...

Они выпили еще, и Авросимов непослушными губами прикоснулся к сыру, но есть не стал.

— А я вот вижу, что вы там переживаете, — снова заговорил Бутурлин, — страшно вам смотреть, как следствие идет?

— Страшно, — признался Авросимов, трезвея. — Первый раз царубийцу вижу... Я-то думал: с бородой он...

Бутурлин расхохотался очень располагающе.

— Воистину, — сказал Авросимов, — дивлюсь я, как можно долго так да так учтиво со злодеем?

— А ведь я с Пестелем знаком, — вдруг сказал Бутурлин, наполняя вином кубки. — Он человек с головой, да. Но и с закидонами... А я не люблю крайностей...

— Хитрый он, — вставил Авросимов. — Да не перехитрил!

— А вот и нет! — захохотал Бутурлин непонятно над чем. — Вы мне нравитесь, ей-богу...

И он опрокинул кубок свой с жадностью и кинулся прочь. Авросимов попытался было бежать за ним, но не смог подняться с дивана.

А пиршество тем часом продолжалось. Поленья в камине трещали с новой силою. Лица у всех были медного блеска, отчего у нашего героя дух захватывало.

«Веселье-то какое! — думал он, смеясь просто так, с самим собой. — Ах, Дельфиния! Где ты есть?.. Откликнись!»

Он все-таки поднялся и с трудом зашагал через развалившихся на ковре молодых людей и дам, подобных Дельфинии, а они пели, кричали и хватали его за ноги, скалясь и гримасничая. Он добрался до двери и вышел в прихожую.

С блуждающей счастливой улыбкой пробирался наш герой куда-то вперед, не отдавая себе отчета, пока кто-то, взявши его за плечо, не остановил. Авросимов

увидел давешнего гренадерского поручика, видимо, несколько протрезвевшего.

— Где Дельфиния, а? — спросил наш герой.

— А крови не боишься? — засмеялся поручик и стал жать Авросимова за плечи, пригибая его к земле.

— Да что вы, сударь? — возмутился Авросимов. — Сударь... Да знаете... Пустите плечо...

— Врешь, — сказал гренадер, — и не таких ломал.

И он стал жать с новой силой, но тут наш герой пришел в себя, и либо отчаяние его было велико, либо деревенская жизнь, здоровая и вольная, в нем сказалась, но он сжал руку гренадера, закрутил ее и отшвырнул обидчика прочь. Поручик вскрикнул и стал на колени.

— Стреляться! — сказал он. — Рыжий черт.

— Я вам не черт, — обиделся Авросимов. — Вы, сударь, шли бы спать...

И тут глаза у поручика потухли, тело расслабилось, он приткнулся на шубах и блаженно улыбнулся.

Авросимов кинулся подальше от этого происшествия и заглянул в одну из комнат. Какой-то штатский с оттопыренными красными ушами стоял на коленях, молитвенно сложив руки, перед молодой дамой, которой Авросимов еще не видал. Наш герой поспешил затворить дверь.

— Дельфиния, — слабо позвал он, спотыкаясь во мраке о какие-то тела и предметы, — Дельфиния... Душечка, откликнись! Дельфиния...

И тут словно чудо произошло. Распахнулась темная дверь, и, лениво потягиваясь и зевая, и стараясь прибрать поаккуратнее свои черные волосы, прекрасная Дельфиния, не заставив себя долго ждать, выплыла в прихожую под желтый свет единственной свечи.

— Ах, — лениво произнесла она, увидев Авросимова, — Ванюша, рыбонька, вы ли это?

— Дельфиния, — сказал наш герой, воспрянув, — я обыскался вас... А вы все спите?

И тут он направил взгляд далее и за ее широкими, круглыми плечами в распахнутую дверь увидел офицера, разметавшегося на красной тахте, без мундира, спящего.

— Да закройте же дверь, бесстыдник! — сказала Дельфиния.

Они, спотыкаясь, пробирались по прихожей навстречу хохоту и визгу и треску поленьев в камине и наконец вошли в залу, где от синего трубочного дыма лица были почти не видны и аромат вина и колбасы, и тел, почти осязаемый, витал меж ними. И сквозь эту плотную завесу наш герой, счастливый оттого, что Дельфиния рядом с ним, увидел своих случайных сотоварищей, предающихся веселью, словно в мире уже ничего не было, кроме этого флигеля во дворе.

— Ах, и Милодорочка уже здесь! — воскликнула Дельфиния радостно и кивнула на молодую даму в белых чулках, которая, залиvisto хохоча, брызгала вином в Бутурлина, пытавшегося чмокнуть ее в щечку.

— Какие у вас все имена удивительные, — восхитился Авросимов, готовый восхищаться всем.

— Чего ж удивительного, — сказала Дельфиния. — Как у нимфов настоящих... Вы бы мне, Ванечка, кавалер мой алмазный, вина бы принесли, — и плюхнулась на ковер.

Авросимов стремительно кинулся выполнять ее желание, чувствуя, как снова нарастает в нем возбуждение, как руки дрожат, словно в лихорадке. И он схватил целую бутылку и бокалы и потащил к Дельфинии, и уселся рядом.

— Ах, неучтиво-то как, — засмеялась она. — Кавалер-то стоя должен даме наливать...

Авросимов выпил свой бокал лихо, по-гусарски, отшвырнул его и наклонился — поцеловать ручку Дельфинии. Она уже протягивала ее, белую, с короткими пальцами, с синей жилкой, похожей на крестик, мягкую, пахнущую негой...

— Вы прямо как влюблены в меня, — засмеялась Дельфиния.

В голове у Авросимова был сумбур от хмеля, любви и полумрака.

— Целую вас в ваши рыжие кудри! — снова засмеялась шалунья и поцеловала, отчего он совсем возгорелся и обхватил ее поудобнее, словно намеревался остаться так навеки.

— Я люблю вас, — прошептал он, сжимая ее все крепче, — едемте ко мне в деревню... к матушке... венчаться... У меня двести душ!..

И тут она стала вырываться и, несмотря на немалую силу и неувядаемость нашего героя, это ей удалось, хотя, оттолкнув его, она являла собой зрелище жалкое, в помятом платье и с растрепанными волосами, и, оставив его на ковре, пошла прочь к дивану, где сидела Милодора с бокалом в руке.

— Дель...фи...ния... позвал он едва слышно, но напрасно.

Милодора хохотала, слушая рассказ подруги.

— Что это с вами? — сказал Бутурлин, подойдя к Авросимову. — Нечто это в правилах? Она на вас сердает за насмешку...

— Да какая же насмешка? — едва не плача, спросил наш герой. — Я по чести... Вот крест святой...

— Да бросьте вы, ей-богу, — рассмеялся Бутурлин. — Зачем же надсмехаться? У нас это не принято... Она ведь и так пойдет... Чудак вы, право.

За карточным столом разгорался спор, даже стекло зазвенело, и черные лохматые тени заматались по стенам, и наш герой вдруг почувствовал, что сознание снова возвращается к нему. И тогда его поманило в деревенскую тишину, в покой первозданный, к печеньям, соленьям, где все, как говорится, так и пишется, и уже стремительный взлет не казался чудесным таким и не грел, а, напротив, виделся, как испытание и искушение судьбы, и он сказал Бутурлину, располагавшему к откровенности:

— Ах, скорее бы уж это кончилось!.. Чего тянуть? Бутурлин, натурально, тотчас понял, что имеет в виду наш герой.

— Да вы все это к сердцу-то не кладите, — сказал он. — Я вот тоже смотрю, как они друг друга, к примеру, терзают, то есть меня воротить начинает... Но я мимо смотрю, в окно, на снег; думаю, как там вечером нынче...

И Авросимов тоже понял, что имеет в виду Бутурлин, о чем он говорит.

— Никто ничего об другом не думает, — сказал Бутурлин, усмехаясь грустно, — каждый думает об себе...

«Никто, нигде, никого, никогда...» — с ужасом вспомнил Авросимов и тайно перекрестился.

— А государь? — шепотом спросил он.

— А что государь? — шепотом же ответил Бутурлин. — Каждый живет, как может... Я так, а государь — эдак...

— Да как вы можете такое? — поразился Авросимов, чувствуя холод в затылке.

— Ах, какой вы... — засмеялся Бутурлин. — Вот мы эскадроном в тот день на Московский полк скакали, нестройно так... Сблизились. Я крикнул Бестужеву: «Не вели солдатам своим стрелять. Мы вас только пострацаем немножко!..» Ну зачем бы я его рубить стал?

— А коли узнали бы! А коли велели бы... рубить?! — захлебнулся Авросимов.

— Ну рубил бы, — пожал плечами Бутурлин. — Сказал бы ему: «Прости, брат», — и рубил бы... Да и он бы меня не помиловал, право... А тут обошлось. А вы по неопытности очень это всерьез принимаете...

— На государя руку подняли! — крикнул Авросимов.

— А государь-то что, Бог? — захохотал Бутурлин. — Он ведь тоже о двух ногах, об одной голове... Да вы успокойтесь, мы его в обиду не дадим... — и захохотал пуце. — Прелестный у нас с вами спор вышел!

— Какие уж тут шутки, сударь, — с трудом смеясь, проговорил Авросимов. — Не пойму я вас, однако.

Тут Бутурлин, желая рассеять неприятное впечатление, произведенное на нашего героя его словами, поманил Милодору, и она тотчас опустилась на ковер возле них. Авросимов глянул было: где же Дельфиния? Но ее снова не было в зале. Милодора обняла его за плечи, шепнула ему:

— Ах вы рыженький шалун, а Милодора вам уж и не любя?

— Господа, — крикнул Бутурлин. — Пьем за Милодору!

— А вот они меня любят, — шептала меж тем Милодора нашему герою, кивая на Бутурлина, — а вы так совсем нет... Нет чтобы на руки меня поднять... Можете?

— Могу, — сказал Авросимов и, обхватив ее поудобнее, поднял с пола.

— Ура! — крикнул Бутурлин, расплескивая вино.

Милодора хохотала, болтала ногами и так прижималась к нашему герою всем телом, что ему стало горячо и он, ног под собой не чуя и желая совершить подвиг, напрягся и поднял ее над собою. Она только ахнула. Все к ним обернулись.

А чудесные превращения тем не менее продолжались. Казалось, будто из табачного тумана сами по себе возникают призрачные картины, чтобы тревожить нашего героя. Не успел он опустить Милодору на ковер и смахнуть капельки пота со своего лба, не успела она, изнемогшая от визга, глотнуть прохладного кислого вина (а ведь это, заметьте, на виду у Авросимова), как тотчас все смешалось, затуманилось, а когда проявилось, то никакой Милодоры не было и в помине, Бутурлин резво вистовал в дальнем углу, словно никогда и не вставал из-за карт, а на ковре возлежала, подложив руки под голову, та самая молодая дама, которую Авросимов помогал вытягивать из сугроба. Голубое платье ее раскинулось и казалось на темном ковре лесным озер-

цом. Она лежала и разглядывала нашего героя неподвижными серыми глазами.

— Господи, — прошептал Авросимов, — эту-то еще как зовут?

— Мерсинда, — тотчас отозвалась дама и капризно пожаловалась: — Меня в вине утопить хотели... Нахлестали в лохань вина...

— Мерсинда, — сказал он, уже ничему не дивясь, — а где же Милодора? Кого я на руках держал?

Но она продолжала смотреть на него неотрывно и промолчала.

— Мерсинда, — продолжал Авросимов, — неужто вас в вашем платье в лохань окунали?

— Горе мое, — засмеялась Мерсинда на эти слова, — вот горе мое... Да как же в платье, когда я голая была! — и в глазах ее вдруг промелькнул живой интерес к стоящему над нею молодому человеку, чьего имени она не знала.

Голос у нее был хрипловатый, улыбка яркая, подобная цветку. Авросимов опустил рядом с ней на ковер и услышал, как она сказала, словно и не ему, а самой себе:

— Весна придет, почки раскроются... А меня, нимфу молодую, чудесную, повезут на белой колеснице по дороге столбовой.

Лицо ее с серыми глазами и с большим влажным ртом невыразимо притягивало нашего героя, и нос ее, несколько вздернутый, очень удачно располагался на белом круглом лице, обрамленном светлыми пышными волосами.

— Вам любо мое тело? — вдруг спросила она. — Вон я какая лежу перед вами: вся горячая да прекрасная... Что же вы не наслаждаетесь, не глядите на меня во все глаза?

— Я гляжу, гляжу, — сказал наш герой. — А ведь это я вас из сугроба тянуть помогал.

— Ах, да я и не помню даже, — засмеялась Мерсинда, не сводя с него глаз. — А вы грустите чего-то, да?

— Почему же это, прекрасная Мерсинда, — спросил наш герой, — ваши подружки отказывают мне в любви, когда другим все позволяют? Вот и вас другие даже в лохань окунали — и ничего...

— А потому, — ответствовала Мерсинда, — что на это комнаты имеются, где никто вас не видит... А в зале можно ручки целовать, да комплименты говорить, да смеяться.

В это время в залу вошел гренадерский поручик, красивый и трезвый.

— Вот он, соблазнитель мой, — засмеялась Мерсинда с томностью. — А уж силен, силен!

— Да я его одной рукой свалил, — сказал Авросимов.

— Силен, спасу нет... Он меня на руки взял и в лохань... — она засмеялась. — Всю прямо в калачик свернул...

— Да я ж его запросто свалил, — сказал Авросимов.

— Силищи у него ужас, спаси Христос! — сказала она, вспоминая.

— А я сильнее, — сказал Авросимов. — Хотите, я вас к потолку подниму? — и он напряг свои мышцы, готовясь по первому ее знаку совершить геройство.

— Вот он, силач мой, — засмеялась Мерсинда, не обращая внимания на нашего героя. — Ох и силен!

Авросимов почувствовал, что не может теперь отступить, не может, что готов схватить ее в охапку и бежать с ней в комнаты, ото всех подальше, но трезвое ее наставление уже руководило им, и он сказал, надеясь:

— Пойдемте со мной, прекрасная Мерсинда... Я вас в лохани топить не буду.

— Пойдемте уж, — согласилась она, словно только и ждала его предложения, и поднялась с ковра.

Теперь уже с Мерсиндой пробирался наш герой на своих дрожащих ногах по шубам, наваленным в прихожей, теперь уже Мерсинду держал он за руку, все боль-

ше поражаясь легкости, с которой она согласилась ответить на его любовь.

И они вошли в ту самую комнату, из которой еще совсем недавно возникла встрепанная Дельфиния, и Мерсинда, привычно и деловито сняв нагар со свечи, уселась на красную кушетку и с легкой усмешкой выжидательно уставилась на нашего героя, который, опустившись на стул, застыл, ибо все, что казалось там, в зале, простым и доступным, теперь выглядело как самое невероятное.

Так они молчали несколько минут. Потом Мерсинда, теряя терпение, спросила:

— Ну, что же мы с вами делать будем?

Наш герой только слюну проглотил, а выговорить ничего не смог. Тогда она похлопала по кушетке.

— Хоть рядом сядьте, горе вы мое...

— Где... рядом? — выдавил Авросимов, теряясь окончательно.

— Горе мое! — засмеялась она одними губами. — Идите вина выпейте... Ступайте же!

Он встал и вышел, и, уже не разбирая дороги, ринулся в залу. Дельфиния встретила его, но он оттолкнул ее.

— Ванюша, рыбонька, неучливый какой! — проговорила она вслед.

Он выпил прямо из бутылки. Пил, пока не почувствовал, что ноги уже не держат. Бутылка выскользнула из рук. Вино пролилось. Покачиваясь, он направился обратно, не слыша, как за карточным столом снова возгорается спор, но споткнулся о чью-то шубу и упал на нее, лицом в мех...

...Авросимов проснулся, как от толчка. Он вскочил на ноги, чувствуя глухую боль в голове и слыша, как в зале, перебивая друг друга, нехорошо так бранятся его сотоварищи.

О чем они?

Нет, милостивый государь, вы бы лучше не вопро-

шали бы так по-пустому, а поставили бы себя на место нашего героя, раздираемого любовью и всякой чертовщиной, которая со вчерашнего дня сушит ему голову. Когда на месте мирно веселящихся фигур вы застаете ожесточение и желание какого-то оправдания неизвестно перед кем, каково-то вам, милостивый государь? И здесь вы встречаете суд, и здесь, изволите ли видеть, вам задают вопросы с гневом, пристрастием и насмешкой. А вы все утверждаете себя, хоть и тщетны ваши усилия, как тот злодей перед лицом Высочайшего комитета.

Вот как вошел в залу Авросимов, глядя с недоумением на своих недавних друзей, стоящих друг перед другом с видом молодых петухов, утверждающих свои права.

— Оставьте меня, господа, — сказал гренадерский поручик совершенно трезво. — Здесь не место и не время обсуждать мое поведение... Тем более что и у вас рыльца и пушку...

— Потрудитесь выбирать выражения, сударь! — прикрикнул молодой человек с оттопыренными красными ушами.

— О чем они? — спросил Авросимов у Бутурлина, но кавалергард отмахнулся от него.

— Господа, — миролюбиво сказал он товарищам, — о какой смелости идет речь? Я забочусь о собственной чести... Мое — это мое. Мы же прелестно веселились, оставьте поручика...

— Фу, позор какой! — засмеялся офицер, который миловался в начале вечера с Дельфинией, а именно Се-реженька. — Вы, Бутурлин, напрасно им все это объясняете... Они же притворяются... Я — дак палил, например, в самую гущу... А что? Или вот когда мы князя Щепина вязали на площади, даже он меня оправдал... Он мне сказал: «Вот я бы, к примеру, тебя вязать не стал бы... Я бы тебя — саблей. А ты великодушен, черт!...» Сроду не забуду, как он это сказал. Ведь про-

меж нас — одно рыцарство должно быть, понятия чести...

— Ну, пошел выворачиваться! — засмеялся со злостью гренадерский поручик.

— Какие ж такие планы у него, — спросил Бутурлина Авросимов, — что он муки-то за них принимать должен?

Бутурлин, натурально, понял, кого имеет в виду наш герой, поморщился, что его отрывают от спора, потом засмеялся и сказал:

— Ах, да что там за планы? Тщеславие одно... А ради чужого тщеславия кому умирать охота? Даже государю...

— Не касайтесь государя! — крикнул молодой человек с красными ушами.

— Когда государь был великим князем, — спокойно, с легкой улыбкой на устах сказал гренадерский поручик, — мне довелось в охоте его сопровождать...

Авросимов побледнел ввиду такой новости, губы у него пересохли, ему даже показалось, что он видит перед собой государя, шагающего по высокой траве, в кожаном камзоле, высоких ботфортах, с мушкетом в руках... Или на лошади?

— ...Подстрелив кабана, — продолжал поручик неторопливо, — и будучи в расположении, он, смеясь, заметил окружающим его, что разница между положением царя дичи и царя человеческого лишь в том, что за этим бегать надо, а тот сидит и дожидается, когда его прикончат...

— Не верю! — захохотал Сереженька.

Все зашумели. Поручик махнул рукой и выпил вина. Авросимов, ступая как по иглам, приблизился к нему и спросил тихо:

— Сударь, как это вы об государе говорите?

— А что? — скривился поручик. — Или я не волен говорить, что мне заблагорассудится? — и снова выпил.

— Да перестаньте, господа, — сказал Сереженька.

— Господа, — сказал Бутурлин, — карты ждут.

Вист продолжался. У нашего героя шумело в ушах и пальцы дрожали. Он опустил на ковер и стал пить, как вдруг гренадерский поручик, уже изрядно хмельной, неожиданно приблизился и спросил, теребя усики:

— Кто вы такой, чтобы меня судить?

— Да это не я, — сказал Авросимов. — Это они вас за то, что вы к бунтовщикам симпатии высказывали...

— Я? — скривил губы поручик. — А знаете ли вы, что я семь суток Пестеля в Петербург конвоировал, имея, представьте, указание стрелять, коли что... Ага... Вот так сидел с ним... — и он опустил рядом с Авросимовым и прижался плечом к его плечу. — Вот так сидел...

— А он ничего?.. — спросил наш герой с присущим ему любопытством. — Не намеревался чего?..

Он заглянул в стеклянные глаза поручика, и они показались ему выразительными как никогда.

— Два жандарма сидели в саях напротив, — сказал поручик. — Я — рядом, а они — напротив. Я ему сказал: «Эта картина изображает нас с вами как единомышленников». Он засмеялся. «Вас это пугает»? — спросил он. «Нисколько, — ответил я. — Даже поучительно весьма, не будучи виновным, ощутить себя в такой роли». Он снова засмеялся, потом сказал: «Один Бог знает истинную нашу вину, ибо в житейском смысле мы всегда виноваты друг перед другом...» — «Однако везут в а с, а не меня», — возразил я. «Один Бог знает истинную вину, — задумчиво повторил он. — Склонность служить общественному благу — не есть вина». — «Вы-то чем служили, позвольте спросить?» — удивился я.

— Чем это он служил? — спросил Авросимов с негодованием и растерянностью.

— «Чем же это вы служили?» — спросил я. Он стал кутаться в шубу, усмехнулся и ответил: «Мой полк был лучшим на царском смотре. Это ли не служба?» Тут я заметил, что спящие дотоле жандармы бодрствуют и один из них косится в мою сторону.

— Непонятно, непонятно, — удивился Авросимов.

— Чего же непонятного?! — рассердился вдруг поручик.

— Непонятно это мне, сударь, — сказал Авросимов. — Вы о злодее только что с симпатией говорили...

— Ух, черт, — сказал поручик в сердцах, — ничего вы, любезный, не можете знать, да и не должны... Кто вы такой?

— Я российский дворянин, — сказал Авросимов с вызовом неожиданным. — У меня двести душ... Я государю служу... А вы кто такой?..

— Да пейте, пейте, — пробормотал поручик, погаснув. — Пейте...

Они снова выпили, затем — еще... И наш герой внезапно почувствовал себя легко и уверенно и как бы сквозь прекрасный туман различал теперь лица, которые все были милы и доброжелательны и словно повернуты в его сторону, и словно делились с ним какими-то тайными приятными сигналами.

Дышалось легко, вольно. Руки эдак плавно вздымались, наподобие крыл, и, задевая плотный густой воздух, повисали в нем, медленно колыхаясь. Это наступал знакомый покой деревенского утра, лета; речной запах поднимался с пола, освежая мысли; тревоги как не было; золотистая соломинка плавала в бокале с вином, изображая юную купальщицу.

Вдруг в залу вползла, медленно перебирая руками по полу, плачущая Милодора. Из-под измятого ее платья проглядывали белые чулки. Туфелек на ногах не было. Она тоненько подвывала, отчего можно было и напугаться, да еще видя ее белое лицо с остановившимся взором. И тотчас в прихожей послышался крик, а чей — было не понять.

Авросимов поглядел на играющих, но за столом никого не было, а все устремились прочь из залы, и даже Бутурлина не было на диване, и гренадерский поручик исчез странным образом, только он, Авросимов, да Ми-

лодора, все еще стоящая на четвереньках с диким выражением на лице, не поддались общему стремлению.

— Что же это, Милодорочка? — спросил Авросимов, но она не слышала его вопроса, ибо он уже бежал на непослушных ногах по прихожей в комнату, куда устремились гости.

Когда он, распахивая всех, пробился наконец в эту комнату, в которой еще не бывал, перед ним возникла в неясном озарении свечи спина молодого человека с красными ушами, стоящего нелепо на четвереньках пред лоханью, полною вина.

Все молчали. И Авросимов взгляделся попристальнее в распахнувшуюся перед его взором картину и увидел: молодой человек стоял на карачках неподвижно, уткнув лицо в лохань. Лоб, рот, нос, подбородок — все было скрыто. Только красные уши, как осенние листья, лежали на поверхности винного пруда.

Стояла тишина. И в этой тишине покачивались на стенах кособокие силуэты застывших молодых людей.

Черноволосая Дельфиния склонялась откуда-то с потолка, опираясь каким-то образом на плечи Бутурлина, разинув пухлый ротик; Мерсинда голубым пятном тонула в углу во мраке: Сереженька, отставив ножку, тянул лицо, шевелил губами, словно разговаривал с Богом; гренадерский поручик сжимал собственное горло, стараясь не дать вырваться страшному крику, который распирает его грудь; остальные напоминали изваяния, разбросанные там и сям вдоль стен.

А время шло. Молодой человек над лоханью не менял позы.

— Ах, — выговорил вдруг Сереженька шепотом, — все пьет, пьет, никак не напьется...

— Господа, — сказал Бутурлин тоненьким срывающимся голоском, — может, помочь ему? Может, он дышит еще?

«Дышит, как же», — подумал Авросимов с содроганием.

Но тут Милодора, невесть откуда взявшаяся, обхва-

тила нашего героя за шею и повисла на нем, тяжело дыша ему в ухо.

— Господа, — сказал Бутурлин, — я предупреждаю, что промедление смерти подобно.

Но никто не пошевелился.

— Да ну его, — сказал наконец Сереженька бледными губами и тихонько, на носках пошел прочь из комнаты.

Все потянулись за ним.

Милодора продолжала висеть на нашем герое, отрезвляя его своей тяжестью, и он с трудом волочился по прихожей в залу, когда мимо них по направлению к зловещей комнате пронесся, словно тень, старик в бакенбардах, в ливрее и в шлепанцах на босу ногу, а за ним — вереница заспанной челяди, все серые, как мыши.

В камине снова трещали поленья, распространяя благотворное тепло. За карточным столом шла игра как ни в чем не бывало. Прекрасная Дельфиния, раскинувшись на диване, шалила с Бутурлиным, подставляя ему губки, да не давая их поцеловать. Мерсинда восседала на ковре между Сереженькой и гренадерским поручиком...

И Авросимов медленно опустил на ковер Милодору и сам уселся рядом.

— Непонятно, непонятно, — засмеялся он, как бы играя со своим страхом, как бы дразня его. — Вот он выберется из лохани да поглядит на себя самого — позор. А выберется ли?.. Он уж с час как покойник!.. — и он потускнел и почти крикнул в отчаянии: — Зачем же так-то помирать, Господи! Уж лучше бы от злодейской пули... И то лучше...

И он погладил притихшую Милодору по волосам, словно надеясь услышать от нее ответ на свое восклицание, и она, всхлипывая, сказала:

— Я им сказывала: не пейте с лохани-то, вы же не волк какой-нибудь... А они мне: нет, волк... И так-то на карачках, на карачках... Меня с собой звали: идите, го-

ворят, волчица... Да нешто можно с лохани? В нее ж Мерсинду окунали!..

— Как же это, Милодорочка, — спросил наш герой, — так он и пил по-волчьи-то?

— Так и пил, — сказала молодая дама. — Я заснула на кушетке, а он пил да пил...

— И сейчас пьет? — растравляя рану, любопытствовал Авросимов.

— Сейчас его тело небось уж домой отвезли...

— А у него нешто есть дом, прекрасная Милодорочка?

— Да ну вас, — отмахнулась она.

И они снова стали пить бокал за бокалом, все больше чувствуя тепло друг от друга.

В скором времени наш герой захмелел настолько основательно, что уже не понимал ничего вокруг себя, и лишь природное здоровье поддерживало его в вертикальном состоянии, хотя на несколько побледневшем лице не читалось ни мысли, ни желаний, ни направления. И юная его подруга была ему под стать, и только то, что потеряв рассудок, он продолжал закостенело держать ее в объятиях, позволяло ей не грянуться окончательно наземь, а сидеть, склонив голову ему на плечо.

Рядом с ними, словно громадная свинья, расположилась опрокинутая бутылка, из которой медленно вытекали на ковер остатки ароматного вина и, растекаясь все больше и шире, уже коснулись ее платья, отчего на нем набухало темное пятно, напоминающее большую аккуратную заплату.

И вот, когда уже в который раз погасли поленья в камине и последние свечи оплыли окончательно, распространяя душный, хорошо вам знакомый аромат, а в озарении одного или двух догорающих, почти тлеющих огарков игра не вязалась, а желания заново осветить залу уже не было, тогда молодые люди, вполне пришедшие в себя, встали один за другим и молча направились в прихожую, оставив в зале все как было: бутылки,

куски недоеденных яств, кучки пеплу от трубок по углам и нашего героя с его дамой.

Пока они одевались в прихожей, молчаливые и строгие, как судьи, по залу засновали безликие и нагловатые тени, набежавшие из пробудившейся людской. Их было много, и они были бесшумны и деловиты, приводя в порядок помещение, придавая ему жилой и благополучный вид после долгого и отчаянного сумасбродства.

Почти с такой же легкостью и грацией, как бутылки и пепел, подхватили они нашего героя и, одев его в шубу, посадили в кресло в прихожей, пока один из них побежал кликнуть ваньку.

Наш герой спал, блаженно причмокивая губами, не видя и не слыша ничего, а юркая привычная челядь тем временем с тихим смехом, подмаргиваниями и ужимками готовила ему сюрприз.

Вы бы ахнули, милостивый государь мой, когда бы смогли представить на минуту, до чего додумались эти бездельники, а именно — они вынесли из залы спящую Милодору и вместо того, чтобы отправить ее в девичью вслед за ее подружками, накинули на нее овчинный тулуп, выволокли остороженько из дома вместе с нашим молодым героем и, погрузив обоих в сани, шепнули кучеру, чтобы возил их по городу, покуда не прошибет морозцем, чтобы кавалер смог наконец сообщить, куда его везти.

Ванька тронулся. Дворня исчезла. Утренний снежок занес следы. Авросимов сладко спал, прижимая к себе спящую же Милодору. Сани ползли по Фонтанной.

Должно было минут около часа, чтобы разыгравшийся морозец дал себя наконец почувствовать. Щеки у Авросимова запунцовели, дыхание выровнялось, и он открыл глаза.

Над собой он увидел низкое серое, рассветное небо, из которого сыпался редкий снежок, и долго не мог понять, где он находится, пока не поворотил головы и не

увидел скрюченную спину кучера и проплывающие мимо них молчаливые и великолепные здания.

Он стал припоминать, что с ним произошло, но хмель в нем был еще силен, и вспомнить толком он ничего не смог, даже когда, приподняв край овчинного тулупа, обнаружил под ним спящую Милодору.

Заметив, что барин проснулся, кучер полюбопытствовал, куда везти, и, разобравшись в не очень твердом описании дороги, прищелкнул лошадку. Авросимов заснул снова.

Разбудил его уже Ерофеич. Молча, по своему обыкновению, он дал Авросимову прийти в себя и стал помогать вылезти, ибо, как оказалось, наш герой не был еще в состоянии вполне без посторонней помощи совершать поступки.

Но, вылезая из саней. Авросимов задел тулуп, покрывавший Милодору, и она предстала перед похолодевшим Ерофеичем во всей своей красе. Старик развел руками, а наш герой, почувствовав ответственность за судьбу молодой дамы, несколько даже отрезвел и сам вылез из саней, и тоном, не допускающим возражений, велел Ерофеичу брать Милодору за ноги, а сам ухватил под мышки, чтобы нести ее, спящую, в дом.

Ерофеич начал было спорить и сопротивляться, но Авросимов прикрикнул на него, и они понесли.

Все это наш герой проделал с лихим видом, как это бывает обычно у сильно выпившего человека перед лицом женщины, но, как выяснилось позже, при полном отсутствии сознания, машинально, ибо, проснувшись в полдень во всем вечернем облачении и увидев на подушке рядом с собою женское лицо, он чуть было не закричал от ужаса.

Ерофеича не было. Тогда уже трезвым взглядом Авросимов снова внимательно, напряженно, хотя и с некоторым замешательством оглядел ее.

Она была уже не первой молодости. Круглое лицо ее, обращенное к нему, носило следы неумеренности, особенно лоснящиеся дрябловатые щеки, а горестная

складка на лбу не придавала лицу значительности, а делала его жалким. Свалявшиеся волосы неопределенного цвета были особенно непривлекательны на белой подушке, а исходящий от нее запах винного перегара и пота вызывал отвращение. На измятом дешевеньком платье, сшитом с восхитительной претенциозностью, расплзлось и засохло большое винное пятно...

Наш герой нашел в себе силы встать и, выйдя в прихожую, кликнуть Ерофеича. Старик тотчас же явился и принялся было пенять молодому барину, но Авросимов шепотом повелел выпроводить ужасную гостью и, пообещав впоследствии все толком разъяснить, сам спрятался в чулан, чтобы, не дай Бог, она его не заметила и не стала бы кричать или там размахивать руками, что у подобных девиц в ходу.

Слава Богу, она не голосила. Авросимов слышал из своего укрытия сопение и приглушенные голоса, затем раздались шаги в прихожей, тяжелые и расхлябанные. И дверь захлопнулась.

— Черт знает, откуда она взялась, — сказал Авросимов, вылезая из чулана и не глядя на Ерофеича.

— К вам утресь давешняя барыня приезжали, — спокойно сказал старик.

Авросимов даже вздрогнул, представив на мгновение, как, не будь Ерофеича, эта прекрасная незнакомка очень просто могла войти и, ах, застать его лежащим на постели рядом с помятой девкой!

— Не наказывала ли передать чего? — спросил он, стыдясь себя самого.

— Отказались, — сообщил Ерофеич, придав этой странной истории еще больший ореол таинственности и интереса.

Слава Богу, что в крепости нынче все начиналось ввечеру, что страшная ночь минула и он остался цел, хотя почему-то нет спокойствия в душе, и снова — тревога и неопределенность какие-то во всем, и в темечке заняло по-прежнему.

И вот минувшая ночь внезапно начала проявляться со всеми разговорами, передвижениями, вином... Батюшки! Человек в вине утонул! Молодой, с красными ушами... Или это приснилось? Вполне ведь он сам, Авросимов, мог так-то вот подкатиться к лохани и на виду у Милодоры... Господи, хорошо, что прекрасная незнакомка в комнаты не заглянула!.. А этот, этот... Ах, страшно! И на помощь ведь не позвать: рот в вине...

Авросимов привычно семенил к крепости, а мысли, одна путаннее другой, стрекотали в голове, подобно сверчкам, сталкиваясь, перехлестываясь, отскакивая в разные стороны.

В большой дежурной зале, расположенной как раз перед комнатой, в которой заседал высочайше учрежденный комитет и куда торопился наш герой, былолюдно, суетливо, но не шумно. И куда их столько было — фельдъегерей, дежурных офицеров, адъютантов? Какое множество их сновало из дверей в двери, из угла в угол, и все ради одного очередного, приведенного на допрос преступника, да и то укрытого ширмой от возбужденных глаз окружающих. А сколько писарей... А уж о высоких чинах и говорить нечего. И все это вертелось, кружилось, радовалось, негодовало, спрашивало... Все это хотело есть, пить, спать, веселиться и благодарить Бога, что не им за ширмой сидеть в ожидании решения собственной участи. Ах, страшно вообразить себя даже на мгновение закованным в железа!

Авросимов осторожно, краем глаза глянул за ширму. Высокий с залысинами лоб Пестеля обреченно качнулся перед ним. И Пестель поднял глаза. И они посмотрели друг на друга. И Павел Иванович, вернувшись к действительности из раздумий, в которые дотоле был погружен, узнал это лицо, этот удивленный, настороженный взгляд и внутренне усмехнулся.

Лицо Авросимова тут же исчезло, а Павел Иванович подумал, что все-таки что-то да есть в этом рыжем писаришке располагающее, хотя, не дай Бог, наверное, оказаться под его шомполами, ибо молодые люди с такими глазами, полными тоски непонимания, неискушенные, могут забить насмерть, коли этому их научили. И Павел Иванович зябко поежился. Уж тут хоть на колени встань... Однако что-то в нем есть, что-то в нем есть...

В зале приглушенно ворковали люди, гордые сознанием собственной праведности, особенно подчеркнутой присутствием за ширмой скованного преступника.

— Пожалуйте, вас просят, — услышал над собой Пестель и встал.

В Следственной ему вновь предложили голубое кресло с вытертыми подлокотниками.

«Не знают, не знают!» — с радостью и надеждой подумал он и торопливо, мельком глянул в дальний угол, туда, где за маленьким столом уже сидел, изготовившись над листами, розовощекий рыжий писарь с удивленными глазами. И созерцание этого человека вдруг принесло Пестелю успокоение.

Нет, он, натурально, не обольщался, ибо взгляд нашего героя не выражал в ту минуту ничего, пожалуй, кроме неприязни, смешанной с недоумением, но он подумал, что все-таки лучше искренняя неприязнь неискущенного юнца, чем холодная вежливость старых циников, сидящих напротив и поступающих с неумолимостью по привычному расчету.

И, словно разгадав его невеселые мысли, все сидя-

щие за длинным столом члены тайного комитета тотчас надели свои маски, и следствие началось.

Авросимов надеялся, что вот сейчас-то и последует главный удар. Сколько же можно томиться?

Но ничего подобного не произошло, представьте. А просто граф Татищев буднично так и как бы нехотя, голосом утомленного жизнью человека, не подымая глаз от листа, прочел, обращаясь к Пестелю:

— Знали ли вы о намерении тайного общества покуситься на жизнь блаженной памяти государя императора и каким способом вознамеревались осуществить сие злонамерение?

В наступившей тишине что-то щелкнуло. Это из рук Авросимова выпало перо. Он метнулся за ним с ловкостью лисы, ощущая на спине осуждающий взгляд Боровкова.

Белые маски покачивались перед Павлом Ивановичем. Он не был в отчаянии, оно пришло позже, но и ничего путного что-то не мог подыскать для ответа...

— Я уже имел честь... — начал он тихо и по возможности твердо, — имел честь докладывать вам...

Но не успел он договорить, как граф Татищев, взмахнув своею белою пухлою рукой, которая, словно крылом, покачивала исписанным листом бумаги, поднес этот лист к глазам Пестеля с просьбой не торопиться с ответом, а ознакомиться с некоторыми, может быть, не очень приятными для него, Пестеля, откровениями неизвестного ему господина...

И видя, как Пестель с опаской потянулся к листу, словно тот мог взорваться от прикосновения, наш герой рассмеялся в душе. Да и как было не рассмеяться, если тревога и волнение предшествующих дней, и сумбур, и негодование — все, что скопилось и жгло, вдруг рассеялось мгновенно от единого только вида трясущихся рук злоумышленника, которые он с такой опаской тянул к листу.

Матушка, напрасны были ваши слезы! Есть Бог. Он видит. И он руководит нашими помыслами, коли мы

верны ему, натурально, движет нашими руками, благо-словляет нас на свершение подвига. Это он, он, мудро прищурившись с высот небесных, терпеливо ждет своего часа, чтобы воспрепятствовать нам в наших безумствах, чтобы утверждать в наших горячих и несовершенных головах свое могущество... Это он в нужную минуту велел военному министру поднести наконец к глазам Пестеля тайную сию бумагу, чтобы тот прозрел и ужаснулся.

И наш герой, продолжая внимательно наблюдать за поведением Пестеля, чтобы, не дай Бог, не пропустить ни малейшего жеста или даже шевеления губами, чтобы видеть воочию, как добро все-таки пересиливает злонамеренность, вдруг поймал себя на том, что глядит на растерянный, жалкий профиль пленного полковника с некоторым даже участием, что он бы, Авросимов, будь он на месте военного министра, не стал бы этого пленника дольше томить в этой зловещей тишине. Ну что его томить? Да разве что изменится — скажет он истину или скроет ее? Да просто велеть бы ему отсечь голову за злонамерения его и тело зарыть неизвестно где. И все тут.

А видеть, как поверженный злодей мечется, изворачивается, — это даже неприятно... И даже хочется спросить у графа, смутив его: «А что, ваше сиятельство, кабы вы встретили на поле брани врага своего, смертельно раненного, истекающего кровью, глядящего на вас потухающим взглядом, вы бы его, ваше сиятельство, продолжали бы шпагой колоть, чтоб доставить ему лишние мучения, и кололи бы до тех пор, пока не стал бы он бездыханен, или как?»

«Отнюдь, — мог бы ответить на это граф, — но есть упоение в бою... и есть, милостивый государь, тайная власть, которой мы противустоять не можем».

«Мне это непонятно, — сказал бы Авросимов со свойственным ему недоумением. — Вы же, ваше сиятельство, восстаете против беззакония именем государя, а государь-то — именем Всевышнего, стало быть, и вы

как бы именем Всевышнего через государя... А почему же, ваше сиятельство, я не могу в движении ваших чувств узреть Бога?»

На это граф вполне резонно мог бы ответить, что, натурально, все — именем Бога и государя, но, дабы не могла в сердцах неискушенных молодых невежд вспыхнуть даже малая искорка сумнений или, что еще вреднее, сочувствия к вознамерившимся на злодейство, следует, чтобы сии преступники разоблачали бы себя сами, покарвав тем самым себя самое и свои планы...

«Какие планы-то? — снова удивился бы Авросимов. — Злодейство, и все тут... А если вы, ваше сиятельство, и вы, господа члены, так долго и с таким тщанием изучаете их злонамерения, уж не есть ли это знак того, что дарованное Богом и государем может вызвать сомнение?... А ведь вон и государя Павла Петровича извели... И ничего...»

Тут Авросимов понял, что зашел слишком далеко в своем возбуждении, и стал отмахиваться в душе от назойливых мыслей, которые мешали ему сосредоточиться на созерцании Пестеля.

Вдруг он увидел, как и без того бледные щеки пленного полковника стали белее мела. Голова его качнулась вперед резко так, словно он решил клюнуть дрожащий перед ним лист.

Дежурный прапорщик из преображенцев, стоящий возле дверей на месте Бутурлина, кинулся было к нему, но Пестель выпрямился и властно отстранил прапорщика.

— Господин полковник Пестель, — медленно произнес генерал Чернышев, явно наслаждаясь замешательством пленника, — теперь, после признаний вашего бывшего подчиненного, вы, надеюсь, ответите по всей чистой совести на вопросы, вам поставленные?

Что прочел на листе Пестель, для нашего героя оставалось загадкой, а в тоне военного министра и генерала Чернышева ему послышались знакомые нотки, которые можно было бы назвать даже располагающими,

когда бы они не были так зловещи. Вот и судите о людях, когда они наедине с вами будто бы даже симпатию выражают, а перед множеством подобных утверждают совсем противоположное.

Опять же — желание убить царя! Это ли не злодейство? Однако все высокие чины даже не вздрогнули при упоминании об этом; и минувшей ночью молодые господа очень свободно об этом произносили, словно и не о царе, не о государе императоре, а так, о дядюшке двоюродном да смертном...

И тут Авросимов в полном расстройстве чувств и в тревоге, которая снова на него накатила, вдруг отчетливо так, словно наяву, увидел государя императора в кожаном камзоле, в охотничьих сапогах-ботфортах и в шляпе с пером. Грустно поникнув головою, царь вышел из угла и двинулся вдоль комнаты. Он был мал ростом, настолько мал, что, подойдя к столу, за которым сидели высокие чины, не обошел его, а вошел под него, даже не пригнув головы, и пошел, пошел, обходя ноги генералов, показался с другого конца, ступил еще несколько шагов и исчез...

«Да, — подумал Авросимов с грустью и ужасом, — а что он может, маленький такой? Очень просто можно его и прихлопнуть...»

Он стал сильно трясти головой, чтобы избавиться от подобных размышлений, и тут же услышал шепот Боровкова как бы издалека:

— Что с вами, сударь?..

Тогда Авросимов ткнул пером в бумагу, чтобы оно было готово бежать по ней, живописуя для потомков страдания преступной души.

Пестель откинулся в кресле, словно переводя дух, и уже по привычке слегка поверотил голову, чтобы поглядеть, а как там этот рыжий? Глаза их встретились...

«А может, я смешон в своем упорстве? — подумал Павел Иванович. — Что угрожает мне? Покуда северяне действовали, я предавался сомнениям, и с этой точки зрения моя невиновность полная... На площадь я не вы-

ходил... Оружия в руках не держал... Отстранят от полка?.. О, это было бы счастливым исходом!.. Но ведь разжалуют, канальи. Вот что ужасно!»

И все-таки, представьте себе, даже в минуту полного отчаяния, когда последняя маленькая надежда покидает вас, нет-нет да и обернется какая-нибудь мысль внезапно своею шутливою стороною и даже — насмешливою, тем самым придав вам толику бодрости, пусть даже на единственное мгновение. Вот так и Павел Иванович, подумав о том, что ничего доброго нельзя ожидать от сего общества, которое видит в вас своего разрушителя и ниспровергателя и, пряча страх под масками, должно вас карать ради собственного спокойствия, внутренне усмехнулся, понимая, что, удайся его предприятие, он бы с друзьями непременно судил этих людей за то, что они, якобы верша закон на пользу народа, на самом-то деле старались для себя, именуя рабство божьим определением. И тогда все поворотилось бы обратным порядком и он с друзьями выглядел бы в глазах этих людей так, наверно, непреклонно, что они тоже теряли бы надежду.

Авросимов, весь поджавшись, нацелив перо в бумагу, ждал его первых слов, потому что вот оно и пришло то, от чего Пестель так ловко уходил. А может, это Пестелю самому казалось, что ловко. Теперь-то его приперли, злодея... Но, думая так, Авросимов не ощущал большого торжества и даже догадался, что бумага, показанная Пестелю графом, была выпиской из того, что о нем, о злодее, рассказывали его соумышленники, и посоветовал на промах графа, на его медлительность, ибо, возьми он сразу да вели привести всех скопом, да заставь их повторить ранее написанное, все бы давно уж закончилось!

«Интересно, — успел подумать наш герой, глянув на Татищева, — а кабы государя и впрямь извели, их сиятельство куда бы делись?»

Павел Иванович, хотя и понимал, что бой проигран, втайне все-таки надеялся на чудо, и это подогревало

его. Ах, милостивый государь, человек тем и знаменит, что он до последней минуты надеется, а когда не все до конца ясно — тем более. Вы бы сами так себя повели, коли были бы в подобном положении. Да что ж теперь-то гадать, когда это не к вам относится, а к человеку, сказавшему накануне ареста, что, мол, не беспокойтесь за меня, ничего не открою, хотя бы меня в клочки разорвали... И это он повторял затем в каземате, надеясь, что и они, друзья, ни слова. Но ведь знаете, как оно бывает: одно за другое и весь ты уже как на ладони...

Военный министр глядел на Пестеля, как бы говорил: «Все уж теперь, батюшка. Я понимаю ваш пафос, но теперь это все вздор... И вы не упорствуйте, как бывало в Тульчине, где все в а ш и были, свои... Здесь своих нет... Да и вы государев...»

«Зачем они вообще на цареубийство решились, если уж о пользе отечества пеклись? — подумал наш герой. — Ведь получается, что никакой разницы в мыслях: им — отечество и царю — отечество... Чего убивать-то?..»

Затем все пошло быстрее. Видно, и граф начал терять терпение, придерживаясь привычных правил, и решил ускорить ход событий, да и белые маски на лицах членов комиссии как бы покривились несколько, как бы слиняли. И когда Авросимов после первого удара по Пестелю, от которого и его прошибло, опомнился, ему даже смеяться захотелось, глядя, как нелепы эти маски, но он сдерживался и нацеливал свой интерес на то, как будут разворачиваться события дальше.

Павел Иванович, будучи в смятении чувств и утирая лоб несвежим платочком, который он с большим уже искусством держал в скованных руках, вдруг почему-то вспомнил душное тульчинское лето, одноэтажный свой домик с белыми прохладными стенами, низкое крыльцо, ранний вечер. Пахло пылью и укропом. Подполковник Ентальцев уезжал в Каменку. Павел Иванович вышел проводить гостя. Возок стоял на самой дороге. Ноги лошади утопали в пыли. На загорелом

жестком лице Ентальцева удивительно нежными и молодыми казались голубые глаза.

— Просились бы вы в Киев, — засмеялся Ентальцев. — Здесь у вас путем и общества нет...

— Передайте письмо Волконскому тотчас же, — попросил Пестель. — Вы имеете в виду женщин?

— Я человек семейный, — снова засмеялся Ентальцев...

И возок тронулся. Бесшумно. Словно поплыл.

Пестель, натурально, сознавал, что не всем дано оставаться самими собою под ударами судьбы, а лишь немногим, в ком сила духа и прочность воззрений слиты с давнего времени и как бы вошли в кровь. Но что делать? Кабы этих господ хоть в малой степени интересовали мысли о благе страны, они должны бы были перешагнуть через страх царубийства и вслушаться в его, Пестеля, выстраданные мнения... Да разве в царубийстве дело? Господи, да и причем тут царь?..

Он попытался скрестить привычно руки на груди, но цепи звякнули, напомнив, что он — пленник.

«А кабы он стал государем?» — подумал наш герой, исподтишка разглядывая Пестеля, и вздрогнул: Павел Иванович смотрел на него тяжелым взглядом, напомнив Буонапарта с известной литографии.

«Эва, как они переглядываются, — заметил про себя граф Татищев. — Юнец глядит на Пестеля, как кролик — на удава. Не будь меня — засеменял бы в пасть к нему, я знаю...»

Но тут Пестель перевел взгляд на графа, и военный министр отворотился с раздражением.

«Объявись я царем, — подумал Пестель, — ты бы мне присягнул. Да только тебе ведомо, что я царем не буду... Ч то же во мне проку-то для тебя, сударь? Нешто идеи мои?»

«Не тебя, не тебя я сужу, — живо откликнулся граф, вперив в стол по-собачьи тоскливые свои глаза, —

а образ мыслей, которые ты взращиваешь. Тебя мне жаль...»

«Вознесся я, вознесся, — мелькнула в голове нашего героя нерадостная мысль. — Как бы не упасть...»

Боровков подманил Авросимова, и наш герой ринулся к начальнику получить от него новую тетрадь, затем низко поклонился и снова поплелся к своему стулу и подумал: «Чего это я семеню?.. Со стороны, как поглядеть, смех один!..» — и глянул на Пестеля. Павел Иванович, ну как нарочно, рассматривал его своими раскосыми глазами, и была в них боль.

«Злодей! — воскликнул наш герой про себя. — Как смеешь ты укоры мне делать!»

— Вы бы уж не запирались, господин полковник, — вдруг сказал граф эдак расслабленно, по-домашнему. — Охота вам со смертью шутить? Его величество обо всем знает. Жалеет вас... Не упорствуйте.

— Дело ведь не во мне, ваше сиятельство, — глухо и обреченно выговорил Пестель, — а в образе мыслей, который вам не совсем ясен, а потому и представляется преступным...

— Вот именно, — обрадовался граф и провел пухлыми пальцами по щекам.

«Дурак! — забунтовал наш герой, вспомнив свой вчерашний диалог с военным министром. — Не верь ему — лисе! Ах, дурак ты, полковник».

Дверь со стуком распахнулась, словно шарахнулась под гневным взглядом военного министра, и дотоле неизвестный офицер, неестественно улыбаясь, в чистом мундире и без цепей, словно только что от обеда, почти вбежал в Следственную, кивнул Павлу Ивановичу, сверкнув черными огромными глазами.

«Теперь все равно», — вяло подумал Пестель, даже не удивляясь не совсем привычному в этих местах виду своего вчерашнего единовеца.

— Теперь все равно, — торопливо выпалил офицер, когда ему задали тот же вопрос касаясь царубий-

ства. — Все уже известно, так что все равно... И не моими стараниями известно... Я тут пас. Вы же, Павел Иванович, сами... Да вот полковник Пестель сам говорил мне... Вы же говорили мне, Павел Иванович, что прежде, чем начать возмутительные действия, следует истребить... вы же говорили? Это относительно императорской... фамилии... Еще с вами Муравьев не согласился. Это он якобы не согласился, а на самом-то деле, то есть в буквальном смысле... Вы же готовили других для свершения удара? — пальцы его тряслись вразнобой, словно он играл на флейте что-нибудь ухарское. — Я, к стыду моему, по легкомыслию подпал под обольстительный характер полковника Пестеля... Вы, Павел Иванович, увлекли меня, и в этом вы человек великий, как вы обольщать умеете... И как мы с вами на пальцах считали, уж это вы помните, чтобы счет жертвам был точный. Мы вот так по пальцам считали, — обратился он к графу, протягивая ему свою развернутую пятерню, — и всех перечисляли, начиная от государя... И вы, Павел Иванович, желая показать, что это я бесчеловечен, сказали мне, мол, знаю ли я, как это все ужасно? Помните?.. Не сочтите это, — снова оборотился он к военному министру, — что я, мол, не делал, а, мол, Пестель. Нет, нет... Мы тогда вместе... Я не скрываю этого обстоятельства, ибо тогда мы вместе... теперь все равно...

Пламя свечей металось от ветра, производимого руками офицера. Члены комитета вполголоса переговаривались, устав, очевидно, вторично выслушивать чистосердечную исповедь его. Пестель словно дремал, опустив голову, и только пальцы, вцепившись в край скатертного сукна, выдавали его чувства.

Нашему герою, скачущему пером по бумаге, отвратительными казались речи Пестелева единоверца, и не потому, что офицер, будучи в порыве раскаяния, чистосердечным признанием намеревался облегчить участь себе и своему недавнему предводителю, а потому, что и

вы, милостивый государь мой, даже вы, при всем вашем горячем патриотизме и приверженности государю, что всем хорошо известно, даже вы возмутились бы, слушая эти речи, ибо дело тут вовсе и не в политическом их смысле, а в простой порядочности, в благородстве простом, которые даже нашему герою, не искушенному еще в вопросах морали, были свойственны.

«Ах, — думал он, негодуя со всем своим искренним пылом, — как же он мог ему доверять?! Я бы в жизни вот так не прыгал, хоть ты меня задави!..»

И тут он был по-своему прав, не вдаваясь в суть, а возмущаясь самим фактом.

— А сами вы? — вдруг спросил у офицера Левашов, и Авросимов впервые услышал его вкрадчивый бас, словно вовсе и не генералу принадлежащий.

— Что сам? — не понял офицер.

— А сами вы что утверждали?

— Сам я?.. А я разве себя чем покрываю?.. Я ведь уже все рассказывал, по чистой совести... Павел Иванович, я все рассказал... Я спервоначала упорствовал, но какой смысл? Посудите сами, ведь все известно...

— А что Бошняк? — снова спросил Левашов.

— А что Бошняк? — снова не понял офицер, но тут же заиграл на своей флейте и почти закричал, захлебываясь: — Я не предлагал господину Бошняку ничего противозаконного... Посудите сами, он для побуждения меня начать действовать сам говорил, что все уже, мол, открыто, что единственный способ ко спасению — поднятие оружия и возмущение полков... Я ему объяснял противное, но, посудите сами, зачем я ему все это объяснял — понять не могу... Возмущение полков... Какие сии полки? Где они? Зачем вымышлять на несчастного и такие нелепости!..

«Он будет кричать без конца, — зажмурился Пестель. — Что они его не остановят?»

— ..Не довольно ли я кажусь господину Бошняку, — продолжал офицер, — кажусь господину Бош-

няку виновным, чтобы совсем меня погубить?.. Я полковнику Пестелю об этом сказывал... Я вам, Павел Иванович, еще в Линцах летом сказывал... что, мол, Бошняк просится в общество... И Павел Иванович остановил сие вот... все сие обстоятельство...

В этот момент военный министр, подпирая щеку пухлым своим кулаком, не то чтобы улыбался, но едва заметно шевелил губами, что в некотором смысле могло означать и улыбку.

— Ваше сиятельство, — сказал Пестель, — распорядитесь препроводить меня обратно в каземат. Нынче я отвечать неспособен.

Злодея увели. Он шел с поникшей головой, но быстро, словно торопился поскорее скрыться от позора.

Когда дверь за ним затворилась, наш герой вздохнул облегченно, с шумом, что тотчас было отмечено Боровковым с неодобрением. Но где уж тут было размышлять о добронравии, когда груз пережитого за день был так велик!

В голове Авросимова все уже перепуталось в достаточной мере, так что он, едва комиссия закончила деятельность, вылетел вон, хотя это говорится для красного словца, ибо он с почтением и подобострастием, как обычно, просеменил мимо высочайших членов, лишь изнутри раздираемый непонятной тоской.

Поздний морозец придал ему несколько бодрости, одиночество помогло собраться с мыслями и вернуло походке его твердость.

Не успел он, минуя всякие приключения, добраться до дому, не успел перешагнуть через порог и предстать перед заспанным Ерофеичем, как последний, не говоря ни слова, подал ему вчетверо сложенный лист. Авросимов развернул его дрогнувшей рукой:

«Милостивый государь!

Не имея чести быть с Вами знакомой, но понуждаемая многими чрезвычайными обстоятельствами, осмеливаюсь покорнейше просить Вашего участия в деле,

о коем сообщу изустно при встрече. Письмо сие сожгите по прочтении неукоснительно.

Искать меня надлежит по Загородному проспекту в доме господина Тычинкина в любое время дня или ночи. В воротах встретит Вас мой человек.

Уповая на Ваше великодушие и благородство, с нетерпением жду встречи...»

— Она? — спросил наш герой шепотом, снова возбуждаясь.

— Приезжали-с, — также шепотом откликнулся Ерофеич.

— Здесь писала? — выдохнул Авросимов, замечая в письме многочисленные помарки и прочерки.

Ерофеич кивнул.

Что было делать? Часы показывали полночь. Сомнения, натурально, были свойственны нашему герою, как всякому на этом свете, но возраст его был таков, а возбуждение и интерес были накалены до такой степени, что раздумья и прочие предосторожности не могли его смутить.

Это мы с вами, сударь вы мой, всего хлебнув и изведав и не раз ожегшись, склонны к сомнениям, покуда и надобность-то в нашем вмешательстве не отпадет. Даже провинциальная робость в нашем герое оказалась в такую минуту слабым подспорьем в благоразумии.

Он тут же поворотился и выскочил вон. Ерофеич едва успел крикнуть вслед слабым голосом, что, мол, опомнитесь, батюшка, да лишь руками развел, куда там! Да и разве остановишь его, когда видишь трясущиеся руки, блуждающий взор? Даже природная яркость схлынула со щек невесть куда. Старик только успел услышать несколько отчаянных ударов каблуками о ступени, и все стихло.

Если бы наш герой знал наперед, что ждет его в неведомом ему доме, он, может быть, и остановился; если бы знал, как обернется его жизнь в дальнейшем, может быть, не торопился по заснеженным улицам в поисках ваньки; а когда нашел наконец какого-то заспанного и ввалился на сиденье, может быть, не кричал бы истошно: «Гони! Гони!..»

Но все происходило именно так: и сани летели, повизгивая полозьями, и лохматая их тень вспыхивала на стенах домов, когда какой-нибудь редкий фонарь помаргивал желтым языком.

Авросимов, откинувшись на сиденье, испытывал

нетерпенье и страх, и почему-то лицо кавалергарда Бутурлина возникало перед ним, искаженное усмешечкой.

Как доехали до нужного места, Авросимов не заметил. Расплатившись с ванькой и отпустив его, он, сдерживая свои порывы, нарочито медленно обогнул приземистую церквушку и, обжигаемый морозом, направился к темному двухэтажному дому, где окна первого этажа напоминали малыми размерами бойницы в монастырских башнях, а окна второго, напротив, поражали величиной и великолепием и венецианским видом.

У ворот его действительно ждали. Он словно в глубоком сне шагал за приземистым человеком в овчинном полушубке и малахае, надвинутом на самые глаза. Затем скрипнула дверь. В лицо ударило теплом, ароматом имбиря, сладкого теста и сушеной вишни. Закружилась перед глазами винтовая лестница с полированными временем перилами, и вдруг распахнулась широкая прихожая, ярко освещенная, с потолками, уходящими куда-то к небесам.

Как скинул шинель, этого Авросимов тоже не заметил. Очнулся он уже в просторной гостиной, в мягком кресле и, очнувшись, подумал, что вот и добрался наконец до заветного места и что сейчас и произойдет что-то такое, отчего все перевернется в его судьбе. И уже все полетело прочь: и военный министр, и память о флигеле и Милодоре, и даже лицо Пестеля потускнело и виделось как сквозь дымку. Он попытался вспомнить лицо прекрасной незнакомки, но не смог, как вдруг распахнулась дверь и вошла она, именно она, об этом нельзя было бы не догадаться.

Она была в черном глухом платье, словно только что схоронила близкого человека, но печать грусти и озабоченности, рассеянная во всем ее облике, еще более красила ее в глазах нашего героя. Тогда, при первой встрече, она показалась ему значительно более высокой, а тут Авросимов понял, что она и не высока вовсе

и что он со своими ручищами и ростом под потолок как раз и создан, чтобы утешать ее в печали и отводить от нее всякие житейские невзгоды.

И тут словно что-то новое, дотоле неведомое открылось в нем. Он встал с кресла, спокойно и с достоинством поклонился и спросил не прежним голосом рыжеволосого юнца, но голосом мужа:

— Сударыня, в толк не могу взять, что вынудило вас с такой настойчивостью искать меня и желать увидеть. Но, поскольку я пред вами, отваживаюсь заметить, что вы, по всей вероятности, ошиблись, приняв меня за лицо высокопоставленное, хотя я дворянин, владелец двухсот двадцати душ...

Она уселась в кресло напротив, жестом предложив ему сделать то же самое, и засмеялась, хотя глаза ее сохраняли при этом прежнее печальное выражение, что усугублялось синевой страдания, обрамляющей эти прекрасные, как ему казалось, глаза.

Вам, наверное, не так уж трудно вообразить себе эту сцену, ибо в вашей жизни, я уверен, бывало подобное, когда вы тоже торопились к предмету вашего благоговения и наконец встречались с ним, и дух у вас захватывало. Ну тут — фраза за фразой, часто многозначительные, но по сути всякие пустяки, и, конечно, вы были скованы робостью и чувствовали себя неловко, покуда присматривались, приговаривались друг к другу, еще больше восхищаясь и сдерживая безумство.

Но что касается нашего героя, вы, наверно, заметили, как он сказал свою первую фразу в манере непривычной, и это следовало бы отметить, оценить в нем и не считать какой-нибудь там бестактностью или, хуже того, наглостью.

Он смотрел на нее открыто, не дерзко, со счастливой грустью капитана, открывшего к концу жизни свой остров в безмерном океане.

Не знаю, что обуревало ее в этот момент, но она сказала просто и не чинясь, как старшая сестра:

— Я вижу, что вы достойный человек. Мы с вами не дети. Давайте отбросим светские условности. Будем говорить прямодушно, как давние добрые друзья.

Он слегка наклонил голову в знак согласия, и она продолжала:

— Поверьте, что желание видеть вас — не каприз плохо воспитанной дамы. О, нет, нет!.. Мне стоило большого труда пренебречь положением, предрассудками моих родных и друзей, преследуя вас, — она засмеялась, — ставя и вас, быть может, в неловкое положение, — она помолчала, словно давала ему возможность опровергнуть ее, — интригуя вас и вашего седовласого слугу своими визитами... Пусть навсегда останется тайной причина, побудившая меня домогаться встречи именно с вами... — Брови у Авросимова взлетели. — Почему я выбрала вас... — Он вздрогнул. — Ах, не все ли равно. Я хочу знать только одно: расположены вы меня выслушать со вниманием, готовы ли быть мне другом...

Тут она замолчала, вглядываясь в лицо нашего героя, искаженное муками. Звуки ее речи, первоначально показавшиеся ему пленительнейшей музыкой, привели его в состояние крайней возбужденности, так что он даже и половины смысла уже не мог уловить, а весь напрягся, как перед прыжком через пропасть, чувствуя холод под коленками.

Навряд ли были тому виной некоторые высокопарность и неопределенность, с которыми она к нему обращалась; он этого и не замечал вовсе. Но, подобравшись весь, жаждал как воздуха продолжения ее речи, о чем бы она ни говорила.

— Мне показалось, что вы чем-то взволнованы, — сказала она, — неужели слова мои привели вас в такое состояние? Уж лучше бы я говорила с вами о чем-нибудь другом...

— Да нет же, — выдохнул он с усилием, — вы говорите, приказывайте... Я на все готов...

— Зачем же приказывать, — засмеялась она. — Я просить вас должна, то есть я просить могу и не больше... Но прежде чем просить, я хочу спросить вас... Не жалеете ли, что посетили меня?

Он посмотрел на нее с восторгом и тут впервые увидел родинку на ее щеке, и к тому же весьма приметную. «Ангел! Ангел!» — вздумалось крикнуть ему, но сдержался.

Она снова засмеялась, удивленная его пылом. Встала. Срезала нагар со свечи. Накинула на плечи платок.

Авросимов следил за каждым ее движением неотступно.

— Чем же вы там у себя в крепости занимаетесь? — неожиданно спросила она.

— Пишу-с, и только, — с охотой доложил он.

— И не трудно?

— Да отчего же? Вот только успевай...

— Это же, наверно, заставляет страдать, — сказала она. — Все эти разговоры несчастных людей...

Ее сочувствие к злодеям не возмутило его.

— Натурально, человека жалеешь...

— А безвинные-то как же? — спросила она. — Разве вид их не вызывает сострадания еще большего?

— А безвинных нет, — вздохнул он. — Все виновные. То есть они стараются представить себя безвинными, но разве это возможно, когда все на ладони и все доказательства к тому...

— И они рассказывают, что да как, да? — спросила она со страхом. — Где бывали, что делали, с кем встречались?..

Ему стало жалко ее.

— Кто как, — пояснил он. — Одни рассказывают, другие молчат... Да ведь разве утаишь?

— Молчат? — удивилась она. — И такие есть?.. Кто же? Кто?

— Да вот полковник Пестель, например, — сказал

Авросимов хмуро, но прежнего ожесточения не ощутил.

— Пестель! — вскрикнула она и всплеснула руками. — Интересно, ну и как же он? Молчит?.. И ничего?

— Да стоит ли об этом? — начал было наш герой, видя, как она переживает при упоминании всех этих несчастных, всей этой истории...

— А вы в деньгах не нуждаетесь? — вдруг спросила она.

Он не знал, что и отвечать на подобный вопрос. Он посмотрел на нее: она покраснела и старалась ладонями прикрыть щеки. Затем снова потянулась к свече, хотя и нагара-то никакого не было.

Авросимов находился в прежнем напряжении. Ладони были влажны. Нелегкое это занятие в молодые годы — восторгаться дамой, сидящей в креслах напротив. Особенно когда родинка, как живая, при каждом слове вздрагивает у нее на щеке и от этого мельтешит перед глазами, а время идет, но ты никак не можешь вникнуть в суть разговора и все робеешь, и думаешь, какие у тебя рыжие не попад космы и пунцовые юные щеки и как это все не совпадает с твоей душой, переполненной восторгом, благоговением и тревогой.

«Не могу я сидеть безмятежно, — подумал наш герой. — Хоть в ноги бросься».

— Как мы всегда, люди, не умеем быть благодарны природе, — вдруг услышал он. — Почему нам всегда всего мало? Я вижу и на вашем лице борьбу страстей. Вы тоже себя вопросами мучаете... А насколько я смогла уловить, вы ведь откуда-то издалека?.. Так у вас ведь там об этом и не рассуждают. Ведь так?

— О чем? — спросил он хрипло.

— Ну обо всем об этом, о чем мы с вами пытаемся разговаривать: как устроен мир и почему так, а не эдак... И сами себя все казним, раним...

— Поверьте, сударыня, — ничего не понимая, но, встав во весь рост, торжественно сказал наш герой, —

я готов сделать, что вы прикажете, лишь бы вам не казниться...

Она тихо засмеялась и продолжала, словно его и не было:

— А спустя время, глядишь, и нет уж нас прежних, с благородством былым, с фантазиями прекрасными... Ведь так?..

— Так точно, — по-военному вдруг произнес он.

— Представьте себе, друг мой, прекрасного молодого человека, ну вот хоть себя самого, — и она указала на нашего героя. — И тут совершается это ужасное дело, и вашего брата избобличают как злоумышленника, и над вами повисает проклятие. А вы, конечно, ничего никогда не подозревали, что это несчастье могло случиться, и с братом почти и не встречались, занятые собственной службой, семьей... И его опасные порывы были вам чужды, и вы их не разделяли, но так уж случилось. И вот, друг мой, в самую такую минуту, когда забрезжил наконец свет вашего счастья и свершения надежд, вдруг в самую такую минуту перед вами ставят выбор: брат или государь...

В этот момент, напрягаясь весь, стараясь не пропустить ни одного слова, сказанного ею, наш герой подумал вдруг о том, что, если бы она могла согласиться, то есть даже просто подать едва заметный сигнал, он, ни минуты не колеблясь, укатил бы ее в свое имение на радость себе и матушке, ибо все молодые соседки, что были в уезде наперечет, не шли ни в какое сравнение с этой прекрасной дамой. И они бы поселились в старом флигеле, чтобы не докучать матушке своим образом жизни, и не было бы там ничего, кроме их самих, не было бы там ничего, что нынче угнетает, хоть кричи, хоть головой бейся об стену.

— Теперь я буду рассказывать вам, как бы вы сами поступили, — продолжала она, прерывая его мечтания, — а вы только отвечайте, права я или нет... Вы любите своего несчастного брата и желаете ему добра,

но выбор пал, и уже трубы зазвучали седлать коней и браться за оружие...

— Чем же государь ему не угодил? — любопытствовал наш герой.

Но она замахала руками.

— Вы слушайте, слушайте... Сможете вы брату своему помочь в такую минуту? Ну что вы сможете, когда многие даже генералы не смогли ничего... И вот вы садитесь на коня и с полком своим служите государю. Ведь так?

— Так, — сказал наш герой, думая о матушке, как бы пришлось ему делить себя меж государем и ею, хотя это, может быть, и смешно вообразить себе на трезвую голову.

— Ну вот видите, — сказала она, — вы, конечно, на подозрении, на вас пятно, ваш брат злоумышленник... Можно ведь подозревать вас? Да?

— Да, — подтвердил Авросимов.

— Значит, следует вам держать противную брату сторону, чтобы очиститься, чтобы никто пальцем в вас не тыкал... И это ведь все, жалея брата, несчастного человека, благородного... Он даже в кандалах благороден. Ведь он ничего о других не рассказывает? Ведь так?

— Так, — сказал Авросимов и подумал, что надо самому предложить ей уехать в деревню: там воздух чист, покой... Зачем ей казнь такая? За что? — У меня матушка в деревне, — проговорил он, — дом с флигелем... Там можно и успокоиться и о возвышенном подумать... Вам бы матушка моя понравилась...

— Да вы слушайте, — почти закричала она, — слушайте меня, сударь... И вот вы служите государю во всем этом несчастье, но сердце у вас за брата обливается кровью... И вы себя даже виноватым считаете, хотя на вас вины нет! — крикнула она. — Ведь так?.. И вы вспоминаете, как, бывало, раньше по молодости вы какие-то там идеи с братом своим несчастным обсуждали

и даже не возражали ему... Ну а как это раскроется? Значит, все прахом? Но тут вы понимаете, что ваш брат, полный прежнего благородства, и не думает об вас вспоминать... Вам ведь это важно знать? Ведь так?

— Так, — подтвердил наш герой без энтузиазма и представил себе Павла Ивановича в сыром каземате, с цепями на руках, с завязанными глазами перед тем, как идти в Следственную. И ему захотелось снова покоя и тишины для себя и для нее; а уж злодею страдать в каземате — он-то знал, куда шел, знал, чего хотел, — тем более, что помочь ему невозможно ни на самом деле, ни в душе своей. Он бы, Авросимов, злодейства себе не выбирал, а Пестель коли выбрал, значит, Бог ему судья. Ну а она-то, сидящая напротив в креслах, она-то как?

— Нет, вы не подумайте, — продолжала она, — что я благородства Павла Ивановича не вижу... Мы его всегда любили и плачем об нем. Но почему же другим-то страдать за его порывы? Ведь так? Ведь вы не можете не согласиться?

— Не могу, — признался Авросимов. — Мне больно глядеть, как вы мучаетесь, как он, злодей, вас мучает! Он сам себе наказание придумал, а вы-то причем? Это я могу вот так ночей не спать, метаться. Я здоровый, а вам-то за что?

Пламя свечи вздрогнуло, пошло плясать. Тень от ее прекрасной головы закачалась на белой стене и метнулась куда-то прочь. В доме не было слышно ни звука, словно они разговаривали высоко в небесах.

— Вот так и брат Павла Ивановича, — сказала она издалека, глухо, — полный страдания за Павла Ивановича и отчаяния в собственной судьбе, не умея сам себя поддержать, а только проклиная жалкий свой жребий, злой рок, вынудивший его взяться за оружие и палить по друзьям Павла Ивановича, теперь гаснет в сомнениях и угрызениях...

— Не понимаю, — хрипло выкрикнул наш герой,

— он мучается, что против мятежников вышел или что с ними не пошел?

— Какой вы, право, — засмеялась она и платочком провела по щекам, — как у вас все просто: за мятежников, против мятежников...

Вдруг в окно постучали. Она обернулась. Кто мог стучать в окно второго этажа? И все-таки стук был. А может, это снегирь в дом просился или веточку ветром оторвало и понесло...

— Утомила я вас, — сказала она, не глядя на него и размышляя о каких-то своих заботах, кутаясь в платок, словно снегирь, ищущий тепла и покоя. Сердце у Авросимова дрогнуло.

— Я рад буду угодить вам, — тихо сказал он. — Вы приказывайте.

— Да я не смею приказывать, — едва слышно и рассеянно отозвалась она. — Я только просить вас могу... Просить, да и только... Униженно просить.

— Нет, вы приказывайте, — потребовал наш герой, ощущая слабость и головокружение... — Зачем же просить?

Она поднялась с кресел.

— Вы же и так все поняли, сударь... Уж коли Павел Иванович не намерен ни об ком ничего рассказывать, нам с вами будто и не к лицу старые тряпки ворошить...

Теперь она казалась нашему герою очень высокой и еще более недоступной, чем мгновенье назад. Он тоже встал, но продолжал смотреть на нее как бы снизу. В комнате царило молчание. Платочек в ее руках застыл, выставив белое крылышко.

Прощание было коротким, почти холодным.

— Сударыня, — сказал Авросимов мужественно и с грустью, — хотя мне и не к лицу печься о семейных делах государственного преступника, да и противу долга это, но жалость к вам может меня подвигнуть на это, особливо, что брат Пестеля и ваш супруг — одно лицо, а вы можете не сомневаться в моем благородстве.

Да, да, именно так все это и происходило на самом деле, и вам, милостивый государь вы мой, не следует по этому поводу сокрушаться, потому что суть всех этих кажущихся нелепостей слишком проста и очевидна.

Это ведь мы с вами, всего в жизни хлебнув, обо всем имея твердое мнение, можем, когда это нужно, и в сторону отойти, и от лишнего отказаться, и ведь знаем что — лишнее! Когда чаша, как говорится, наших душ бывает не переполнена, но полна, мы ведь ее от струи тотчас и отстраняем: хватит. Вот так живем, и это нас поддерживает и сохраняет и придает мудрости и остроты зрения на дальнейшее. И снова падает в чашу эту капля за каплей, все, что нам определено, но как до краев докатило — да пропади оно все пропадом! — и мы чашу сию в сторонку. Вы скажете: мудрость? Не знаю, может быть.

Хотя, с другой стороны, вы возьмите, к примеру, землю. Идет, представьте себе, дождь на нее, а она его впитывает, впитывает, и уже она влажная, а все равно — земля. Но вот потоп начался, и ей впитывать воду некуда уже, и становится она уже не земля, а, скажем, болото или даже океан.

Вот и герой наш. Тут, натурально, есть чему удивиться. Как это он за каких-то два дня умудрился такое перенести, получить, вобрать, и уж тут не то что полна — переполнена чаша, расплескивается, дальше некуда, а он все не отставит ее, не догадается, даже больше того — будто нарочно всякие превратности выискивает, на зло кому-то, будто не может без них.

Вы посмотрите только, как он все это несет на себе, как только спина его не переломится под грузом разных событий, приключений, мук и неожиданностей, сомнений и тоски! И кто знает, уж если судьбой его так определено, то не в назидание ли нам? Не для остротки ли?

Вполне возможно и такое объяснение, потому что как еще объяснишь? Разве мы с вами умеем с чужой колокольни-то смотреть? Так что давайте уж со своей.

И в ту минуту, когда, обуреваемый бедой, беспомощностью, наш герой вывалился на улицу, в ночь, он тотчас заметил возле подъезда экипаж, и незнакомый офицер, пугаясь в полах шинели, кинулся к нему.

— Их сиятельство велели вам быть у них незамедлительно! Пожалуйте в сани...

— Да зачем же ночью-то ехать? — попробовал сопротивляться Авросимов, но офицер втолкнул его в дверцы.

— Мы вас по всему Петербургу обыскались, — сообщил он, когда кони понесли. — Там нет, тут нет... — и добавил как бы про себя: — Граф не в расположении.

Еще вечером наш герой от этих слов мог прийти в ужас, но тут то ли усталость его сломила, то ли что-то в нем надорвалось, но он махнул рукой и подумал: «Да теперь мне хоть как».

И он спокойно совсем вошел в графский дом и, сопровождаемый суетливым офицером, прошел по веренице комнат, коридоров и лесенок и очутился в небольшой зале в полумраке, и увидел сразу же перед собой в глубоком кресле графа, закутавшегося в шубу. Граф сидел перед камином, в котором пылали дрова. Лицо его было красным и лоснилось от пота, но он продолжал зябко кутаться. На маленьком столике перед ним возвышался графин с водкой. В нем было уже меньше половины.

— Ну что? — спросил военный министр, глядя мимо Авросимова.

— Ничего, — ответил наш герой вполне нагло. — Явился, как вы велели.

— Жив-здоров? — спросил граф, видимо, не узнавая Авросимова, — Ну, ступай с Богом... — и опрокинул рюмку.

Как Авросимов добрался до дома, невозможно было понять. Но едва он шагнул к парадной двери, как навстречу ему кинулся уже новый офицер.

— Их сиятельство велели вам незамедлительно к

ним явиться... — выдавил он замерзшими губами. — Я уже четыре часа вас здесь ожидаю. Извольте.

И тут Авросимов увидел во мраке карету, его ожидавшуюся.

— Извольте, сударь, — сказал офицер.

— Да я же только что от их сиятельства! — взбунтовался наш герой.

— Ничего не знаю, — сказал офицер. — Велено доставить, — и открыл дверцу. — Мы вас совсем обыскались, — проговорил он, отогревая руки дыханием. — Там нет, тут нет...

Во дворце военного министра стояла тишина. Их сиятельство, как оказалось, крепко спали. Недоразумение быстро выяснилось, и Авросимову позволили удалиться. Но лошадей ему не дали: не хотели или забыли, и он вынужден был добираться до дома как Бог на душу положил.

— Матушка, — проговорил он горячо и вполголоса, положив наконец голову на подушку, — зачем мне все это?.. Господи, снизойди ко мне, недостойному твоих милостей...

Но сон оборвал его молитву.

Утро вечера мудреней.

Даже отчаявшемуся приносит оно некоторое успокоение и проблеск надежды.

Вот и в это утро по январскому морозцу в мутноватой дымке семенили люди, отбросив вечерние страхи и сомнения; и другие, покачиваясь в санях, настраивали себя на новый, утренний лад; и третьи, находясь в заточении, утренним взором заново оглядывали стены своих темниц и убеждались со вздохом облегчения, что это все же просто стены, а не что-то там мистическое и роковое, и даже одушевленное, как казалось вечером при свече.

Утром все вставало на свои места, успокаивалось. И наш герой, приподняв над подушкой голову, почувствовал облегчение и, наскоро собравшись, заторопился нанести визит дядюшке своему и благодетелю Артамонову Михайловичу, отставному штабс-капитану.

Так благотворно разливало свой свет утро. И только Амалия Петровна, жена Владимира Ивановича Пестеля, после ночного визита Авросимова так и не смогла заснуть, и утро застало ее стоящей у окна, и прекрасное лицо ее выглядело изможденным.

Должен вам заметить, милостивый государь, что судьба Владимира Ивановича была абсолютно вне опасности, ибо решительное его участие в случившемся мятеже на стороне государевой было соответственно поощрено, а брат за брата не ответчик, однако, брат все-таки есть брат и тут в силу вступают некоторые иные законы — законы нравственные, законы крови, если вам угодно. И хотя сам Владимир Иванович, преуспевая на кавалергардском поприще и целиком отдавая себя исправной службе, этих законов не ощущал, зато Ама-

лия Петровна вся как бы горела, будучи и пронизательней и чувствительней супруга.

Но оставим ее пока наедине со своими муками у окна, а сами устремимся за нашим героем, который в этот момент как раз и появился в прихожей у Артамона Михайловича.

Бравый старик, словно помолодевший после событий на Петровской площади, встретил племянника с распростертыми объятиями и тотчас повлек его в гостиную, успев шепнуть:

— А у меня герой в гостях. Чудо как хорош!

Когда они вошли, навстречу им поднялся с кресел армейский капитан, молодой, подтянутый и стройный, смуглолицый, с черными, на запорожский лад свисающими усами и с цыганским блеском в больших слегка раскосых глазах.

— А вот, Аркадий Иваныч батюшка, племянник мой Ваня, — сказал старик, подталкивая нашего героя. — Ваня, это Аркадий Иваныч.

Тут Артамон Михайлович захолопал в ладоши, закричал распоряжения. И тотчас забегали, засуетились мальчишки, и не успели наш герой и Аркадий Иванович, усевшись в креслах, обменяться несколькими фразами, как уже на столе поблескивал графин с рюмочками и пестрела различная снедь.

— Чудо как хороша! — воскликнул Артамон Михайлович, отхлебнув из рюмочки и похрустев капустой.

Авросимов чокнулся с Аркадием Ивановичем и уловил на себе его быстрый и открытый взгляд.

— Это смородиновая? — сказал капитан. — А у нас все больше пьют чистую, житную.

Он говорил в едва заметной малороссийской манере, что придавало его речи мягкость и даже вкрадчивость. Это понравилось нашему герою, да и весь облик Аркадия Ивановича вызывал симпатию, а чем — сразу и не скажешь: то ли цыганскими глазами, то ли улыбкой, внезапной, ослепительной, но какой-то несколько детской, то ли еще чем-то.

Пилось легко, радостно. Закусывалось и того приятнее: капустой, гусиным паштетом, аккуратными пирожками, теплыми и мягкими, совсем живыми.

За окном показалось зимнее солнце. Снег заискрился, засверкал. Чудилось: вот-вот грянет музыка.

— Чудо как хорошо! — сказал Артамон Михайлович. — Это, Аркадий Иваныч, в вашу честь красота, — и указал за окно.

— А в чем же героизм ваш? — почтительно спросил Авросимов. — Вот дядюшка говорит, а я и не знаю.

Аркадий Иванович стрельнул взглядом, улыбнулся, но промолчал.

Зато Артамон Михайлович не удержался.

— Видишь ли, Ваня, — сказал он, обнимая капитана за плечи, — Аркадий Иваныч пережил большие бури житейские. Много перемучался, перестрадал. Однако, Ваня, как мы служим долгу, так и он нам платит...

Авросимов слушал с любопытством, а Аркадий Иванович улыбался мягко и смущенно, и на смуглых щеках его проступал едва заметный румянец.

— ...Были в древние времена полководцы, — продолжал Артамон Михайлович, — имена которых мы чтим за их подвиги. Вот и Аркадий Иваныч будет за свой подвиг потомками почитаться. И давайте за ваше здоровье... Спаси вас Христос, Аркадий Иваныч.

Капитан опрокинул рюмку и зажмурился, и долго не раскрывал глаз, словно наслаждался, смакуя настойку, однако Авросимов заметил, как в позе капитана проглянуло что-то расслабленное.

— В чем же подвиг? — спросил Авросимов, все более и более разогреваемый любопытством.

— А вот в том, — сказал Артамон Михайлович. — Верно ведь, Аркадий Иваныч?

— А отчего ж нет? — ответил капитан, заглядывая в окно. — Уж вы бы, Артамон Михалыч, не возносили мою персону.

— Вот, Ваня, как оно, — сказал дядюшка. — Мне Аркадий Иваныч кое-что порассказал. — И вдруг за-

суетился: — Ай не по нраву вам, капитан, российская снедь? Вот пирожки, вот грибки рыжики... А скоро и уху подавать велю...

После третьей рюмки в душе нашего героя случилось замешательство. С одной стороны, упрямое любопытство разбирало и мучало его: какая тайна кроется в словах капитана? С другой стороны — дивная тонкая шейка Амалии Петровны закачалась перед ним и юное ее лицо померещилось, на котором горели вовсе уж и не юные глаза, полные отчаяния и тревоги... И тут, казалось бы, вовсе и ни к чему он подумал о прекрасной Милодоре и стал даже жалеть, что выпроводил ее так бессовестно: Ерофеича постеснялся. А она и впрямь была прекрасна! Какие у нее ножки были! Маленькие и толстенные, с голубыми прожилочками на икрах. И если Амалия Петровна, горящая какой-то непонятной бедой, была, как ангел, недоступна, то Милодора, напротив, лежала в его мыслях, раскинув белые руки, освещенная редкими свечами, и глядела на него во все глаза, и капризно шевелила полными губами, словно тянулась к Авросимову.

— Вижу, приятные мысли у вас, — вдруг сказал Аркадий Иванович.

Наш герой смутился несколько и, наверно, по этой причине подмигнул капитану.

— Чудо как хороши! — воскликнул Артамон Михайлович, отправляя в рот последний рыжик...

— А что может быть приятного в ваших мыслях? — сказал капитан, подмигнув в ответ. — Воспоминания о предмете нежном, да?

Авросимов покраснел.

— Аркадий Иваныч всегда мой гость, — сказал Артамон Михайлович. — Как приезжает в Петербург — так мой гость... В начале осени приезжал. Помните, как вы, Аркадий Иваныч, в это вот кресло упали? И представляешь, Ваня, я его тормошу, а он молчит. Помните? То-то... Кто же вас от тоски да от страха спас тогда? А? Кто вам руку протянул? Кто в душу вам заглянул?..

И тут наш герой заметил, что капитан зажмурился.
— Не буду, не буду, — засмеялся дядюшка и хлопнул в ладоши.

Испуганные мальчики в засаленных ярких поддевках подали уху.

— А ведь наш Ваня тоже не лыком шит, — сказал дядюшка капитану, поглядывая на нашего героя с любовью. — Он ведь теперь, знаете, где?

— Знаю, знаю, — со свойственной ему мягкостью проговорил капитан. — Знаю.

— Он теперь наше дело продолжает, — сказал Артамон Михайлович, разливая по рюмкам. — Мы начали, Аркадий Иваныч, а он продолжает... Все мы одно дело делаем ради нашего государя.

— Вот и чудесно, — улыбнулся капитан.

И тут Авросимов не выдержал и оборотился к нему:

— А в чем же все-таки ваш героизм, господин капитан?

Но капитан сидел, зажмурившись, откинув голову.

— Да в чем же? — чуть было не вскричал Авросимов.

— Дядюшка ваш слишком добр ко мне, — улыбнулся капитан, не поднимая от смущения своих цыганских глаз. — Какой такой героизм, помилуйте? Я это себе все иначе мыслю... Да я и объяснить-то не умею, ей-Богу. Это, видите ли, господин Ваня, такая история, что даже невозможно знать, откуда ее начало, если и решиться рассказывать... Тут, видите ли, все очень запутано... А как вам, господин Ваня, кажется мой бывший полковой командир?

— Я его не знаю, — сказал наш герой.

— Вот как? — не поверил капитан.

— Да откуда же я его знать могу?

Теперь капитан сидел в кресле прямо, и его благородное лицо было обращено к нашему герою, и все оно, такое открытое и прекрасное, ждало ответа. Симпатия к этому человеку росла в Авросимове, и чем больше было недосказанного, тем она становилась глубже, серье-

езнее. Вот он, истинный человек, появившийся в этом гранитном мире, приехавший откуда-то издалека, из степи, со своей детской улыбкой, простодушной и мужественной. Как нам иногда нужно время, чтобы загореться к человеку симпатией, а при отсутствии времени мы, бывает, и мимо проскакиваем, а зря. Ведь это же богатство души, когда возгорается новая симпатия, и мы приобретаем с ней. Конечно, очень может быть, что и ошибаются человеческий глаз, сердце... Но давайте же рисковать, милостивый государь, в наших с вами поисках и открытиях.

— Господин Ваня, — сказал капитан мягко и с некоторым даже укором, — не трэба так торопиться в выводах. Это вы в Петербурге пожили, а Петербург суетлив... — он опять улыбнулся с полной откровенностью и расположением к Авросимову, так что нашему герою даже неловко стало, но как он ни напрягался, не мог все-таки понять, о ком идет речь.

Артамон Михайлович глубоко вздохнул, похоже даже, всхлипнул и выпил одну за другой пару рюмочек, отчего нос его сразу налился, стал сизым и потным, а в глазах загулял сквознячок.

— А что же вы такого совершили? — спросил Авросимов, желая получше открыть для себя капитана.

— Да что ж вам сказать, — ответил Аркадий Иванович, — ежели вы моего бывшего полковника не вспомните. Уж коли вы его не знаете, так чего мне огород-то городить, а коли знаете, да не вспомните, то уж тем паче незачем, а может быть, вы нарочно это?.. Ну чтобы, скажем, подразнить меня?.. Да я в это не верю, — и он засмеялся ласково. — Всю жизнь мечтал быть широкоплечим, как вы вот, да не судил Господь.

В комнате было тихо. Добрый старик спал, откинувшись в кресле. Аркадий Иванович поднялся и поманил за собой Авросимова. Он шел перед нашим героем легко, прямо, лишь изредка взмахивал рукой, словно поддерживал равновесие.

Они прошли в комнату, предназначенную, очевид-

но, капитану, потому что на красной тахте валялась шинель, а на полу — сабля и небольшой сундук стоял прямо посередине, и из него, словно разварившаяся каша из котла, лезла военная амуниция. В углу в небольшом ящичке повизгивали и суетились борзые сосунки, и Аркадий Иванович, указав на них, произнес с видимым удовольствием:

— Мои. Еле довез... А вот этого лохмача я Артамо-ну Михалычу в презент... Какой псина будет — цены нет! Сука. Можно даже Дианой назвать... Не опозорит. Хорош?

— Хорош, — подтвердил наш герой, испытывая теплое чувство к капитану.

— Хотите, и вам подарю?

— Да мне не за что, — смутился наш герой. — Я в этом не понимаю ничего.

Капитан позвал тихо, и в комнате появился молодой солдат и, произведя руками немислимый кульбит (словно одновременно и честь отдавал, и по шерсти гладил, и на скрипке играл), застыл, уставившись на капитана.

Аркадий Иванович рассмеялся по-своему.

— Боишься меня, Павлычка?

— А то як же, — сказал Павлычко.

— А не выдашь? — спросил капитан.

— Ни, — хрипло выдавил солдат.

— Не выдаст он меня, — удовлетворенно сказал капитан. — Ну, Павлычка, що мы господину Ване презентуем?

Павлычко задумался на минуту, кинулся к сундучку, вытащил длинный кривой нож в чехле из козьей шкуры.

Аркадий Иванович взмахнул рукой, лезвие сверкнуло, бледный зайчик метнулся по вишневым обоям.

— Да что вы, — сказал Авросимов, млея перед такой красотой, — зачем он мне? Мне и девать его некуда.

— Возьмите, возьмите, — потребовал капитан. — В жизни всякое бывает. Пригодится.

— Нет, нет, — сказал наш герой. — Покорно благодарю.

— Павлычка, — тихо приказал капитан.

Солдат тотчас нырнул в сундучок, извлек старинную курительную трубку, почерневшую от табака, жара и времени.

— Да я не курю, — сказал наш герой решительно, и в сознании его возникла вдруг большая полутемная зала в том самом флигеле, и сизый табачный дым из множества трубок, и потухающий огонь в камине, и из полумрака — улыбка Милодоры, смех Мерсинды, задыхающийся шепот Дельфинии. «Ах, какая ночка была прелестная! — подумал он, весь поджимаясь. — И зачем это я тогда Милодорочку так грубо выставил?»

— Возьмите, — сказал Аркадий Иванович. — Я с ума сойду, ежели угодить вам не сумею. Возьмите. Вы очень мне симпатичны. — Глаза его были полны просьбой. В ящичке повизгивали щенки. — Вы не можете покинуть меня, не взяв подарка. Возьмите, не трэба себя скромностью мучить...

— Ну ладно, — сказал наш герой, — покорно благодарю, — и потянулся было к трубке, но Аркадий Иванович мягко отвел его руку.

— Нет, — сказал он, вглядываясь в глаза Авросимова, — вы без охоты берете, без сердца... Це не дило... Вам этот презент не по душе... Павлычка!

Солдат, молча наблюдавший эту сцену, стремительно кинулся к подоконнику и подал нашему герою небольшой пистолет.

— Покорно благодарю, — сказал Авросимов.

— Английский. Самая совершенная модель, — радостно сообщил капитан.

— Покорно благодарю.

— Заряжен.

— Покорно благодарю.

— Полсотни шагов для него — не расстояние, — сказал Аркадий Иванович. — Целиться умеете?.. Це гарно. Павлычка, горилки.

Солдат подал им по рюмке. Они стоя выпили.

— А он вас впрямь боится? — спросил Авросимов.

— А як же, — удивился капитан. — Зато, что я ни скажи... А ведь если он бояться не будет, господин Ваня, что же выйдет? Он так и дурному влиянию поддастся... Это уже не солдат будет, а злодей... Верно ведь? В каждом из нас сидит злодей, господин Ваня, но мы должны его изгонять, воли ему не давать, — и засмеялся.

Наш герой подумал на эти слова капитана, что так оно и есть, хотя, может, слишком сказано, но есть, и у солдата, натурально, не боязнь, не страх там какой-нибудь, а почитание, тем более если слышать этот смех, как гость смеется, играя своими глазищами.

— А вы не хотите меня отблагодарить? — вдруг в упор спросил капитан так, что наш герой даже растерялся. А Аркадий Иванович продолжал глядеть на него неотрывно, с улыбкой. — Нет ли у вас на примете нежного предмета? — спросил капитан. — И с ямочками на щеках? Ежели есть, то ведите меня. Или я недостоин, вы считаете?

— Отчего же, — сказал Авросимов, размышляя над внезапной просьбой.

— Так ведите меня, ведите, ну... — шутливо потребовал Аркадий Иванович.

Наш герой сунул пистолет за пазуху, накинул шубу. Павлычки уже не было. Дядюшка, верно, спал. Аркадий Иванович оделся тоже, и они вышли.

— Ну, куда же вы меня поведете? — спросил капитан. — Где ваш нежный предмет пребывать изволит?

Они медленно двигались по пустой мостовой, обходя синие сугробы, и наш герой мучительно раздумывал над сложившимися обстоятельствами.

Действительно, посудите сами, как было ему не мучиться, когда он и сам-то в Петербурге без году неделя, да и не таков, чтобы сразу суметь угодить симпатичному, но настойчивому капитану в его щекотливом предприятии, да и, кроме того, само знакомство с Аркадием Ивановичем было несколько стремительно, и после всяких высокопарных и таинственных намеков на какие-то там его заслуги, в чем Авросимов и разобраться толком не успел, вот вам, пожалуйста, подайте ему нежный предмет.

Пистолет подрагивал на широкой груди Авросимова и охлаждал ее. День перевалил на вторую половину, и потянуло туманцем и синевой. Красное зимнее солнышко потонуло в Неве где-то за Адмиралтейством. Едва сумерки надвинутся, можно будет в знакомый флигель постучать...

Хмель постепенно выходил, и на душе у нашего героя становилось гадко. Казалось, что из-за поворота вот-вот вывернутся сани его сиятельства военного министра и снова придется вести унылый и полный страха разговор неизвестно о чем.

— В Петербурге у меня есть знакомая, — сказал Аркадий Иванович, — Амалия Петровна Пестель. Дама молодая и прелестная. Как она супруга своего любит! Вы бы только поглядели, господин Ваня. Когда я смотрю на них, мне за себя больно становится. Почему я один на белом свете? Вот не дал Господь. А я вам должен признаться, что женщину считаю в нашей жизни главным, и это не в том смысле, в каком я вас только

что попросил, а в самом высшем, в философском... Я и у нас в полку, бывало, рассказывал свои убеждения, но некоторые, — сказал он с грустью, — некоторые молодые офицеры, как это говорится, из хороших фамилий меня на смех пытались поднимать... — он pokrutil головой. — Да разве можно на них за то сердчать? Они по воспитанию такие, я ведь понимаю. Я для них кто? Провинциал, скука...

— Да, да, — подтвердил Авросимов.

— Но они это не по злобе, не по природе, господин Ваня, а когда тебя узнают, так и вовсе проникаются симпатией... Верно, верно... Уж я знаю. Поэтому и сердчать на них за то нельзя. Да, предмет нежный... Ну я, натурально, отечества не беру. Это, так сказать, в житейском смысле. Но поверите ли, я, господин Ваня, ради этого самого могу даже преступление совершить или, скажем подвиг. А вы куда же меня ведете?

— Есть один дом, сударь, — сказал Авросимов, — в котором тепло и приятно. Уж вы жалеть не будете.

— Дай-то Бог, — засмеялся капитан.

Аркадий Иванович шел молча, и наш герой, воспользовавшись паузой, погрузился в мечты о предполагаемом визите во флигель. Что мог встретить он там? Ну, натурально, опять эти крики веселья и шепот любви, и полную непринужденность, когда тело словно разделено на части и каждая часть живет своей особой жизнью. Ну, натурально, полное забвение, и никаких Следственных, и никаких военных министров, и только горячее дыхание Милодорочки или там Дельфинии, и бесшумные вереницы челяди, которые все что-то несут, несут, уносят... и, наконец, добрый Бутурлин, который успокоить может, который так легко рукой поведет, и тотчас все вокруг станет бранным, расплывчатым... О чем сожалеть?

— В жизни я всегда отличался большим любопытством, — вдруг сказал Аркадий Иванович.

— А что же вы все никак о своем геройстве мне не скажете? — напомнил ему Авросимов.

— А далеко ли нам идти, господин Ваня? — спросил в свою очередь капитан. — Только вы меня в общество все же не ведите. А знаете, у меня в Линцах была одна Анюта, господин Ваня, розумите? Вдова исправника... Вот истинный ангел, господин Ваня. Да вы и сами понимать сие должны...

— Я в этом не очень, — признался наш герой.

Капитан нежно взял его за локоть.

— Что ж так?

— Я молод еще, сударь...

— С вашими-то плечищами, — сказал капитан с улыбкой, — можно любую даму с ума свести... А к чему я вам про любопытство свое начал?.. Ага... Знаете, господин Ваня, мой полковник был человек незаурядный, вот я о чем... — и вздохнул. — Скажу вам, не хвастаясь, я в особенных людях толк знаю, я их тотчас же на глаз беру, хотя я ведь тоже по-своему хорош, как я умею с людьми быть утончен и покладист. Я, бывало, выйду в Линцах перед строем и, пока там унтера суетятся, эдак вот рукой только качну, и строй тотчас — ровная линия, а иначе я вас, сукины дети!.. Вы не подумайте, господин Ваня, что сие от страха. Нет, нет, от глубокой симпатии... Так вот, но в полковнике моем эта тонкость все-таки меня поразила. Ну что там? Ну, я вам скажу, рост. Это главное. И не то чтобы малый рост привлек внимание к нему, а знакомый облик... Эге, говорю я сам себе, где это мы встречались? И вдруг я понимаю: это же Буонапарте стоит предо мною! Он самый, господин Ваня! Рост... Но, кроме того, — лицо, осанка, взгляд... Волосы! Все, все... Потом уж я понял, что и духа полное соответствие. А я, господин Ваня, сам — кремень. Кремень, значит, на кремень. Это вы поняли? Тут вы следите, как самая ниточка завязывается, как она начало берет, следите, следите, это очень занятно. Так вот, он указывает мне на марширующую роту и говорит:

— Как вам нравится, господин штабс-капитан (а я

тогда еще штабс-капитаном был), эта толпа лентяев и оборванцев?

Я, признаться, господин Ваня, оторопел.

— Чем же они лентяи, господин полковник? Они строя не знают, но на то мы и призваны их учить, господин полковник. Авось выучим, лицом в грязь не ударим... Постараемся.

Он искривился весь, словно от смеха, но смолчал. Однако голубые его глаза немецкие глядят зорко, с пристрелочкой и весь вид его располагает. Я, признаться, у него новый офицер, еще не знаю, что да как.

— В других полках, господин полковник, и того хуже...

— Другие полки, господин штабс-капитан, не образец для нас, — сказал он холодно. — Я просил вашего назначения сюда, зная о вашем высоком мастерстве в строевой науке...

Ну, как он меня холодом облил! Как мне было поступить, господин Ваня? Однако я смотрю на него с любопытством. Ладно, сударь, извольте...

Так рассуждал Аркадий Иванович, словно бы и ни о чем, а между тем наш герой, преисполненный необъяснимой тревоги, вышагивал рядом, видя перед собой Павла Ивановича с завязанными глазами и не умея представить себе его же стоящим на ветру перед марширующей ротой. Да как это он там стоял? Видел ли он свое скорое будущее? И, замахиваясь на самого государя, предвидел ли молнии и гром?

— Э, кабы можно было предвидеть хоть сотую долю того, что потом стало, — вздохнул Аркадий Иванович. — А вот, господин Ваня, посудите сами мое положение: он стоит передо мной, как Буонапарте, и я ничего сказать не смею. Каково? А ведь все мы люди. Ну, скажем, водку он пьет? В карты там... прекрасный пол... Ну как все... Но он меня подавляет своими немецкими глазами, Господи ты боже мой! Это неспроста, думаю я, это личность... Это не просто там аристократ, баловень, пренебрегатель... Ну хоть бы он меня понял, кивнул бы

эдак, знаете, пригласил бы к себе: мол, новый офицер как дела и прочее... Нет, господин Ваня, одни лишь немецкие глаза в упор. Я терпелив. Я жду. Я в кампаниях против французского узурпатора не участвовал, а он — да. Преклоняюсь перед героями, даже завидую... А вам разве не хотелось бы ради отечества? Не хотелось бы? Ведь хочется, а? Ну, знаю, это же не просто слово... А вы вникайте, вникайте, тут-то самое и начинается.

— Мне поторопились передать, господин штабс-капитан, всякие слухи относительно вашего прошлого.

— Позвольте, господин полковник, что вы имеете в виду? Я поклонник правил, но честь свою в обиду...

— Ну, например, история в Московском полку, когда вы...

— Виноват, господин полковник, но это навет...

— Нет, нет, я не придаю этому значения. Вы первоклассный строевик, а мне вот как нужны такие офицеры... Остальное — вздор.

— Это самая крайняя мера завистников, господин полковник.

— Пустое. Я не считаюсь. Для меня, какой вы есть...

— Для меня отечество прежде всего. Его польза...

— Отечество? А что, господин штабс-капитан, известно вам о сем предмете?

— Я бы сказал, господин полковник, да мысль, что и до вас дошли грязные обо мне слухи, ужасна...

— Давайте договоримся, господин штабс-капитан, раз и навсегда. Я вас ценю за фронт. Остальное — не мое дело.

Вы поняли, господин Ваня, какая тут тонкость?

Наш герой живо представил себе этот диалог, отчето-го волнение его даже усугубилось, ибо, зная уже отчетливо внешние черты злодея-полковника, он ощутил его холодность и словно увидел немецкие его глаза. Но чего-то все-таки Аркадий Иванович, видимо, недоговаривал, и призрак висел в пустом воздухе, как карась на крючке вне своей родной водной стихии.

Уж ежели рассуждать с пристрастием, и дался же ему этот Павел Иванович, возомнивший о себе, великий нравственный прелюбодей! Что в нем, казалось бы? Да, видно, такова природа молодости и неусталой, непотревоженной души, что все хочется знать наверняка, до конца, а иначе такие мучения подступают, такая тайна мерещится, что и не приведи господь.

Авросимов и переживал это все, шагая рядом с героем, да так переживал, что и Амалия Петровна выскочила из мыслей, и военный министр не мерещился, и прохожие словно и не семенили мимо, и позабылся флигель вождеденный...

Как вдруг Аркадий Иванович подступил с вопросом:

— А что, господин Ваня, близко ли нам идти?

— Я вас приведу, приведу, — сказал наш герой в нетерпении, ощущая, как шевелится на груди холодный пистолет. — Вы рассказывайте.

Аркадий Иванович на это вздохнул, засмеялся:

— Интересует вас это?.. А может, я вру вам все? Вот такой болтун несусветный вам попался, а вы и верите, а?

Тут наш герой заметил, что вечер опустился. Идти до флигеля было еще порядочно, и можно было послушать рассказчика вволю.

— И зачем я вам все это рассказываю? — проговорил Аркадий Иванович. — Теперь полковник мой схвачен, роковая опасность миновала. Другие, стало быть, спохватились... Государь — новый, молодой... Эх, господин Ваня, вздор это все.

— Нет, не вздор, — вдруг несколько даже настаивательно сказал Авросимов. — Отчего же вздор, когда сие — истина? Зачем вам врать? Я же вижу, как вы с волнением рассказываете...

— Ну ладно, — сказал капитан миролюбиво, — только уж вы следите, не пропускайте ничего, хотя я не знаю, зачем я вам все это рассказываю... А может,

так прогуляемся, помолчим? Не утомил ли я вас? — но так как Авросимов ничего на это не ответил, а лицо его продолжало выражать нетерпение со всей свойственной его возрасту непосредственностью и открытостью, Аркадий Иванович продолжил свой рассказ. — Представьте себе, господин Ваня, каково это человеку, который цену себе знает, которому пальца в рот не клади, а тут немецкие глаза, в голосе — железо и противу вас — стена? Ну что вы будете делать? Решение мое смириться было горьким. Я человек гордый. И вот однажды летом, мы тогда всем полком лагерь держали, отправился я к моему полковнику поздним вечером, в неурочное время, дабы испросить у него разрешение отправить в госпиталь унтера моего, внезапно занемогшего. А надо вам знать, господин Ваня, хотя к полковнику была от полка симпатия, дистанция меж им и нами, офицерами, держалась непреложно. Куда там! И не вздумайте в неурочное время беспокоить. Беда. А я иду. В окне — свет. На шторках тени. Песен не поют, не слышно, но, думаю, веселье идет тихим чередом... В нашей жизни лагерной без этого разве можно? И не бражничанье меня насторожило впоследствии, нет... Впрочем, это вы сами поймете... И тут, господин Ваня, с темного крыльца скатывается прямо на меня белая фигура и, словно привидение, как кикимора лесная, раскачивается передо мною и спрашивает:

— Как прикажете доложить?

А это, значит, лопаухий пес Савенко, денщик моего полковника, скотина, мордастый такой и наглый.

— Пошел вон!

Будто он меня не знает! И ведь если бы я, скажем, был князь или генерал, он бы в ногах моих валялся, а мне, значит, теперь надо и через это перешагнуть? И это проглотить? Я не намерен...

Речь Аркадия Ивановича постепенно приобретала плавность, словно он уже который раз повторяет свою историю, тем самым вырабатывая манеру повествова-

ния в духе известного господина Бестужева-Марлинского, тоже, кстати, замешанного в бунте, но пока не успевшего потерять для читающей публики своего обаяния.

— Но не успел я всего этого для себя осознать, — продолжал капитан, — как сам полковник появился на крыльце. Белая рубаша его с широким воротником была видна хорошо. За шторкой чья-то кучерявая голова застыла неподвижно. Что-то здесь неладное происходит, подумал я, какая-то во всем этом тайна... Тут я шагнул ему навстречу.

— А, это вы, — сказал полковник, но с крыльца не сошел.

— Господин полковник, дело чрезвычайной важности побудило меня беспокоить вас в неурочное время...

— Господин штабс-капитан, — сказал он сухо, — я уже имел честь предупредить, что по вечерам...

— Господин полковник, унтер Дергач тяжело занемог и криком своим переполошил лагерь...

— Я не люблю дважды говорить об одном и том же, господин штабс-капитан.

— Если он к утру кончится...

— Господин штабс-капитан, не принуждайте меня к крайним мерам.

И тут его белая рубаша качнулась и растаяла в дверях. Кучерявая голова на шторах зашевелилась снова, а из хаты появился лопухий Савенко.

Что было делать? Я повернулся и, подавляя в себе гнев, отправился восвояси, но стоило мне сделать несколько шагов, как я услышал за спиною скрип и, оглянувшись, увидал, что Савенко, крадучись, сошел со ступенек.

Была ночь, господин Ваня. Луна стояла неполная. Кузнечики кричали. И я шагал мрачно по сырой траве мимо спящих хат. И в душе моей творилось черт знает что... Вы следите, следите за каждой мелочью, не упускайте... «Что же это происходит? — думал я. — За что

же это я так наказан в то время, как кто-то с полковником моим бражничает!..» Вы понимаете, какое дело? А унтер, бедняга, на которого махнули рукой? А оскорбление, мне нанесенное? И ведь все это от человека не простого, не подлого, насколько я успел разузнать... Бражничают... И тут страшная догадка посетила меня. А если они не бражничают?! А если я столкнулся лицом к лицу с искрой дьявольского предприятия, слухи о котором носились в армейском воздухе вот уже несколько лет?.. Бражничают? А с чего же этот пес лопухий караулит у крыльца? Любопытство мое, подогретое оскорблением, разгорелось пуще. Я проделал уже полпути к лагерю, как вдруг вспомнил о денщике, направившемся за мной, и оглянулся стремительно. Серая фигура Савенки кинулась в тень забора. Я не из робкого десятка, господин Ваня, но сердце мое дрогнуло. Однако я справился с первым смущением и продолжал свой путь, положив про себя проучить дерзкого холопа. Пройдя еще порядочное расстояние и чувствуя затылком, что лопухий продолжает следовать за мной, я воспользовался резким поворотом тропы, обнаружил пролом в заборе и, юркнув туда, затаился в густой листве. Я был совершенно скрыт от проходящих, но сам видел дорогу отлично. И вот, господин Ваня, едва отдрожали последние листочки на кустах, потревоженные мною, как долговязая фигура проклятого пса вынырнула из-за поворота и остановилась в недоумении. Он меня потерял!.. «Ищи! Ищи!» — хотелось крикнуть мне, но я, натурально, молчал и с жаром ждал продолжения истории, надеясь, что пес кинется за мной в кусты и уж тут я смогу наконец заплатить ему сполна за унижение... Савенко нелепо топтался на месте, пробежал вперед по тропе, возвращался, и мне даже почудилось, что он принохивается вокруг. Истинный пес, прости господи! Так минут пять, а может, и более того топтался он в близости от меня, пока наконец не понял бесплодности своего предприятия и не отправился об-

ратно, чему я даже обрадовался, так как ноги мои затекли, а в нос набилась пыльца от цветов и душила меня.

Прошло время, господин Ваня. Дальше — больше. Вы розумиете, каково мне было все это понимать?

— Да, да, — пробормотал наш герой, позабыв совершенно о цели своего путешествия, чувствуя, как дух у него захватывает, словно провалился в глубокую и густую тайну.

— В последующие дни, — сказал Аркадий Иванович, — Савенко, встречаясь со мной, делал вид, что ничего не произошло, да и я не поминал ему ни о чем, ощущая душой какую-то тайну, которую от меня скрывали. И тут, господин Ваня, то ли душа моя такова, то ли это была воля самого Господа нашего, но я уже не мог вести прежний образ жизни, а что-то во мне клочкотало и понуждало действовать. Скажу вам не хвастаясь, что природная сметливость помогла мне в этом. Я решил скрывать свои истинные чувства до поры до времени, справедливо считая, что это поможет мне раскрыть тайну, ежели она есть. И я не ошибся. Спустя неделю счастливый случай свел нас с полковником снова. На сей раз он был в расположении и даже несколько раз его холодное, жесткое лицо украсила мимолетная улыбка. Я не поминал о недавнем происшествии, он словно и не помнил. Шел обычный деловой разговор о полковых заботах. Вдруг он спросил:

— Как думаете, господин капитан, любят ли вас в роте?

Я задумался и не знал сразу, что ответить; это ему, видимо, пришлось по душе.

— Природная скромность не всегда у офицеров в чести, но вы ею не пренебрегайте, — сказал он, не зло усмехаясь. — Кстати, об офицерах. Успели ли вы приобрести себе друзей по симпатии?

— Я, господин полковник, так много занят строем,

что и не думал о сем предмете, ибо стараюсь о блеске вверенной роты...

Разговор как разговор, и все-таки что-то меня насторожило, ведь та полночь и лопухий Савенко, крадущийся за мной, не выходили из моей головы. Господи, подумал я, помоги мне!

— Стараетесь о блеске? — задумчиво переспросил он. — А ведь от воли государя зависят счастье и блеск всей армии. — И добавил тихо: — Хотя эта воля в последние годы проявляет себя противоборствующей здравому смыслу...

Сердце мое затрепетало. Он глядел в меня пристально, насквозь. Я кивнул ему согласно. Эти преступные мысли не были для меня новостью, мне многое подобное приходилось слышать из разных уст за последнее время. «Спокойно, — сказал я самому себе, — не спугни глухаря, дай ему потоковать...»

— Как же он вам вдруг доверился?! — прохрипел наш герой с отчаянием и тоской. — А вы-то что?..

— Я испугался, господин Ваня, — сказал капитан шепотом. — Вы бы разве не испугались? Я понял, что это все неспроста, его слова, что мне должно их слушать и соглашаться, чтобы он легко говорил, не стесняясь. Я вообще, господин Ваня, манеру взял с людьми не спорить. Зачем? У каждого своя голова, свои привязанности. Но, заметьте, стоит человеку поддакнуть, представиться ему единомышленником, как он тотчас словно освобождается весь, и легко ему с вами, и просто... И вот тогда вы будто окунулись во весь его образ мыслей... А эти спорщики всякие, петушки эти, они не по мне, господин Ваня. Так вот, значит, он произнес свою ужасную фразу, от которой сердце у меня похолодело...

— Это справедливо, — сказал я в ответ. — Я сам думал об этом. Но наша власть мала, и нам остается надеяться на Божье провиденье.

— Да, — сказал он, — вы правы. Все оно так и было бы, когда б не особый случай.

— Какой же, господин полковник?

Он долго молчал, внимательно разглядывая меня, словно я не человек, не офицер, а так — предмет неодушевленный, и это мне было, поверьте, крайне оскорбительно, и рука, как говорится, искала рукояти, но я крепился, ибо разворачивалось внезапно такое, во имя чего стоило гордыней пренебречь. Моя счастливая звезда сияла мне ослепительно.

— Я совершаю преступление перед совестью и кругом своих друзей, исповедуясь перед вами откровенно, — сказал он, окончательно прожигая меня взглядом, — но что-то подсказывает мне, что на вас можно положиться.

— Господин полковник! — воскликнул я, стараясь окончательно расположить его. — Нет, нет, вы не ошиблись. Слово дворянина!

Глаза его немецкие вдруг сверкнули.

— Я верю вам, — сказал он шепотом. — Здесь не место для откровенности... Вечером у меня, если вам будет угодно...

И он пошел, невысокий и коренастый, ну чистый Буонапарте.

Волнению моему не было предела, и хотя тайна оставалась по-прежнему за завесой, но я верил, что край этой завесы я приподыму, и очень скоро.

Человек небедный и знатный, мой полковник жил скромно, по-походному. Я очень удивился, господин Ваня, когда, оказавшись в его комнатке, наткнулся на множество книг, на исписанные листы бумаги, покрывающие единственный в комнате стол, когда увидел деревянный топчан, покрытый серым солдатским одеялом. Разговор сначала не завязывался, потому, наверное, что он ко мне присматривался, а я был, натурально, в волнении, предвкушая раскрытие тайны. Но постепенно тема нашлась, а именно — минувшая война. Нет,

вы не думайте, господин Ваня, что так вот сразу он весь и раскрылся, все свои чудовищные планы и прочее... Разговор у нас был обычный, и я бы, наверное, остался в недоумении, как вдруг он сказал, не помню уже, продолжая какую мысль:

— Всякое единоличное правление приводит к деспотии, а сие значит, что в собственных глазах деспот всегда прав и непогрешим, а так как даже деспот смертен, а смертные не могут быть абсолютно непогрешимы, следовательно, за некоторые грехи его расплачивается народ, государство, мы...

— Надо ему подсказать об этом, — сказал я с робостью.

Он засмеялся.

— Такое в истории бывало, но заканчивалось плачевно...

— Теперь, слава Богу, пора деспотов миновала, — сказал я со страхом, понимая, куда он гнет, — государи и правители теперь просвещенные...

Он засмеялся снова.

— Знаете ли вы математику, господин штабс-капитан?

— Нет, — сказал я.

— Если бы вы знали ее, — продолжал он, — я бы доказал вам все это мгновенно... — Я молчал, не в силах побороть волнение, а он продолжал: — Возьмите Древний Рим. Покуда там было республиканское правление — он процветал, стоило утвердиться монархии — возникла деспотия и процветание страны и народа кончилось... Это математически непреложно...

О чем мы говорили далее, я уже плохо помню, но и этих двух фраз было предостаточно, господин Ваня, чтобы понять, как это все неспроста... Скажу вам, не хвастаясь, я с детства был воспитан в правилах чести и любви к государю. И вдруг услышать такое! Каково же было мне по веревочке ходить и не упасть? — и снова передя на шепот: — Да видите ли в чем суть: все

друзья у полковника по другим частям находились, а в своем полку был он одинок. Я так это понимаю. Впрочем, может, что и другое... А между тем встречи наши учащались. Беседы становились откровеннее раз от разу. Я был настороже и в то же время продолжал любоваться моим полковником! Вот ведь как бывает... Все в нем мне нравилось: и походка его, как он ходил, уверенно и твердо и вместе с тем легко, даже с грацией какой-то; и твердость духа, и выдержка, и в то же время — что-то мягкое и обаятельное в лице, несмотря на внешнюю суровость; и даже запах ароматного мыла, исходивший от него постоянно, странного мыла, пахнущего больше свежей весной, нежели всяким искусственным снадобьем, доставлял мне истинное наслаждение. Однако, думал я, не следует обольщаться, надо быть готовым ко всему, ибо первые шаги уже доказали мне близость страшной пучины, таящейся где-то неподалеку. Что же делать? Как предотвратить несчастье, которое грозит нам всем и нашему отечеству?..

Еще в детстве положил я себе за правило не опережать событий, чтобы не допустить ненароком ошибки. Главное, думал я, сохранять свою верность государю и быть чистым в душе, а уж все это и время помогут мне вскрыть нарыв и избавить невинных людей от заблуждений.

Однажды, господин Ваня, мой полковник призвал меня к себе. Сам он сидел за столом, а мне указал на табурет. В доме было тихо. Савенко за занавеской не шевелился — то ли спал, то ли подслушивал.

Вдруг полковник сказал:

— А вы очень хороши в роте, вы мне нравитесь... Думается, что на высочайшем смотре солдаты ваши проявят себя отменно.

Мне было приятно слышать похвалу из уст этого сурового человека, и, ах, кабы не смятение в моей душе, посеянное им! Я даже растерялся и не знал, что отвечать, как услышал его тихий смех.

— Я смеюсь оттого, — сказал он, видя мое недоумение, — что очень отчетливо представляю себе эту будущую радужную картину: вы вышагиваете с вашей ротой и достаиваетесь высшей похвалы (да, с той самой ротой, которой предстоит в недалеком будущем участвовать в предприятии...), — он заметил мое смятение, которое я безуспешно пытался скрыть. — Ничего, ничего, — продолжал он, — мне ведь тоже когда-то казалось это сверхъестественным, однако трезвые наблюдения позволили мне убедиться в крайней пользе этой акции, даже в необходимости ее, даже в неизбежности... В общем, мы с вами, любезный, пылинки в игре природы... Представьте себе, когда мы устраним монархию и все связанные с нею учреждения, — сказал он так просто, словно приглашал меня на прогулку, — когда освободим народ, тогда это предприятие с высоты уже достигнутого не будет казаться нам противоестественным... Надо только отрешиться от мысли, что самодержавие — единственная форма правления...

— Позвольте, — сказал я, ощущая холод в ладонях, — как мыслите вы устранить монархию? Значит ли это, что вы собираетесь лишить царя престола, вынудить его отречься?

— Нет, мы убьем его, — сказал он просто. — Это вызвано необходимостью... Мы убьем его. Вся царская фамилия должна быть устранена...

Верите ли, я чуть было не упал при сих словах, но опять сдержался. Нельзя было вызвать ни малейшего подозрения с его стороны. Мой полковник меж тем продолжал:

— Мы предадим суду сенаторов...

— Вы очень откровенны, — сказал я, едва скрывая ужас. — А не может ли кто-нибудь... Не боитесь ли вы, что кто-нибудь... Вдруг какой-нибудь мнимый ваш единомышленник...

Он долго и внимательно меня разглядывал. Я выдержал его взгляд. Он сказал тихо:

— Теперь уже поздно. Теперь это вряд ли может иметь значение. Наши идеи охватили почти всю армию. Она работает быстрее, чем канцелярская машина...

— Да, — сказал я на это, — вы хорошо все продумали... — А тем временем ужас мой все усиливался и усиливался и достиг предела: я вдруг понял, что мой полковник слеп, что он движется на ощупь. — Господин полковник, — сказал я, — а ну как просчет в ваших планах?

— Вы боитесь? — усмехнулся он, но лицо его было бледно.

— Я не боюсь, — сказал я, — но поспешность никогда не была людям добрым помощником.

Он поднялся из-за стола.

— Соберите, между прочим, своих унтеров, главных целей раскрывать не нужно, но приуготовляйте их постепенно к мысли о необходимости перемен. Вас что-нибудь останавливает?..

— Никак нет, — ответил я, — постараемся, — и направился к дверям, едва переставляя деревянные ноги.

(В этот момент Авросимов тяжело вздохнул.)

— Нет, я не дам тебе погибнуть! — восклицал я, направляясь к своему дому.

Целую неделю или больше меня, господин Ваня, лихорадило. Я метался словно загнанный зверь и не находил выхода. Обстановка тем временем накалялась. Верите ли, уж я знал, что многие полки, в большом числе раскиданные по Малороссии, заражены той же страшной болезнью. Не буду перечислять всех офицеров, причастных к сему, ибо вам это все равно что пустой звук, но они приезжали, господин Ваня, один красивее другого, все такие богатые, умные, надменные, аристократы, прости их Господи, вы, наверное, и не видали таких-то в вашей глуши... Как быть? Как быть, я вас спрашиваю? На меня обрушилось несчастье! Они все, обезумевшие от своих замыслов, подогреваемые

друг другом, уже не могли опомниться, остановиться... «Нет, я не дам вам погибнуть, — твердил я непрерывно. — Не дам вам в ослеплении вашем погубить отечество!» Тем не менее я решил не действовать, прежде чем не выясню всех обстоятельств, прежде чем не распутая этого страшного клубка. Рука моя, врете ли, беспрестанно тянулась к бумаге, а разум противился. Она тянулась, а он противился...

В этот момент Авросимов явственно увидел перед собою Павла Ивановича. Полковник держал перед глазами лист, и закованные его руки вздрагивали.

— А кто знает, чья вина, а чья правда? — вымолвил Авросимов слабым шепотом.

Но Аркадий Иванович услышал даже этот шепот.

— А Бог-то на что? — сказал он и засмеялся. — Да вы-то уж будьте покойны. Вы уж лучше слушайте, слушайте... А вот когда все услышите, тогда вы и сами все решите. Розумиете? Так вот, а тут случай вышел, маленькое происшествие, ну пустяк один.

Пребывал я как-то поздним вечером в доме своем. Денщик мой, а вы его уже видели, спал в сенях. Свеча моя подходила к концу, но у меня не было сил крикнуть, велеть заменить. Ах, подумал я, пусть она сгорит. А было мне, господин Ваня, худо невесть с чего. Руки мои словно плети лежали на коленях, тело знобило... Наверно, страдания мои тому виною, думал я. Вы только представьте себе, что я должен был выносить все эти дни, месяцы, сознавая, что в моих руках судьба государства и государя, вот в этих самых руках, что беспомощно лежат на моих коленях. Под влиянием всего этого пережитого охватила меня неясная тоска, и легкий летний ветерок, влетающий в распахнутое окно, не успокаивал, а, напротив, усиливал тревогу, доносил какие-то смутные звуки: то вдруг видел я явственно большого петуха, как он поводит своей головкой, уставя в меня маленькие красные глазки с вопросом, то рог коровий покачивается и исчезнет, то звезды вдруг все

враз погаснут... В общем, господин Ваня, да что вам об этом рассказывать? И тут я почувствовал в затылке, как бы вам это получше объяснить, не боль, а томление, что ли. Заныло, заныло. И я оборотился. В дверях, на самом пороге, стоял проклятый пес Савенко.

С минуту мы молча глядели друг на друга. Озноб сотрясал меня.

— Тебе чего? — спросил я, и голос мой, словно в бочке пустой прогудел.

— Окно у вас раскрыто, — усмехнулся он, — со двора видать все...

— Уноси ноги! — приказал я и попытался подняться, чтобы вздуть его.

— Так точно, — сказал он, не двигаясь с места, а голова его, как петушинная, вертелась на шее, а глаза зыркали по сторонам, верите ли?

— Сгинь! — крикнул я, но вместо крика шипение какое-то, прости Господи, вырвалось из души моей, да и тело будто приросло к стулу. Но стоило мне снова поднять глаза, как я не увидел в комнате никого. Бред, подумалось мне. Под окном зашуршала трава. Из последних сил рванулся я со стула и грудью рухнул на подоконник. Круглая морда Савенки, словно блин, отлетела прочь.

— Ваше благородие, — сказал он из кустов, — господин полковник за вами прислал. К себе кличут.

Трава зашуршала, и все стихло. Я захлопнул окно. Руки мои тряслись. Накинул мундир и вышел. Ночная прохлада несколько меня поуспокоила. Стояла полночная девственная тишина. Вдруг я услышал за собою шаги. Я резко обернулся: белый расплывчатый силуэт Савенки покачивался на тропе. Неужели полковник велел ему следить за мной?!

— Савенко, — сказал я, — берегись, Савенко, я шуток не люблю.

Но он не отозвался, и силуэт его растворился во тьме.

Полковник встретил меня на пороге и провел в дом. В комнате сидели офицеры. Каждый из них был мне уже знаком, хотя и отдаленно. Это был, судя по всему, самый кулак ужасного заговора. Все молча глядели на меня. Я поклонился.

Надо было вам видеть, господин Ваня, их лица, как они на меня глядели. Чужой я им был, господин Ваня, черная косточка. Какой я вам товарищ, подумал я с грустью, хотя вид при этом сохранял самый достойный, вам лишь цели своей добиться, а там вы и узнавать перестанете. Верите ли, так я об этом горько думал, что даже лихорадка моя угасать начала, потому что трезвость размышления всегда способствует успокоению. И только видел я одно, какая выпала мне в жизни тягостная и высокая честь, и уже видел я глаза государя, с благодарностью и гордостью вззирающие на меня, а ведь государь наш, господин Ваня, он ведь истинный отец наш, да?.. Тут после легкого любопытства и проявления всякого ко мне недружелюбия они все отворотились, словно чтобы не мешать нам с моим полковником заниматься всякими полковыми делами, для которых я, кстати, и был зван. А должен вам заметить, что находился там среди прочих и мой батальонный командир господин Лорер, майор, который, появившись в полку нашем, принялся распространять всякие ужасные сведения обо мне, будто я, служа еще в Петербурге, допускал всякие там денежные злоупотребления, чего за мной, верите ли, и не водилось сроду... И вы небось слышали?

— Ни об чем таком не знаю, — сказал наш герой.

— Вот уж, право, чушь одна, верите ли? Чужой я для них был, господин Ваня, и поэтому... Ну вот, сесть мне не предложили, как равному. Я и это стерпел. Я всякие слабости умею прощать. Люди ведь в том невиноваты. Ах, не буду посвящать вас в подробности. Короче говоря, получил я приказ следовать в Москву по полковым делам и положил в карман солидную пачку

казенных ассигнаций. Вместе с ассигнациями вручил мне полковник письмо одному лицу, в котором заключена, как он выразился, наша общая судьба. А должен вам сказать, что я хоть и бедный человек, но дюже честный, и не стоило бы об том говорить, когда б не вышла тут история, переверотившая многое.

Вышел я от полковника, как побитый пес. Обида терзала меня. Но Бог меня надоумил, что ли, не смог я поворотиться и идти к себе, а ноги мои подвели меня к распахнутому окну, из которого доносился приглушенный разговор... Верите ли, сердце мое чуть не остановилось, когда я услышал, как всякая обидная напраслина потекла из уст собравшихся. Они все, все наперебой меня чернили, называя меня ненадежным, снова припоминая историю петербургскую, так что я готов был вбежать к ним и со всем пылом молодости требовать удовлетворения, но я снова заставил себя сдержаться и только подумал скорбно: «Бог вас простит...»

И тут, господин Ваня, услышал я голос моего полковника, дотоле молчавшего, который один в этом скопище хулителей защищал меня и доверял мне, так что я разрыдался как ребенок, прямо там, под окном. Да, подумал я, вот истинный человек, вот человек достойный, несмотря на все свои страшные заблуждения. И я порешил, отправляясь в дальнюю дорогу, перед отъездом, на заре, подарить ему старинный украинский наш чубук, до которых, как я знал, был он большой охотник. Подавляя в себе всякие обидные чувства, вызванные услышанным разговором, отправился я домой. За спиной слышались шаги, но я не обернулся.

Не буду описывать вам своих мытарств московских, как я там хлопотал по полковому делу, как вынимали из меня деньги канцелярские писаки, это ведь у нас заведено такое, господин Ваня, как воротился назад, не буду вам этим докучать. Но то, что я застал, воротившись, окончательно выбило меня из седла. Полковник мой, Бог ему судья, видимо, поддавшись наговорам, гля-

дел на меня недобро. Недостача в деньгах, да пустячная, черт ее подери, в другое время и мараться бы из-за нее не стоило, вызвала целую бурю. Замаячил суд передо мной, розумиете? Не удостоившись наград за свою безупречную службу, предстать в молодые годы перед судом!

Наш герой, шагая рядом с чудесным капитаном, ступал осторожно, затаив дыхание, словно крался за дичью. И вдруг какие-то все незнакомые места возникли перед ним, словно и не Петербург это вовсе. Какие-то унылые заборы тянулись один за другим, и лес чернел или роцца, а фонарей не было и в помине, и тишина стояла... «Что такое? — подумал он с содроганием душевным. — Куда мы забрели?» А место действительно было глухое, пустынное, редкие дома стояли с заколоченными окнами, так что ни одного огонька кругом. Единственное — луна выныривала иногда из облачных лохмотьев и бросала слабый свой и недолгий свет на замершую картину, но свет этот не вселял бодрости, а, напротив, был так уныл, что хотелось с головой зарыться в сугроб.

Видимо, недоумение и дрожь нашего героя передались и славному Аркадию Ивановичу, а может, он сам себя растравил, предаваясь воспоминаниям, во всяком случае, шаги его замедлились и он остановился. Стал и Авросимов.

— Куда это вы меня завели, господин Ваня? — спросил капитан шепотом. — Вы меня, должно, убить хотите? — и засмеялся.

— Помилуйте, Аркадий Иванович, — ответил Авросимов, переходя на шепот, — ума не приложу...

— И узнать не у кого, — прощелестел капитан, всматриваясь в пустынные места.

Снег вспыхивал под нечастой луной, но тут же погасал.

— А не поворотить ли нам обратно, господин Ваня? Эдак мы и в лес прямехонько забредем...

И тут, внезапно и зловещ, чей-то раскатистый свист потряс безмолвие.

— Бежим! — прошипел капитан и, поворотившись, опрометью кинулся по своему же следу. Наш герой торопился за ним, проклиная теплую свою шубу. Луна как назло не появлялась. Когда они обогнули первое двухэтажное здание с заколоченными окнами, из-за угла ударил стремительный ветер. Сколько времени они бежали, подсчитать было невозможно, наконец где-то впереди мелькнул вожделенный огонек, за ним — другой, послышался скрип полозьев. Аркадий Иванович, бежавший все время чуть впереди, замедлил движение.

— Стойте, — взмолился наш герой, с трудом переводя дух.

Они остановились у первого освещенного окна. Капитан расхохотался.

— Никогда так не трусил, — проговорил он, — просто даже сердце свело от страха. Вот напасть! Ну идемте же... Может, мы и не в Петербурге вовсе, а?

— Не знаю, — сказал Авросимов мрачно. — Теперь бы извозчика... Я уморился.

— Эх, господин Ваня, — снова засмеялся капитан, — ну я, ну не очень чтобы могучий, да? Но вы-то, вы-то! Вон вы какой медведь! Вы-то что же, а?

— Кому гибнуть-то охота? — признался Авросимов, не испытывая стыда.

Они двинулись дальше. Шли молча. Говорить уже не хотелось. Мысли о возможной гибели не давали покоя. И тут наш герой, размышляя об этом печальном предмете, который и у жаркого камина вызывает чувство тоски, а не то что в пустынном месте, где они недавно побывали, подумал вдруг о государе, которого, оказывается, на каждом шагу подкарауливает насильственная смерть, как ты ни прячься, как ты там ни бейся. И не от разбойников каких-нибудь, не от волчьих там зубов, а от своих же, живущих рядом соплемен-

ников, которым, может быть, руки пожимал, благодеяния оказывал, ордена на шею вешал! И ведь могут: и как Людовика, с почетом на плаху, и как свинью — просто нож из-за угла в спину, прости Господи... Отчего же он своих погубителей должен в крепости содержать по всем законам, а не бить их собственноручно одного за другим мечом или кинжалом в самое сердце? От кого же сия несправедливость?

И в тот же самый миг государь император, маленький такой и полный страха, прикрываясь ладонью, как бы от удара, показался из-за угла и, проваливаясь по колена в сугробах, кинулся прочь от Авросимова. «Держи его!» — хотел было крикнуть наш герой, не испытывая при этом ни малейшей жалости, но очнулся.

— Теперь куда? — спросил дотоле молчавший капитан.

Государь император исчез. Они стояли у Строгановского дома. За углом бежал Невский.

— Теперь уже совсем рядом! — обрадовался наш герой и повел за собой капитана.

...Так за что же тогда все, как стоворившись, бегают взапуски за государем своим, охотятся на него, подкарауливают, отчего он, вобрав голову в плечи, изогнувшись весь, должен жить в страхе?

Но Аркадий Иванович, словно подслушав мысли Авросимова, не стал рассуждать об этом, а лишь засмеялся и сказал бодро:

— А мы-то с вами на что?

«Мы с вами» — это, конечно, да. Но ведь как оно бывает, когда ты, вознамерившись подвиг совершить, стоишь перед тьмой и тут свист раздается? И ты бежишь сломя голову! «Мы с вами...» И «мы» и «вы», не разбирая дороги, лишь бы жизнь свою спасти, скорее к свету, к свету, к малым огонькам.

— Вот вы, например, господин Ваня... На вас, например, государь и держится. А как же...

Но не успел наш герой что-либо ответить, как зна-

комые веселые ворота, похожие на глотку загулявшего ямщика, выросли перед ними.

— Вот они! — воскликнул Авросимов радостно и пошел под темными сводами.

— Ну, господин Ваня, — засмеялся Аркадий Иванович, — Бог очень соблюдает наш интерес, — и потер руки.

Они вошли в тот самый двор и повернули к флигелю. Однако флигеля не было. Вместо него в глубине двора громоздился небольшой каретный сарай с сорванной дверью.

Не буду утруждать вас, милостивый государь, подробным рассказом о том, как два наших молодых человека, поняв наконец, что произошла ошибка, кинулись в соседний двор, затем — в следующий, и везде их ждало разочарование. Словно тени, метались они от ворот к воротам вдоль набережной, странно взмахивая руками, скользя и увязая в сугробах, молча, с покрасневшими лицами, так что даже одинокий будочник, загоревшийся любопытством, а может быть, просто хмельной, пытался следовать за ними, но куда там!

Вы, наверное, успели заметить, что весь день носил на себе признаки необычайные, и только наши герои не понимали этого, так как были увлечены воспоминаниями и взаимной симпатией.

Наконец они остановились, тяжело дыша.

— Может, по тому ряду попробовать? — предложил Авросимов, указывая на противоположный берег Мойки. — Хотя, помнится, здесь был флигель проклятый...

— Плюньте, господин Ваня, — грустно сказал капитан, — может, завтра нам с вами повезет или еще когда. Не будем унывать...

И тут вдруг наш герой точно прозрел, воспоминация о первом посещении прекрасного флигеля вспыхнули в нем с новой силой, и он, вскрикнув нечто невразумительное, повлек за собой загрустившего было

капитана в соседние ворота, возле которых они и топтались, намереваясь отказаться от поисков.

— Здесь! Здесь! Торопитесь, Аркадий Иванович, друг бесценный, торопитесь!

Вот и ворота те самые. Вот и двор, вот и флигель заветный с темными окнами, завешенными изнутри тяжелыми малиновыми шторами...

Они летели к флигелю, обгоняя друг друга, спотыкаясь о сугробы, скользя по льду, подавая друг другу руки и хохоча, хотя и приглушенно, в меховые воротники, словно стараясь не растерять тепло радостного возбуждения.

Тяжелая дверь поддалась, распахнулась, старые петли взвизгнули напропалую.

В прихожей, все той же, горела толстая оплывшая свеча, и была пустота, и стояло молчание пещеры, но полет молодых людей был так стремителен, что они и не могли заметить сего, пока не скинули шубы прямо на пол, ибо принять их было некому, пока не вбежали в залу, где в камине трещали поленья и от молодого пламени распространялся колеблющийся свет.

Наконец они огляделись.

Это была та самая зала, милостивый государь, где недавно кипела жизнь и бушевали страсти, и наш герой никак не мог приспособиться к ее пустынности, и он ходил возбужденно по ковру из конца в конец, от карточного стола к тахте, от камина до распахнутой двери, бросив капитана на произвол судьбы.

В раскрытых дверях возникла и застыла фигура краснобородого мужика с поблескивающими глазами, так что Авросимов даже вздрогнул, пока не догадался, что на мужике отсвет каминного огня.

Мужик глядел на молодых людей с дерзким удивлением.

— Никого нет-с, — сказал он тихо, продолжая оставаться неподвижным.

— Что сказывали? — спросил Авросимов.

— Сказывали, мол, будут-с.

— Э-э-э-э, — протянул капитан, — мне это не нравится...

— А Милодорочка где? — спросил наш герой.

И тут мужик сделал шаг назад и исчез.

Капитан потер руки.

Наш герой, забыв ужасный рассказ своего нового друга и растворяясь в неге, источаемой камином и всей обстановкой знакомой залы, почувствовал себя свободно и легко и упал на тахту, раскинув руки, словно в траву, и всхлипывал от счастья и урчал, как молодой медведь.

— Вот здесь Милодорочка... а вот здесь Дельфиния... а там уж — Мерсиндочка! Все перевилося: руки, ноги... ух, ух, ангел мой драгоценный!..

— Ах, ах, потише, господин Ваня, — захохотал капитан, — а то испугаются, не придут, ха-ха... Куда же мы тогда? Куда же мы, бедненькие?! Опять в лес?!.. Ножки, ножки!.. Ух!.. Вы мне умастили, господин Ваня! Шуры-муры! Этого я вам не забуду!..

Авросимов плавно так перекатывался на тахте с боку на бок, словно погружался в теплую медленную реку и лениво шевелил рукой, отпихивая водоросли, потом выбирался на бережок, на солнышко...

— А Милодорочка... губки у нее мягкие, теплые...

— Ух, ух, господин Ваня, не травите вы меня!..

Мужик давешний появился в дверях, постоял, снова с дерзким удивлением оглядел разошедшихся незнакомцев и снова исчез.

— Однако долго нас морочат, — сказал Аркадий Иванович. — Что за дом такой! Хотя бы шампанского подали... Уж эти мне аристократы столичные!

— Нет, нет, вы послушайте, — захлебнулся наш герой в бурном потоке, — вы послушайте, как она ножкой делает, вот так...

— Господин Ваня, вы меня уморите, я уже чертей вижу... Да где же дамы, черт!

— ...как она вас за шейку пухлой ручкой... А мы-то с вами ищем, ищем, а он — вот он, флигелек разлюбезный. А еще у Дельфинии плечики вот так опущены, небрежно так, я видел через дверь, как ее по спинке гладили...

— Ой, ой! — хохотал капитан, весь извиваясь, утирая цыганские свои глаза. — Мягкая спинка? Мягкая?.. Шуры-муры!

Мужик заново просунул бороду в дверь. Борода шевелилась, как под ветром.

— Да где же дама? — крикнул капитан.

И вновь мужик исчез.

— Вы не расстраивайтесь, — сказал Авросимов, — не надо...

Лицо у Аркадия Ивановича было грустное, словно он только что и не смеялся. И наш герой почувствовал, что что-то не так на душе, как-то отвратительно, и нет уже этого сладкого предвкушения любовных утех, и свет огня в камине печален.

— А сознайтесь, господин Ваня, — вдруг с ожесточением проговорил Аркадий Иванович, — история моя вас сбила с толку, вы даже симпатию к полковнику Пестелю почувствовали... Ах, уж я вижу...

— Да что вы, — сказал наш герой. — С чего это вы? Вот уж нет... Вот уж нет... У меня к злодею только ненависть...

— Вы меня не укоряйте, господин Ваня, — продолжал капитан, — я бы мог моего полковника грязью полить. Тем более, он — государственный преступник. Но я страшусь проявить пристрастие, вот что. Кто мне тогда верить будет? Кто? Да и как за прошлое его теперь казнить? — и посмотрел на Авросимова. — Разве он не волен был относиться к людям по душевному влечению? — и снова внимательно посмотрел. — Вот у меня к вам симпатия, господин Ваня, а ежели бы наоборот? Разве меня за то корить следовало бы? Я, господин Ваня, очень эту науку понимаю, поверьте...

— А героизм-то ваш в чем? — выдавил наш герой со страстью, избобличающей в нем уже не прежнего юношу. — Во мне симпатии к злодею нету, нету! Но вы никак мне не раскроетесь. Я терпение потерял, Я вашего полковника вот как перед собой вижу. Я его не жалею, а хочу ваше участие в том понять...

— Господин полковник Пестель не может не вызвать симпатии. Люди, сильные своей страстью, даже губительной, всех нас весьма беспокоят и притягивают. И вы этого не стыдитесь, господин Ваня. Да вам бы не этим себя мучать, а найти себе предмет по душе и с ним в обнимочку — к матушке вашей, в деревню...

И тут наш герой как бы подхватил на руки Амалию Петровну, так что родинка ее заметалась, ринулся к дверям с нею пред ликом обеспамятевшего супруга и по лестнице, по лестнице, случайным гвоздем раскроив подол ее платья, и малиновый шелк забился, затрепетал по ветру, и горячую ее — в сани, под медвежью полость, и тут ветер, снег, запоздалые проклятья вслед, выстрелы, черт знает что!..

— Мне вас жалко, что вы мучаетесь так, переживаете, — сказал капитан участливо, — а был бы подле вас прекрасный предмет, чтобы он мог теплые свои руки к вам простереть и утешить...

Словно в чудесной сказке, источаемой жалостливыми цыганскими глазами капитана, белые руки Милодоры обвилились вокруг шеи нашего героя, вызвав в нем бурю всяческих горячих чувств. «Матушка, — крикнул он в душе своей, — благословите! Освободите вы меня от муки... С нею, с нею с одной, с Милодорочкою милой, хочу в любви коротать свой век. А господин полковник пусть получает по заслугам, что посеял, как он того добивался... А мне-то что?..» Так он призывал, переполненный любовью и отчаянием, ибо в его мощном теле, как видно, таилась душа, ранимая и еще не успевшая возмужать.

Лежа на тахте и предаваясь полубредовым сообра-

жениям, Авросимов вдруг почувствовал некоторую перемену в обстановке, и ему даже показалось, что в зале появились люди, тихие, как тени, и, погружаясь в медленный поток, он слышал далекий и знакомый голос Аркадия Ивановича: «...серая фигура Савенки кинулась в тень забора. Я не из робкого десятка, господа, но сердце мое дрогнуло, однако я справился с первым смущением и продолжал свой путь, положив про себя проучить дерзкого холопа...» Раздался тихий смех, и кто-то будто бы произнес: «Вы говорите, словно читаете...» И снова голос Аркадия Ивановича: «...и вот, едва отдрожали последние листочки на кустах, потревоженных мною, как долговязая фигура проклятого пса вынырнула из-за поворота...» Медленный, ленивый поток накрыл нашего героя с головой, и знакомый голос перестал звучать...

Все, что мной говорено, вовсе не означает, что я, преисполнившись сожалений к нашему герою, готов спасти его из цепких рук жизни, или, как еще говорят, фортуны. Нет, нет, уж пусть он получает свое, ибо всякое искусственное смягчение жизненных обстоятельств делает человека искусственным по отношению к окружающему. Так мы, милостивый государь, часто, сами того не замечая, проповедуем всякие там спасительные рецепты, а спустя некоторое время начинаем трубить отбой, ах поздно.

Но наш герой, слава Богу, был пока еще человеком натуральным, и деревенская закалка позволяла ему пока что уберечься от городского мира, полного искусственной прелести и придуманного очарования. И весь он, как свежий холщовый мешок, набитый не асигнациями, а золотыми, был чист и звонок и здоров духом. И кошмары (а ведь кошмарами ему представлялись обычные картины, которые мы встречаем ежедневно и к которым у нас в душах выработалось завидное спокойствие) не мешали ему хоть внешне-то сохра-

нять свой прежний облик, и щеки его были по-прежнему пунцовы.

И вот он наконец словно очнулся и с удивлением обнаружил, что лежит, раскинувшись, на тахте, лицом в ковер, прекрасный английский пистолет врезался в бок и причиняет боль. Видимо, он все-таки спал, потому что, приоткрыв глаза, застал следующую картину.

В креслах у камина, устроившись поуютнее, с лицами, обращенными к Аркадию Ивановичу, сидели неподвижно давешние знакомые Авросимова: Павел Бутурлин, тонкорукый и насмешливый, Сереженька, гренадерский поручик с черными усами, неизвестный толстяк, одетый в халат, из-под которого выглядывал офицерский мундир. Сидели еще какие-то люди, но они были скрыты тенью, были неподвижны и казались призраками.

Несмотря на каминное пламя, лица у всех были серы, словно сидящие разом надели на себя скорбные маски. На столике перед ними стояли бутылки и бокалы. Женщин не было.

— Господа, — тихо произнес капитан, видимо, продолжая свое повествование, — удивлению моему не было предела, когда я вдруг понял, что не ошибался, предполагая самое ужасное. Это был заговор, господа, адское предприятие, все нити которого сходились сюда, к моему полковнику. В первую минуту я было решил разубедить его, отговорить, уберечь от несчастья, но жалкие мои доводы и слабые, растерянные попытки только лишь озлобили его. Идеи, которые он проповедовал, так сильно охватили его, болезнь так поразила всю его душу и так стремительно распространялась на окружающих, что можно было ждать только катастрофы...

Тут Сереженька засмеялся. Все разом оглянулись.

— Как вы ловко рассказываете, — сказал Сереженька, — как будто читаете.

Но лица вновь поворотились к Аркадию Ивановичу, и он продолжал, полуприкрыв глаза:

— Что было делать мне?.. Вы знаете, господа, я еще в детстве...

— Нет уж, вы не перескакивайте, — потребовал Бутурлин.

— Хорошо, — улыбаясь на его нетерпение, согласился Аркадий Иванович и отпил из бокала.

Все тотчас отпили следом. Бокалы глухо стукнулись о стол. Воцарилось молчание на мгновение. Затем капитан продолжал:

— Мой полковник, господа, нравился мне все больше и больше. И я часами ломал себе голову, пытаюсь отыскать средство, чтобы отвратить от него беду. Мне нравилось в нем все: как он ходил, уверенно и твердо и вместе с тем легко, с грацией даже какой-то, нравилось, как говорил, медленно и чеканно, словно гвозди вбивал, нравилось, как спокоен был и слову хозяин, даже запах, исходящий от его тела, свежий, здоровый, словно он не расставался с ароматными мылами, нравился мне... И вот, представьте себе весь мой ужас по поводу разверзшейся перед этим человеком пропасти, в которую он сам стремится и пытается увлечь за собой и других... Нет, вы не можете себе этого представить... Сердце мое обливалось кровью, когда я думал, что грозит нам всем, если позволить полковнику развивать и дальше свои планы, и прежде всего — ему самому. Нет, нет, вы слушайте, слушайте. Тут-то самое главное и начнется. Я все это так понимаю, господа: видя полную безнаказанность своих планов и предприятий, он уже не мог остановиться, словно корабль, подгоняемый ветром, бежал он вперед навстречу собственной гибели. Посетовав сначала на бедственное положение народа, пришел он к мысли страшной, а именно — к необходимости уничтожения царской фамилии...

В этот момент наш герой, переполненный события-

ми дня, не успевший еще освободиться от сонного дурмана, в который погрузился так внезапно, по-молодому, едва не закричал. Только глухой стон вырвался из его души, но, покрываемый звоном бокалов, треском поленьев в камине, ровным, несколько возбужденным голосом Аркадия Ивановича, этот стон тотчас же и угас, едва народившись, так что никто и не заметил. Что же это такое? При упоминании о возможной насильственной смерти государя ни один из них, из присутствующих здесь, не вскрикнул, не ужаснулся, даже легкая дрожь не поколебала их серых насупленных лиц. А Сереженька, тот уж и вовсе отхлебывал вино мелкими глотками, словно Аркадий Иванович сообщал не страшные сведения, а так, рассказывал утомительную историю своей жизни. Что же это такое? Уж не притворяются ли они?

И тут же наш герой снова узрел государя в том же виде, как и обычно, — маленького совсем. Государь бесшумно прокрался по зале и остановился неподалеку, грызя ноготь и прислушиваясь. Однако страха не было в его лице, как раньше, брови хмурились, а ноздри раздувались, правая рука тянулась к шпаге: вот-вот выхватит. Таким решительным наш герой еще его не видел, и это даже показалось ему смешным: чего, мол, пыжишься да куражишься, и на тебя управа есть.

А ведь действительно, всего насмотревшись и наслушавшись, и подумаешь однажды: а в чем дело? Или мало вас учили? Вон мне как Бога все вас показывают, все поучают вашим именем, а какой вы Бог? Вы вон маленький какой да тщедушный, да за вами охотятся, как за зайцем...

И наш герой чуть было не засмеялся в лицо государю, ощущая свою молодость, силу, окруженный прекрасными людьми и достойными такими, которые все понимают и видят, и вон как сидят, переживают рассказы Аркадия Ивановича, ибо нельзя их, наверное, не переживать и оставаться безучастным, когда Аркадий

Иванович такое испытал ради своего отечества... Хотя, впрочем, Пестель ведь тоже ради того же самого беспокойства имел... Что же они не сошлись? Да и государь ради всех старается... Пестель вон ради всех заговор устроил... Эти тоже вот сидят с серыми лицами... Может, тоже заговор? Неужели, кабы я царем был, меня бы тоже ус-тра-нить пожелали бы? Я бы всем волю дал, зачем меня ус-тра-нять? А вот поручик гренадерский выпил бы и ус-тра-нил, непременно.

Наш герой почувствовал, что лицо его покрылось потом, и глянул на поручика. Тот сидел, расстегнув мундир, откинувшись, и поматывал головой, видимо, уже крепко был во хмелю. Лицо его, как и у всех, было серым, словно не было ему покоя от забот каких-то и несчастий.

Тем временем, не совершив ничего значительного и, видимо, тоже не утешившись, государь незаметно исчез.

— Что же он в ней такое проповедовал? — спросил толстяк, кутаясь в халат. — В своей конституции?

— Мне даже говорить об этом страшно, — сказал Аркадий Иванович и одним махом опрокинул бокал. — Посудите сами, как мне об этом говорить, когда я сему противник...

— Говорите же, черт возьми, — потребовал Бутурлин. — Вот он, например, утверждает, что ничего такого и не было. Это он вчера на допросе утверждал. Что, мол, не было никаких документов, никаких конституций...

— Так ведь я сам видал, — мягко перебил его Аркадий Иванович с доброй своей цыганской улыбкой. — Он мне ее сам листал, читал. Я даже зеленый портфель помню, где она хранилась, а как же... Своими собственными глазами...

— Да что вы заладили все одно: глазами, глазами, — рассердился гренадерский поручик.

Впрочем, те, что находились в полутени, незнако-

мые нашему герою господа, продолжали сохранять неподвижность и спокойствие, и только отполовиненные бокалы, приподнятые над столом, едва покачивались в их руках.

— Да, — торопливо сказал Бутурлин, — странно получается: он одно говорит, а вы — другое. Почему же у меня к в а м вера должна быть?

— Господа, — сказал Сереженька, — дайте же Аркадию Ивановичу рассказать. Он так рассказывает, словно роман читает... Ну не все ли вам равно?

Тут Аркадий Иванович засмеялся, польщенный словами Сереженьки.

— Я, господа, готов вам рассказывать. Постараемся. Мне даже от этого легче, что я среди своих нахожусь, которым выпало, как и мне, совершать справедливость...

— А что же он в ней такое проповедовал? — снова спросил толстяк.

— Извольте, господа, — согласно кивнул наш добрейший капитан. — Еще до того как вышла вся эта история с казенными суммами, от которой я лет на пять постарел, полковник мой в доме своем, ведя разговор о разных политических своих прожектах, извлек из шкафа этот зеленый портфель и вытащил пачку листов, аккуратно исписанных.

— Вот здесь, господин Майборода, — сказал он, — таится сгусток многолетних раздумий... О, это не должно попадать к н и м в руки! Когда Россия сможет воспринять это к действию, благоденствию ее не будет конца, — и он горько усмехнулся, — хотя в последнее время моя реформаторская деятельность перестала мне казаться столь прельстительной, как вначале, — и он бегло перелистал рукопись, — есть люди, которых слово «республика» приводит в ужас...

Скажу вам по совести, господа, что доверие полковника было мне лестно, но одновременно причиняло боль...

— Каков! — громко сказал толстяк.

— Что? — не понял Аркадий Иванович.

— Да вы пейте, пейте, — налил ему Бутурлин.

— Вы удивительная личность, — промолвил Сереженька с отчаянием. — Вы мне нравитесь, сударь, — и обнял его за шею, и стал чуть не душить, отчего Аркадий Иванович весь побагровел, и, продолжая дружелюбно улыбаться, все-таки старался освободиться от любвеобильного молодого человека. Наконец это ему удалось, а может, Сереженька сам ослабил объятия, отвалился от капитана и сказал: — После наших утомительных занятий прекрасно слушать ваши истории...

Бутурлин засмеялся. Аркадий Иванович, оправив мундир, выпил свое вино.

— Как же это вы будто бы полны любви к своему полковнику, — заметил гренадерский поручик, — когда сами же утверждаете, что он холоден, суров и просто маленький Буонапарте?

— Это не я утверждаю, — сказал Аркадий Иванович, быстро и послушно поворотившись к поручику, — это его же друзья утверждали, что у него душа железная... Они о его душе часто толковали...

— А что же он все-таки проповедовал в своей конституции? — спросил толстяк.

— Да не сбивайте вы его вопросами! — потребовал Сереженька. — Интересно ведь как. Ну а дальше-то что? Дальше-то...

— А дальше? — медленно произнес капитан. — Что же дальше? Дальше, верите ли, навис надо мною суд. И понял я, что пощады от моего полковника мне не ждать...

— А может, он, ваш полковник, догадался о ваших намерениях? — спросил Бутурлин.

— Да не перебивайте же! — взмолился Сереженька.

— Нет, грустно ответил капитан, — догадаться он никак не мог. Он меня ценил, я ведь чертовски подат-

лив был, ему ведь лестно было слышать мое одобрение. Людям это страсть как нравится, уж я знаю...

— Каков герой! — воскликнул толстяк. — А вы? — обратился он к остальным. — Вам бы лишь баклуши бить!

— Нет уж, — сказал гренадерский поручик. — Я господина Пестеля до самого Петербурга конвоировал... Нет уж, увольте-с... Я свой долг выполнил. Этого забыть невозможно, как это все было. Да я уж имел честь рассказывать... Уж вы меня увольте...

— А я, а я? — закричал Сереженька. — Как я Щепина на площади вязал!.. Как в атаку ходил!.. Я по-о-омню!

Аркадий Иванович с изумлением поворачивал голову то к одному, то к другому, с жадностью внимая их откровениям.

— А мне и посейчас приходится за стулом военного министра топтаться и видеть все, — сказал Бутурлин. — Все через мои глаза проходит и уши, и на сердце падает, и там лежит... Когда бы я в полку служил, ты бы мог так говорить с укором, а я во всем этом просто варюсь, варюсь, и все...

— Все молодцы, все! — засмеялся толстяк. — Один я бражник, черт!

— Вот видите, господа, — сказал Аркадий Иванович, — как жизнь всех нас связала, а мы-то и не ведали того... Вот видите?.. Как мы с вами одинаково ринулись разом для спасения отечества, как грудь свою подставили...

В этот момент нашему герою показалось, что Аркадий Иванович значительно отодвинулся и рассказывает откуда-то издалека, так что и голоса его не слышно, а только видно, как разводит руками и стучит себе в грудь кулаком. Потом он и кулака уже не видел, так все это отодвинулось.

Когда он вновь проснулся, картина перед ним была все та же, все так же сидели вокруг Аракия Ива-

новича, но уже мундиры были расстегнуты у всех, да и словно теснее стал кружок, а может, это выпитое клонило их в одну сторону, поближе к капитану.

— Я знаю, как с Трубецким получилось, — сказал толстяк, — князь был в доме батюшки, comme l'enfant de la maison¹. Он и сам, бедняжка, не опомнился, когда его нашли у тещи, графини Лаваль, и объявили ему, что он выбран в диктаторы...

— Да я же говорю, — сказал гренадерский поручик, — что это неосмотрительность ихняя, спешка... Я это осуждаю. Не связывались бы они с Трубецким, было бы больше толку...

— А графиня Лаваль, рассказывают, — засмеялся толстяк, — в это время сидела у себя и дошивала з н а м я с в о б о д ы... Каково?

— Господа, не надо об этом! — взмолился Сереженька. — Вы пейте себе... Забывайте все... Я не люблю о неприятном... Не надо!

— Ах ты моя дунюшка! — захохотал Бутурлин.

— Не-ет, — сказал Аркадий Иванович, — мой полковник — это вам не Трубецкой. Он бы сам себя диктатором нарек, случись что...

— Говорят, — продолжал толстяк, — еще за год до этой несчастной вспышки он часто говаривал: «Maman, donnez moi de la foi. J'ai besoin de foi»². Не было ее у него, что ли?

— Матери попрежде этого должно было бы этим заняться, — сказал Аркадий Иванович. — Вот вам и вера. Ах, но я любил полковника моего, да и сейчас люблю, верите ли... Вот крест святой. Ну все ему прощаю...

— Вы ангел, — засмеялся Бутурлин. — Неужто все?

— Все, — сказал капитан.

¹ Как член семьи (*франц.*).

² Матушка, дайте мне веру. Мне необходима вера (*франц.*).

— А то, что он вас третировал и его друзья? А замыслы его?..

— Все, все...

— Каков! — сказал толстяк с восхищением.

Они все так наперебой восхищались Аркадием Ивановичем, что нашему герою стало даже совестно, словно это ему курили фимиами, его на руках носили. Да, да. И каждый норовил чем-то там выделиться из общего-то хора, какую-нибудь уж такую славу ему загнать, чтобы все остальное померкло.

— Нет, вы только поглядите, — воскликнул Сереженька, — мы здесь считаем себя виновниками благоденствия, спасителями, а мы, черт возьми, ничтожества рядом с вами, господин Майборода! Вы нам всем нос утерли, утерли!

— Каков гусь! — сказал толстяк, хлопая Аркадия Ивановича по плечу. — Ты мне нравишься, Майборода... Дозволь, я тебя на «ты»... Дозволь, я тебя поцелую... Вот так...

— Нет, нет! — закричал Сереженька. — Это я его поцелую! — и он снова обхватил нашего капитана за шею, так что капитан побагровел.

— Я бы на его месте так не сообразил, — сказал Бутурлин, — как он, хитрец, умно действовал, как тонко, bestия!.. Вы пейте, пейте, капитан, чего чиниться?

— Я не чинюсь! — хохотал Аркадий Иванович. — Я пью, господа. Мне с вами тепло... Ах, были бы мы в Линцах, верите ли, я велел бы в музыку ударить.

Пока там, у стола, продолжалось общее ликование и форменный грохот стоял вокруг, и звон, и свист, Сереженька подбежал, качаясь, к Авросимову и подсел к нему на тахту.

— Свет наш Ванюша, радость наша, а он и не спит, подслушивает...

Тут и Бутурлин подскочил, вцепился тонкими, холёными руками Авросимову в бок, стал щекотать его, приговаривая:

— А он не спит, не спит, штрафного ему, Ванюше, штрафного!

Принесли большой бокал с шампанским. Авросимов выпил его в два счета и готов был закричать от радости встречи, которая так трудно ему давалась нынче, да он все ж таки ее не упустил...

— Откуда вы этого капитана раздобыли? — спросил его Бутурлин шепотом.

— Случай свел, — также шепотом отозвался наш герой, удивляясь серому цвету лица кавалергарда.

Тут ему снова поднесли и он еще выпил. Теперь и в нем кровь заиграла, потолок улетел куда-то, неведомо куда, стены распались, ударил ветер, весь синий от трубочного дыма, рыжая голова Авросимова, озаренная каминным пламенем, замельтешила, словно большая головня выскочила из камина и пошла гулять по свету. Толстяк, задирая полы халата, отплясывал невесть что, гренадерский поручик раскачивался у окна, как заводной, Сереженька снова душил в объятиях Аркадия Ивановича. Все кружилось и исчезало в тумане, и возникало снова. И только остальные господа, что были незнакомы нашему герою, по-прежнему сидели неподвижно, вполоборота к пламени, с недопитыми бокалами в руках.

Тут Сереженька протянул нашему капитану полный бокал.

— Вы меня очень обяжете, коли весь его, да дно...

Аркадий Иванович вяло так посопровтивлялся, но выпил и спросил:

— А где же нежный предмет? Мне господин Ваня обещал...

— Бабы, что ли? — спросил Сереженька.

— Хай буде так.

— Милодорочка?

— Да хоть кто...

Толстяк подплясал к ним.

— А что ты с нею будешь делать, Майборода:

— Канашечки, — сказал капитан. — Под левой рукой — спинка, а под правой — что?.. Постарайся!..

— Ах, шалун!

— Эй! — крикнул гренадерский поручик от окна.
— Полночь миновала!

Самое удивительное, милостивый государь, заключалось в том, что в общем этом буйстве и безумстве страстей и чувств, в этой, можно сказать, вакханалии, к которой вы, наверно, успели попривыкнуть уже, ибо я вас пичкаю всем этим отменно, в этом хмелю, к которому они все тянулись как к освобождению от тягот дня и мрачных раздумий, наш герой ощущал себя бодрым, со свежей головою, словно и не пил, хотя, поддавшись общему разгулу, бил подушкой о тахту и выкрикивал всякие несусветности, напоминая молоденького бычка, сломавшего наконец тесный свой загончик и скачущего от всего сердца по свежей траве да по кузнецикам.

Вдруг совершенно внезапно буйство стихло. Наступила тишина, лишь поленья потрескивали безучастно.

Посреди залы стоял Аркадий Иванович, прикрывая щеку ладонью.

— За что? — спросил он тихо и кротко.

— Милостивый государь, — сказал Бутурлин, опуская свою тонкую руку, — вы только что нанесли мне оскорбление, непристойно отозвавшись о моей даме...

— Да причем тут дама?! — изумился Сереженька.
— Бутурлин, Бог с тобой!

— Уймись, — сказал толстяк, — ты ничего не понял, — и отстранил Сереженьку.

— Нет уж, — сказал Сереженька, — ты, Бутурлин, не смеешь эдак... Ты уж, будь добр, все скажи, как есть... Зачем же темнить?

— Ты ничего не понял, — сказал Бутурлин спокойно.

— Он ничего не понял, — повторил за ним толстяк. — Уймись. Все правильно.

— А-а-а, ну, натурально, — спохватился молодой человек. — Как же это можно — даму оскорблять при нас...

Бутурлин сделал шаг к капитану. Наш герой бросился было разнимать их, но остановился. Что-то мешало ему стронуться с места, а что — понять в этом сумбуре было невозможно.

— Ну что же вы! — вдруг крикнул Майбороде Сереженька. — Что же вы так стоите?!

Но милейший Аркадий Иванович, обескураженный немислимым оборотом дела, продолжал стоять, не помышляя о действии, и даже улыбался жалко.

— Нет, ты должен проучить его, Бутурлин, — потребовал толстяк. — В моем доме!.. Это неслыханно, чтобы в моем доме... о Милодоре... и вообще о нимфах...

— Да ведь я ее не знаю, господа, — сказал Аркадий Иванович, не выпуская руки Бутурлина из виду. — Я ведь предполагал...

— А, черт! — сказал гренадерский поручик. — Он предполагал... Это вам не Линцы ваши чертовы!

— Да причем тут Линцы? — изумился Бутурлин. — О дамах речь, о да ма х! Он даму оскорбил, и все тут... Причем Линцы?

— Он мне отвратителен! — закричал Сереженька. — Он за себя постоять не может!.. Да вы хоть обидьтесь, обидьтесь... Он же оскорбил вас! Он ведь вам по щеке залепил!..

— Господа, — еще тише и еще покорнее отвечивал Майборода. — Я никого не хотел... То есть я никогда... Верите ли, я готов извиниться...

— Да тебе бы лучше просто оставить нас, — сказал толстяк. — Уйти отсюда... из моего дома. Боюсь, что наш друг вмажет тебе еще раз.

Наш герой увидел, как изящный кавалергард заносит руку, как медленно, не сводя с него глаз, отстра-

няется беспомощный капитан, но опять не ощутил в себе желания броситься к ним, отстранить друг от друга, разнять.

И тут кавалергард ударил вновь. Аркадий Иванович охнул и отшатнулся.

— Тут что-то не так! — крикнул он в отчаянии. — Не так!

— Так, так, — сказал гренадерский поручик.

Майборода медленно пятился к дверям. Остальные на него надвигались. Те, незнакомые офицеры, продолжали сидеть неподвижно, вполоборота к огню, с отполвиненными бокалами в руках.

— Вы не смеете меня бить, — выдохнул Аркадий Иванович. — Это бесчестно..

— Ах, он о чести понимает!.. — крикнул Сереженька. — Вы бы лучше о чести там понимали, тогда... а не тут..

— Где? — спросил капитан Майборода. — Где?

Но третья пощечина помешала ему. Он круто повернулся и выбежал вон из зала.

— Трус! — вслед ему крикнул Сереженька. — Ничтожество!

Было слышно, как хлопнула дверь и как в ночной тишине проскрипели шаги под окнами.

В молчании все расселись снова у камина. Незнакомые офицеры исчезли. То ли они удалились вслед за капитаном, то ли их не было вовсе.

Когда наш герой покинул наконец этот гостеприимный кров, так и не проронив ни слова, он в первую минуту никак не мог определить, куда ему направляться. То ему казалось, что он в Линцах, что он — полковник и его мучают подозрения относительно капитана, то он видел себя тем самым капитаном, торопящимся к своему дому, и тогда он начинал торопливо семенить по пустынной мостовой, так что даже будочки удивлялись вслед. Вы, милостивый государь, читаете все это, уютно устроившись в теплой комнате,

слыша гудение самовара из столовой, вдыхая ароматный запах сдобных плюшек, приготовленных для вас к ужину, вы читаете все это, как счастливый человек, избавленный от страстей того времени, чуждый всяким возмутительным порывам, удивленно вскидывая брови при словах «донос», «казнь» и тому подобных, и вам, наверное, представляется все это даже выдумкой моей, фантазией... Нет, нет, милостивый государь, все было именно так, даже еще почище, хотя я при всем желании не берусь, да и не смог бы охватить всего, а потому выхватил из этого несколько случайных жизней, а уж вы сами там домысливайте остальное, ежели не боитесь, что чай остынет.

Утром следующего дня голова у нашего героя не болела, как этого можно бы ожидать, и никаких тягостных воспоминаний, как молодцы офицеры били по щекам доброго капитана, не сохранилось. Все словно так и должно было случиться, и это не разум говорил, а, видимо, сердце, ибо и противуречия в сем не усматривалось. А почему? Вот тут, милостивый государь, я бессилен что-либо объяснить вам, а посему надеюсь, что вы, вникнув в повествование, сами наконец многое сможете для себя узнать, да еще и мне раскроете.

Единственное, уж ежели говорить начистоту, что преследовало нашего героя утром следующего дня, так это мысль о прелестных нимфах, которых он так и не увидел, и об Амалии Петровне с ее многозначительной родинкой, об той самой Амалии Петровне, которая и надежд никаких не подала, и разговор вела престранный и даже, может быть, предосудительный, но маячила перед глазами и жаждалась.

Вы-то, милостивый государь, посмеиваетесь над сими словами, ибо что может значить рассуждение о женской родинке перед ликом других, более значительных тем, которые я вам называл, но не торопитесь смеяться.

Конечно, мы-то с вами весьма понимаем, что не просто и не только вожделение правит юношескими сердцами, что есть еще некая тайная материя, которой и названия не подыщешь и которая все и творит в нас и преобразует, хотя в наше время многие склонны с сим не соглашаться: мол, все проще, и люди, мол, проще, и нечего, мол, усложнять, а поглядите на человека пристальнее: если что и есть в нем сложного, так это всего

лишь одежда, а вообще-то никакой сложности, и тому подобное. Но как же не сложен человек, когда он мечется и путается в своих поступках, одно и то же любит и опровергает одновременно, весь как бы оброс мучительными вопросами, а что касаясь до вожделения, так ведь это временно, это, милостивый государь, природа, и не нам с нею спорить. И вы не верьте, не верьте, будто все просто, и мне не верьте, что наш герой, все начисто отринув, видел перед собой лишь очаровательную и таинственную родинку Амалии Петровны, ибо где-то там, внутри, куда нам с вами проникнуть невозможно, все увиденное ложится и легло уже кирпичик к кирпичику, ровнехонько так, и до самой смерти, до последнего часа будет лежать, и никуда от этого не уйдешь, не избавишься. Потому что, как я имел уже удовольствие объяснить вам, душа наша имеет способ защищаться от истинных тягот и страданий и временами притушивает их, чтобы нам не обезуметь, а оставляет страдания легкие, мнимые даже, страдания л ю б в и, которые натуры слабые принимают иногда за страдания истинные.

Простите меня, Бога ради, что отдаляю вас от жизнеописания нашего героя, болтая о всяких посторонних предметах, но, ей-богу, так уж я натерпелся от нынешних горе-философов и деятелей всяких, рассуждающих о мнимой простоте молодых людей, что не могу не сказать, ибо они заботятся лишь о своем собственном спокойствии, утверждая это, потому что в противном случае следует им взять на свои плечи заботу да выяснить: что, как да почему, а им по лени ихней да по невежеству это недоступно.

Теперь позвольте вернуться к нашему герою, хотя я не буду утруждать вас подробностями относительно того, как он проводил свой день, а начну прямо с вечернего заседания в известной вам Следственной, где Авросимов, уже освоившись, готовился строчить свои протоколы.

Наконец бесшумно, как всегда, гуськом, словно и незнакомы друг с другом, потянулись в залу члены комитета и заняли свои места.

Бутурлин вырос за креслом Татищева, ожидая распоряжений, изящный и свежий, не напоминая человека, который еще только вчера безумствовал во флигеле напропалую. При виде Авросимова он едва улыбнулся ему уголками губ и кивнул тоже незаметно.

Солнце уже давно зашло, и январские сумерки охватили комендантский дом, крепость, Санкт-Петербург и весь мир.

По белому изразцу печки-голландки ползала невесть откуда взявшаяся муха.

Белые толстые свечи медленно оплывали, и от их неровного пламени рождались неровные ускользающие тени.

Авросимова тянуло ко сну, а работа только началась. А что же дальше-то будет, Господи!

Занятый этими невеселыми размышлениями, он и не заметил, как распахнулась дверь, произошло легкое движение, суэта, а когда поднял голову, полковник Пестель уже сидел в своем кресле и глядел на пламя свечи. Лицо его поразило нашего героя. Осунувшееся и землистое, оно вызывало чувство тоски страха, да и взгляд был болезнен и скользящ. И этот скользящий взгляд, рассеянно и привычно охватив раскинувшуюся перед ним панораму окон, кресел, стен и лиц, остановился на лице нашего героя.

И Павлу Ивановичу стало уютнее при виде Авросимова, а почему, он и объяснить бы не смог. Нет, не ждал Павел Иванович от него спасения и в могущество бедного служителя верить не мог. Нет, нет, но, может быть, во мраке, постигшем полковника, голова Авросимова горела, как огонек, и в глазах шевелилось готовое проснуться участие? Ах, становился сентиментальным злодей и деспот... Холодный и трезвый, намучившийся во тьме и сырости и неизвестности, он стал

ценить то, чем раньше пренебрегал... Не потому ли, всякий раз входя в Следственную, взор свой обращал на угол, где томился наш герой? Ибо перспектива, раскрывающаяся перед ним, удручала его все больше и больше, и из сырости каземата, из мучительных бурь, сотрясающих его душу и тело, все более явственно проступал исход, а именно — позорная солдатчина, которой теперь уже не миновать, и сколько она будет продолжаться — год, два, десять, вечно, — никому не известно, а может быть, и в самом деле вечно.

Нет, не солдатская лямка пугала Павла Ивановича и не позор пленника, а вечность! Та самая вечность искупления греха, в которую толкают его все, все, от курьера до военного министра, от тюремщика до молодого царя... Все вот эти, сидящие и стоящие перед ним.

И наш герой, отворотившись от полковника, тоже подумал, что вот все, все, и он в их числе, навалились на скрученного злодея, а чего ж на него наваливаться, когда он и так готов: вон руки дрожат и взгляд блуждает.

Отворотившись от полковника, он снова увидел всех. Теперь снова все они были представлены вместе, но что-то такое в этой вечерней зале было ново, как-то они все выглядели по-новому, как будто и не на следствии восседали, а перед званым обедом, в гостях.

Военный министр был почти что весел, хотя и старался это скрыть; граф Чернышев играл своими пальцами, то разминая их, то собирая в кулак, то по бакенбардам проводил ладонью, и казалось, вот сейчас соорудит на груди салфетку и потянется к еде; генерал Левашов и правитель дел Боровков улыбались друг другу; на всех лицах поигрывали некие расслабленные блики, словно от предвкушения пиршества; адъютанты, фельдъегери, курьеры мелькали, как ночные птицы, проносились на носках бесшумно, легко и таинственно.

И вообще, милостивый государь, было так тихо во-

круг, так благостно, от свечей распространялись такие сияние и аромат, военный министр был так улыбочиво настроен, что казалось, все сейчас рассмеются и встанут, с шумом отодвигая кресла, и провинившийся полковник вскинет голову, и щеки его зальет счастливый румянец. И действительно, подумал наш герой, как это возможно так долго и безысходно мучать друг друга. И это уже входит в привычку, и так будет тянуться теперь вечно, только полковник, насидевшись в цепях в сыром-то каземате, сник, и лицо его подернулось печалью. Вот уж и январь на исходе. Ах, но тем не менее как много их всех на одного! Как много нас-то на него одного! Даже он, Авросимов, строчит на бумаге, высунув кончик языка, чтобы, не дай Бог, слова не пропустить, чтобы их благородие правитель всех дел Алексей Дмитриевич Боровков не остался недоволен. А злодей тем временем, бледный и изможденный, не Пугачев какой-нибудь, а дворянин, полковник, любимец, здесь, в кресле, в костюме из серой нанки, в цепях!

Ну, а те, которые с полковником были, которые верили ему, клятвы давали, те, которым он верил, они, которые здесь вот распинаясь и страх свой выплясывали, раскаивались, они-то что же? Господи ты боже мой!..

И тут с громким стуком ударила о стол чья-то табачница, ускользнув из неловких рук, и Чернышев спросил у Павла Ивановича беззаботно и по-приятельски даже:

— Я бы вас, господин полковник, еще кой о чем спросить бы хотел, да боюсь, вы опять запираетесь станете.

— Спрашивайте, ваше сиятельство, — устало отозвался Пестель, — на то я и пленник, а что касемо за-пираательств, так это зависит от моей причастности. Уж ежели я непричастен...

Генерал пожевал губами, поморщился.

— Ну вот, к примеру, зеленый портфель ваш, об-

наруженный в доме вашем в Линцах, оказался совсем пуст... К нему-то вы причастны?

— К портфелю? — удивился Павел Иванович.

Авросимов услышал тихий смех. Кто смеялся — было не понять. А может, это и показалось. Военный министр производил впечатление хмельного, хотя в это и можно было верить, ежели помнить, как давеча, нет, третьего дня он пил из графинчика наедине с самим собою.

Но Чернышев удивления полковника не заметил, а продолжал:

— А хранили вы в нем установления общества, именуемые «Русской Правдой», вами самими написанные...

Полковник закрутил головой быстро-быстро, начисто отрицая сие, как тягчайший вымысел.

— В сентябре, — продолжал Чернышев, — выходя из Линец на маневры, кому поручали вы на хранение сей портфель замкнутый и для чего?..

Тут наш герой оторвался от своей тетради. Павел Иванович, звякнув цепью, провел ладонью по крутому лбу. Было молчание. Члены комитета, адъютанты и фельдъегери разглядывали его, как диковину. Авросимов затаился, предчувствуя недоброе, ибо понимал, что круг сужается, что только немецкое упрямство полковника-злодея оттягивает конец...

И тут полковник заговорил и наш герой прищпорил застоявшееся перо.

«В сем партфели никада ни хранилис никакия законы опщиства ибо таковага никада ни знал...»

Не знал? Ах он бес! Как же это он, подумал наш герой, вспомнив рассказ Аркадия Ивановича и как толстяк во флигиле лез с вопросами: что он там проповедовал?

Генерал Чернышев протянул графу листок и усмехнулся. Павел Иванович усмешку заметил и потряхнул головой, словно освобождался от наваждения. И уже

не ждал приглашения, а сам обреченно так протянул руку за листком, который, словно белокрылая птица, медленно облетел весь стол и опустился, затрепетав, к нему на ладонь.

«А вдруг в сем листке помилование стоит?» — подумал наш герой с надеждой, но тут же спохватился, да и граф глянул на него быстро и с подозрением, черт! Старый черт! Провались ты, сгинь, надоел!

Павел Иванович тем временем бежал взором по бумаге, закончив чтение, с минуту посидел неподвижно, затем сказал еще более устало:

— Я мог, уходя на маневры, дать кому на сбережение сей портфель, в котором хранил драгоценные письма родителей, на случай могущего быть пожара, и считаю, что сие невинное обстоятельство перетолковано самым несправедливым образом...

Граф Татищев махнул пухлой рукой и нахмурился. И тотчас кинулся Бутурлин к Павлу Ивановичу и зашептал ему на ухо и полковник пожал плечами, встал с кресла и зазвенел цепями, направляясь в дальний угол залы, где ему торопливо подставили другое кресло, усадив его лицом к стене и затылком к происходящему.

Затем распахнулась дверь и Бутурлин подвел к столу Аркадия Ивановича. Наш герой старался всякими способами обратить на себя внимание капитана, теребил свой вихор, качал головой, ронял перо, но все было безуспешно. Капитан замер у стола спиной к полковнику, и лицо его изобразило такую смертную муку, что жалость раздирала, на него гляючи.

— Ну, — сказал граф, — ответствуйте, господин капитан, обо всем, что вам известно касательно установления, именуемого «Русской Правдой»...

Аркадий Иванович помолчал, ладное тело его раскачивалось из стороны в сторону, как подвешенное.

«Да неужто можно и сейчас, — подумал Авросимов, — и сейчас бить этого поверженного полковника

таким способом?! Да вы покажите ему все допросы, все листки с признаниями! Да не мучайте его и себя! Игру придумали!..»

— Ну, — сказал граф в ожидании.

Аркадий Иванович увидел Авросимова, и лицо его скривилось.

— Ну, — нахмурился граф, следя за его взглядом.

Аркадий Иванович молчал.

Военный министр шепнул что-то генералу Чернышеву, а сам закрыл глаза, задремал.

— Ну, — сказал генерал Чернышев.

— Я уже имел честь докладывать неоднократно...
— выдавил бравый капитан. — Имел честь... неоднократно...

— Ну, ну, — подтолкнул его Чернышев. — Сдается мне, были вы решительнее...

— Ваше высокопревосходительство, — сказал Аркадий Иванович, — я постараюсь, ваше высокопревосходительство, постараемся...

— Ну, — сказал граф.

— С того времени как полковник Пестель принял меня в злоумышленное общество, он был со мной откровенен...

«А чем вы ему, сударь, платите за откровенность?..»
— подумал наш герой.

— ...и неоднократно читал мне черновые законы «Русская Правда»...

Пестель был недвижим.

— ...и другие сочинения, рукой его писанные, поясняя словесно все то, что могло ознакомить с целью и планами злонамеренного общества...

«...с целью и планами общества...» — писала рука нашего героя, немея от напряжения.

Так говорил капитан, все более выпрямляясь, переставая раскачиваться, словно собственные слова излечивали от недомогания, которое минуту назад сгибало его жилистое тело, и уже загорались цыганские гла-

за, и уже на нашего героя глядел он не вопрошающе, а снисходительно, а может, и с любовью, трудно было установить. Он говорил все громче и громче, и даже правая его рука сорвалась со шва и изогнулась, выдавая темперамент капитана; ах, ему уже было легко, минутный страх улетучился, сгинул, уже ничего не было слышно, только голос Аркадия Ивановича, счастливый и звонкий, словно он пел свои малороссийские песни, и две руки взлетали одна за другой и вместе, заставляя метаться пламя свечей, отчего тени сидящих метались тоже, словно отплясывали под музыку капитана...

— ...Ежели благоугодно будет вам, господа, — пел капитан, — удостовериться в сей истине, то повелите прибыть кому-либо Киевской губернии сельцо Балабановку, где расквартирована вверенная мне рота, и я укажу место...

Павел Бутурлин вперил свои стальные глаза в лицо капитана, но Аркадий Иванович, встретив его взгляд, продолжал неудержимо и отчаянно, и в этом, милостивый государь, было даже что-то прекрасное, потому что редко ведь бывает возможность увидеть человека раскрывшим свою душу, а тут, на — поди, никакой узды.

— ...Майор Лорер и денщик Савенко, — пел капитан, — по замечанию моему, надо мной надсматривали!.. Майор Лорер, преданный Пестелю, много раз приходил ко мне и разными изворотами в разговорах старался узнать мысли мои об обществе... Он говорил, что в Линцах есть от правительства шпион...

Песня Аркадия Ивановича становилась все торопливее и сумбурнее, но на горячем лице было столько вдохновения, что и упрекать его за торопливость было грешно.

— ...Полковник Пестель бумаги свои спрятал в бане, а Лорер сжег сочинения Пушкина...

Милостивый государь, уже это была не песня, нет,

это была полная вакханалия, ежели вам угодно. Голос Аркадия Ивановича излетел до предела, он звучал пронзительно, словно серебряная труба кричала тревогу или сбор или что там еще... Уже невозможно было уловить истинный смысл, а так, отдельные слова, вразнобой, каждое само по себе, вырывались из-под мягких усов капитана и ударялись о стены. Можно было подумать, что по залу начинается ураган — так металось пламя свечей, — что сейчас рухнут стены под давлением этого голоса, жаждущего простора, которого тут не было, ибо откуда ему быть в крепости, простору, милостивый государь, откуда?

Можно было подумать, что это последний день света наступил внезапно — так дрожало и колебалось все перед взором нашего героя, который и строчил, и глядел, и мнение свое обдумывал, и ужасался, и ликовал вместе с поющим капитаном. Воистину, милостивый государь, и может быть, впервые в сем мрачном убежище отчаяние человеческое звенело с таким невообразимым ликованием. И уже казалось, что нет у капитана рук, нет рук, а только — крылья, сильные и стремительные, и они несут его вместе с его ликованием по залу, который вдруг раздался. Свечи горели неизвестным огнем — зеленым, красным, синим, огонь был высок, по светло-коричневым стенам раскинулись розовые фигуры, и то ли под колеблющимся пламенем, то ли сами по себе они шевелились под музыку капитана, изгибались, тянулись друг к другу, сплетаясь телами...

А капитан все пел, захлебываясь от своего счастья, так что белые зубы его посверкивали и цыганские глаза вращались все скорей да скорей, ведь все вокруг были свои: и фельдъегери, и курьеры, и генералы, и писари, и адъютанты, и сам военный министр; здесь можно было петь и даже надрываться, потому что ужасы прошлого схлынули и от песни, от ее чистоты, высоты, звонкости зависело будущее...

Все были свои...

Ах, милостивый государь, поглядели бы вы на эту картину глазами нашего героя! Один за другим, подавшись этой песне, сперва медленно и враскачку, а после стремительнее понеслись они все по залу, задевая столы, опрокидывая свечи, давя друг друга! Они плясали за спиной у неподвижного полковника, нелепо вскидывая руки, полузакрыв глаза, словно подражали розовым фигурам на коричневых стенах, и все перемешивалось: золото эполет и аксельбантов, серебро галунов и подсвечников, черные глаза и красные щеки, малиновые портьеры и белые ладони, все, все.

Вдруг неистовая песня капитана оборвалась, словно ее и не было, и наш герой выпустил из потных пальцев скомканное перо, похожее на задушенного птенца.

— Я надеялся, — тихо произнес Аркадий Иванович, — что они, оставив пагубные заблуждения злодейского своего общества и возвратившись к обязанностям верных сынов отечества, конечно, не откажутся подтвердить сие мое показание.

В этот момент лицо капитана было опять спокойно, цыганские глаза источали грусть.

— Стало быть, вы не могли смириться, наблюдая сие злодейство изо дня в день? — спросил генерал Чернышев. — Стало быть, вам, как истинному сыну отечества, была забота раскрыть заговор и тем самым прервать его дальнейший злонамеренный ход?

— Дальнейшай хот...» — вывел наш герой.

— Истина, — глухо подтвердил Аркадий Иванович. — Я, ваше сиятельство, еще с детства...

— А что, господин капитан, — оборвал ход его рассуждений генерал Левашов, — что вам показалось в сочинении, именуемом «Русской Правдой», составленном вашим бывшим полковым командиром? Действительно ли в нем уделялось место гибели царствующего дома или речь шла только об упразднении существующего порядка вещей?

— Нет, ваше высокопревосходительство, — откликнулся капитан со свойственной ему живостью, — самое что ни на есть убийство, ваше высокопревосходительство, самое что ни на есть злодейское, что и привело меня в трепет и дало мне сил притворствоваться на протяжении года, хотя я притворству обучен не был... Убийство, ваше высокопревосходительство! Стал бы я тревогу-то бить, кабы что другое?..

Бутурлин за креслом графа весь искривился мучительно, и нашему герою даже показалось, что тонкая его рука поднимается ладонью книзу... Он глянул на Авросимова.

«Ну что? — как бы вопрошали его глаза. — Каков, а? Что же теперь?»

«А что же вы деликатные какие были? — взглядом же ответил наш герой. — Разве есть теперь вам прощение?»

«Вы, надеюсь, имеете в виду полковника-злодея?» — горько усмехнулся Бутурлин.

«Эх Бутурлин, Бутурлин, — едва не заплакал наш герой, — как нас волны-то несут! Куда? Эх Бутурлин, Бутурлин...»

Покуда шел этот молчаливый, но выразительный диалог, Аркадий Иванович покинул залу, а Павел Иванович уже сидел в своем кресле у стола, опустив голову...

Теперь, милостивый государь, я позволю себе оставить его в печали и сомнениях, закованного в цепи и лишённого наконец своей сатанинской силы, и воротиться ненадолго к прелестной Амалии Петровне, которую мы с вами оставили у полночного окна в ее квартире почти двое суток назад. Неужели, спросите вы, она провела у того же окна двое суток, не смея отойти от него и безуспешно борясь с бурей в своей душе? Не знаю, милостивый государь, да это меня и не интересует. Возможно, что она и покидала свой печальный пост, предаваясь делам будничным и необходимым, а может быть, и нет. Важно, что застали мы ее на том же месте, где покинул ее наш герой после не совсем вразумительной беседы с нею. Я даже мог бы поверить в то, что она не сомкнула глаз все это время, ибо в лице ее заметно потускнели признаки очаровательной молодости и здоровья и синие круги под глазами придавали этому лицу вид отчаяния и невыразимой муки.

Но, милостивый государь, когда бы вы могли заглянуть поглубже, не придавая значения внешнему виду, вы были бы поражены, поняв, какие тайные силы бушуют в этом хрупком и утонченном двадцатилетнем существе, какие океаны разлились, затопив жалкие повседневные страсти, открыв простор страстям вечным и значительным.

Что я понимаю под сим? А вот взгляните-ка, извольте.

Не успела полночь вступить в свои права, не успел за углом (как любят выражаться в старинных сочинениях) глухо прозвенеть колокол в церкви Ивана Предтечи, как дверь в гостиную, где пребывала Амалия Пет-

ровна, тихо растворилась и человек, лица которого вы бы не смогли рассмотреть в темноте, вошел и, поклонившись ей, остановился.

— Были? — деловито спросила она, едва поворачив к нему голову, словно знала, что он войдет.

— Был, любезная Амалия Петровна, — едва слышно ответил он.

— Ну, что он?

— Боюсь огорчить вас, но худо, любезная Амалия Петровна. У меня так вовсе отчаяние: зачем они так его мучают? Уж сразу бы сделали, чего нужно...

— А что нужно? — холодно спросила она.

— А что им нужно?.. Они его в солдаты разжалуют, не миновать...

— Разжалуют, — печально засмеялась она. — Сдается мне, вы обольщаетесь, не вышло бы хуже...

— Что же может быть хуже, любезная Амалия Петровна?

— Ах, сударь, как вы все наивны! — воскликнула она. — Как вас ничто ничему не учит. Мне кажется, что я одна все вижу, и сердце мое сжимается от боли. С кем, с кем ни говорю, все настроены легко, праздно...

— Какая уж легкость, какая уж легкость, Господи Боже.

— А что, друг мой, — после продолжительного молчания проговорила она, — не лучше ли ему не запирается?.. Да вы присядьте.

— Я уж постою... Теперь и впрямь лучше бы ему не запирается, когда все раскрылось...

— Как же это раскрылось?

Он медленно опустился в кресло и застыл.

— Ну, чего же вы молчите?

— В душе у меня чего-то порвалось, как я на все насмотрелся, как он им доверял, а они его на плаху выдают...

— Как это они? Что же они так?

— Кто по страху, кто еще почему...

Она вдруг отошла от окна и, прощурив платъем, остановилась возле самого его плеча и коснулась его кончиками пальцев.

— Друг мой, я вижу, как все это причиняет вам боль, как это вас мучает, да мы с вами теперь уже не можем сетовать... Уж так. Теперь нам с вами нужно что-то предпринимать, чтобы добрые имена оградить от страданий. Я слышу, будто кто-то велит мне это.

— Вы о нем говорите? — со страхом спросил он.

Снова тянулось молчание, потом она вдруг сказала:

— Мне стоит большого труда удерживать Владимира Ивановича от безрассудства. Он ночует у себя в полку, я знаю, как он там убивается и плачет за любимого брата, как он там мечется меж братом и государем...

— Я бы рад помочь вам, — сказал он. — Да вы приказывайте...

— Все ведь от Аркадия Ивановича началось! — вдруг крикнула она. — От капитанишки этого! — и зашептала горячо: — Вот кабы умолить его покаяться, чтоб взял обратно свои слова... Ах, он жестокий человек! Я бы готова была унизиться, кабы верила, что он откажется от своих наветов... Нет, нет, он не откажется...

— Он об государе пекся, любезная Амалия Петровна.

— Дитя вы. Да у него этого понятия и в голове-то нет. Просто злодейство!.. Ну что от него ждать, от капитанишки этого?.. Вот кабы графа уломать... Вы бы его могли уломать? Нет, вы дитя...

— Я его боюсь, — признался он, — графа боюсь. Да он меня и слушать не станет.

— Ну ладно, — сказала она спокойно. — Капитанишка этот, фарисей, у дядюшки вашего остановился, да? Вот вы меня к нему и везите, друг мой, везите...

И она стремительно полетела по темной зале, с лов-

костью и грацией огибая кресла и столики, а он, вскочив, кинулся за нею следом, готовый служить беспрекословно.

Сани быстро были поданы. Они уселись рядом, тесно. Кони понесли.

— Я по ночам как еду, все графа встретить боюсь, — сказал он из-под меховой полости, — каждую ночь с ним о том о сем беседую, весь в поту... Чего ему от меня надо?

— Вы бы лучше возвращались к матушке своей в деревню, чем так переживать... Впрочем, погодите еще немного.

Кони летели во всю прыть. Черное небо несло над ними, не отставая.

Теперь позвольте вас спросить, милостивый государь, известно ли вам, что побуждало прекрасную Амалию Петровну вот так скакать в темени по Санкт-Петербургу? Что касается меня, то навряд ли смогу вам объяснить это, хотя вижу по вашим глазам, что любопытство ваше поумерилось, ибо все разговоры да разговоры, а где, мол, история сама, где ее развитие? Вы, конечно, надеялись, что уж ежели я даму упомянул, а молодой человек мучается по ней тайной страстью, то пора бы, кажется, и прояснить их отношения, ан нет, ничего такого не происходит, и кони мчат по ночным улицам, пофыркивая, и все. А мне, милостивый государь, скажу вам не таясь, прискорбно это знать, что вы поуустали. Я был об вас лучшего мнения. Но ничего не поделаешь, и чтобы слушателя не потерять, пусть даже такого, как вы, я вам подпущу приключение, чтобы огонь в ваших глазах вспыхнул снова. Ах, не думал я, милостивый государь, что и вы из тех людей, которые любят поскорее свадьба или там гибель чья-нибудь, а уж затем можно и следующую историю... Мне бы, конечно, прервать мой рассказ (да будьте вы неладны), но я, воспитанный в долготерпенье, перебарываю в себе эти слабости и буду рассказывать все как было,

только маленькую уловочку себе позволю, хотя знаю, что потом буду раскаиваться.

Так они летели сквозь ночь, она, полная нетерпения, готовая к поединку, вся пылающая от предвкушения борьбы, и он, слабеющий от ужаса перед лицом событий, в которых даже мы с вами, искушенные люди, могли бы запутаться, а о юнце что и говорить.

— Кабы вы согласились поехать в деревню ко мне, — вдруг сказал он, — вы бы там все позабыли, там такая красота и тишина.

— Вы дитя совершенное, — сказала она. — Совсем дитя...

— Сегодня мне Павла Ивановича жаль стало, как они все на него навалились. Потому что я благородства не увидел в сем.

— Ах, зачем он всем жизнь испортил! — воскликнула она. — Но я его люблю, оттого и страдаю. Я бы его сама наказала, кабы моя воля, за эгоизм его, что он всех так подвел. Да я ж его люблю, и Владимир Иванович его любит... Владимир Иванович даже говорит, что, мол, зачем ему награды всякие за участие в деле против мятежников, когда брат его любимый в крепости томится!..

— А когда бы Павел Иванович тоже в Петербурге участвовал да на площадь вышел, Владимир бы Иванович тоже против него скакал бы? — спросил он.

— Вы ужасы какие-то рассказываете, — возмутилась она, — не смейте так, не смейте!

В голосе ее послышались слезы, и это больно в нем отозвалось. Вот плачет она. Касается его плеча и плачет, словно его и нет рядом. То есть они так сидят в тесных санях, что сделай он одно движение, и она тотчас окажется в его объятиях, покуда там призрачный ее супруг дежурит день и ночь в казармах и о брате своем мучается.

— Я бы вам в деревне переживать не давал, любезная Амалия Петровна, — проговорил он вполголоса

и слегка отклонился от нее. Но она качнулась в его сторону, и снова они сидели тесно. Сердце его оборвалось. А ведь тесно так, что и головы не поворишь, чтобы проследить, что у нее на лице, прикрытом мехом. Он сделал вид, что устраивается поудобнее, и снова отклонился, но она опять к нему припала тяжелее прежнего.

«Радость моя несравненная! — подумал он. — Как будто ты моя навеки и всегда была...»

И он выпростал вдруг из-под полости руку и потянулся к ее щеке, полный благоговения, и прикоснулся. Кони несли. Щека ее показалась ему пылающей. Он провел по ней ладонью. Амалия Петровна засмеялась печально или заплакала — было не понять.

— Уедемте отсюда! — с горячностью зашептал он, оборотившись к ней. — Уж как вам будет хорошо! Там — травка шелковая, солнышко...

— В январе травка? — удивилась она.

— Да что там в январе... Какой такой январь!.. Я бы все для вас делал, чтобы вам не страдать... Мы бы с вами кофий пили на веранде... Ромашки бы собирали... Смеялись бы вволю...

— Какой он, однако, Павел Иванович, — проговорила она с грустью. — Как он все перепутал. Сидите смирно, друг мой. Я все об этом думаю, а что вы говорите, не слышу, — и качнула головой, отстраняясь от его ладони, затем продолжала: — Несколько лет назад они оба посещали мой дом, оба брата, и оба мне внимание свое выказывали. Скажу вам откровенно — Павел Иванович восхищал меня более, чем брат его... Ума он выдающегося и благородных принципов, и что-то в нем было такое, что судьба моя вот уж должна была решиться, однако я Владимира Ивановича предпочла, ибо семья, друг мой, это — не заговор. Видите, как я не ошиблась? — и вдруг спросила: — А что Аркадий Иванович? Он что, так и говорил, рассказывал все? Прямо на глазах у Павла Ивановича?

— Так все и рассказывал.

— Ну и что он, плакал при этом? С болью он это все?

— Нет, любезная Амалия Петровна, какие уж тут слезы. Мне прямо крикнуть хотелось, что, мол, как это вы так! Ведь вы же его любили!..

— Ах, если б я могла с бедным моим братом в его каземате сыром повидаться! А вдруг капитанишки дома нет? Поскорее бы!

Плечи ее затряслись, послышались всхлипывания. «Это невыносимо! — подумал он. — Убьет она себя так-то...» И он рванулся к ней снова, чтобы увидеть ее лицо, потянулся губами, чтобы осушить ее слезы, и оттуда, из-под медвежьего меха, из-под полости, пахнуло на него теплом, жаром, расслабленностью женской, безумием.

— Опомнитесь! — вдруг сказала она голосом Милодоры. — Вы же мне чепец порвали! Что это с вами?

— Я люблю вас, — задыхаясь, выговорил он.

Она резко к нему оборотилась.

— Вы совершенное дитя, потому я вас прощаю.

Вы, милостивый государь, очевидно, уже догадались, что описываемый молодой вздыхатель был не кто иной, как наш герой, который, смею вас уверить, не то чтобы ощущал себя в привычных условиях, оставшись наедине с дамой своего сердца, если судить по его поведению, а, напротив, действовал вовсе не по разуму, и голова его не ведала, что творят руки и что вытворяют уста, произнося бредовые свои речи.

Павел Иванович, бывший предметом их огорчительной беседы, когда бы только мог наблюдать сию сценку, наверное, усмехнулся бы, видя, как наш герой, едва по нем не плача, пытается обхватить свою спутницу, прижаться к ней пожарче, ибо сам Павел Иванович, будучи человеком другого склада и постарше, скорбя о чем-то, не стал бы в тот же момент размениваться на сласти.

— Так мы никогда не доедем! — возмутилась она.
— Да вы что же, распорядиться не можете?

— Живо! — крикнул он и ткнул кучера в спину.
— А ну давай!.. Сейчас, сейчас, любезная Амалия Петровна, душенька, мигом!.. А ну живей!

Сани остановились у дома Артамона Михайловича, заспанная челядь отпрянула, пропуская стремительно ворвавшегося Авросимова и тараща глаза на надменную молодую даму, следующую за ним. Он оставил ее в сенях, а сам стремглав кинулся вверх по лестнице.

В коридоре возле комнаты Аркадия Ивановича встретился нашему герою Павлычко, бледный и трясущийся. Путая русские и малороссийские выражения, он поведал Авросимову, как барин его, воротившись поздно и будучи не в себе, выпил основательно горилки с перцем, взял пистолет, расплакался вдруг и, крепко обняв испуганного денщика, отправился из дому прочь, куда — неизвестно. Авросимов тормозил плачущего Павлычку, умоляя его вспомнить, что говорил барин перед уходом, но все его усилия и мольбы были напрасны.

Однако, когда наш герой, не боясь потревожить дядюшку, загрохотал вниз по лестницам, торопясь к своей даме, Павлычко побежал за ним, крича, что он вспомнил, вспомнил ужасный намек, брошенный его баринем на прощанье, что мол, жизнь ему опостылела, что он должен ее прервать и он это сделает теперь же на народе.

— Как это на народе? — ужаснулся Авросимов.

— На народи, — заплакал денщик.

Тут наш герой, поспешно объяснив Амалин Петровне вспыхнувшую в нем догадку, растолкал ахающую челядь и вывел свою даму на крыльцо. Кучеру он велел скакать во всю прыть на Мойку, имея про себя в виду злополучный флигель.

Сани неслись. Кони покрылись инеем, и пар клубился над ними, застилая Санкт-Петербург.

— Давай, давай! — вскрикивал наш герой, наклонившись вперед всем телом, как бы для облегчения бега.

— Ах этот Павел Иванович, Павел Иванович! Сколько из-за него всякого безумства!.. Да не гоните так, друг мой, мы же опрокинемся!..

— Ничего не бойтесь, любезная Амалия Петровна! Давай!..

— А капитана Бог наказал! — крикнула она.

— Давай! Давай!.. Гони!

— Вы только подумайте, как его Бог наказал! — и приблизила к нему горячую свою щечку. — Как он все видит!.. Теперь зачем уж гнать, зачем... Теперь только бы убедиться, что это так!.. Сам себе яму вырыл!..

И тут Авросимов явственно услышал, словно выстрел грянул неподалеку и раздался истошный крик человека.

— Скорей! — крикнул он снова, и ошалевшие кони через какой-то там миг уже остановились возле знакомых ворот.

Он помог ей выйти из саней, и они почти побежали к флигелю, возле которого творилось что-то невообразимое...

К дверям было не пробиться сквозь многочисленную толпу. Какие-то мужчины, которых во тьме и узнать-то было нельзя, прямо в мундирах и в сюртуках, несмотря на мороз, женщины какие-то с распущенными волосами, челядь с жалкими свечками в руках... И все это гудело, стонало, восклицало и переливалось так, что и представить себе было невозможно.

Авросимов пытался, не выпуская руки Амалии Петровны, хоть что-нибудь разузнать о случившемся, да никто его не слушал, и, как только он к кому обращался, всяк тотчас же отворачивался и принимался восклицать что-то да размахивать руками. Так бы это и продолжалось, кабы вдруг не узнал наш герой в толпе

Павла Бутурлина, который громко распоряжался, указывал кому-то: что, куда, зачем...

Наш герой попытался его окликнуть, да не тут-то было, Бутурлин и не оглянулся, увлеченный распоряжениями.

Постепенно устроился порядок, все заговорили глуше, словно устали, и из дверей вынесли тело несчастного, завернутое в шинель. Откуда ни возьмись возникли сани. Тело бережно уложили. Несколько кавалеров уселись возле, как были без шинелей, и печальный экипаж отбыл. Все потянулись во флигель.

— Ванюшенька, рыбонька, — сказала Милодора (а это была именно она) нашему герою, будто они и не расставались, — не след стоять на холоду.

Авросимов огляделся. Амалии Петровны нигде не было. Он кинулся за ворота и увидел, как она легко поднялась в сани, как поправила меховую полость, прикрывая ноги, как махнула ему ручкой на прощанье. Он хотел было окликнуть ее, да кони рванули и тотчас все исчезло.

Милодора тем временем подошла к нему и, взяв за рукав покрепче, повела к флигелю.

Приходу его никто не удивился. Все было, как прежде, как вчера, как третьего дня, как всегда, наверно. И словно ничего не произошло, словно не отсюда только что выносили бездыханное тело несчастного капитана. Впрочем, кому тут было его жалеть, когда вчера по щекам ему давали вот здесь же.

Голова у нашего героя гудела. Как был в шубе, так и уселся он прямо на ковер в зале. Тут подлетела Милодора, заставила отхлебнуть из большого бокала, и через минуту Авросимову стало лучше, поспокойнее, даже показалось, что он вот так с тех самых пор все и сидит здесь, никуда не выходя, хотя до самого конца уверовать в сие все-таки мешала мысль о недавнем происшествии.

Капитана он не жалел. Может, и в самом деле дес-

ница Божья и до него дотянулась, но в запахе вина и яств, табака и людского пота, в душном и привычном запахе, укоренившемся в этой зале, вился слабый аромат порохового дыма, аромат выстрела вползал в ноздри и в душу. Как же это капитан руку вскидывал с пистолетом? Как выстрел прогрохотал? Как же никто не удержал его, не пресек? Впрочем, а зачем пресекать?

Так лениво размышлял наш герой, пригубливая, пригубливая из большого бокала, опустошая его, подставляя его снова неведомо кому и снова к нему припадая. Как же это он руку-то вскидывал?..

Сначала Авросимов намеревался порасспросить ну хоть у того же Бутурлина, как все это было, но лень помешала ему подняться. Да и где он, Бутурлин, тоже было не разобрать... Как же это он руку вскидывал с пистолетом? Он нехотя огляделся и увидел Милодору, она лежала рядом с ним на ковре и молча же его разглядывала.

— Как же это он руку-то вскинул с пистолетом, Милодорочка? — спросил Авросимов без интереса.

— Как вскидывают? — сказала она. — Взял да вскинул. Пока тут шалили, взял да вскинул.

— Может, его опять обижали, по щекам били?

— Как же его мертвого обидишь? По щекам били, да он не воскрес.

— Говорил он что перед тем?

— Да что вы, Ванюша, ровно дьякон, бубните все? — и она зевнула, и глаза ее закрылись.

Он догадался, что она спит.

«Взять бы ее да увезти, — подумалось ему. — Она горячая». Но тут он вспомнил Амалию Петровну. Обиды на нее, как вдруг она упорхнула, не было. Бог с ней. Там она, прекрасная, как ангел, пребывала сейчас где-то в своих недоступных небесах, а Милодорочка зато вот она, горячая и добрая, даже не укорила его, как он ее из дому спровадил, даже не вспомнила.

Он тронул Милодору за голую ножку, она тотчас

открыла глаза и улыбнулась. Тогда он поманил ее, поднялся с трудом и, покачиваясь, вывалился в прихожую. Она пришла следом, сонная, простоволосая, покорная, с размазанными по лицу румянами, обняла его, почти на нем повисла...

— Поехали, прекрасная Милодорочка, радость моя...

И вот они вышли на набережную в обнимку, словно разлука для них была бы смерти подобна. И нашли наконец после всяких блужданий ваньку замороженно-го, и тронулись в путь.

Время клонилось к утру. Однако Ерофеича будить не пришлось. Дверь была широко распахнута. Несколько уже поостывшая Милодора входила боком, испуганно. Ерофеич стоял у дверей с безумным лицом. Серые его бакенбарды словно отваливались.

Наш герой, почуяв недоброе, ринулся в комнату, позабыв в кухне прекрасную Милодору. Что же предстало перед ним?

На его кровати высокой, разметав подушки, сидел Аркадий Иванович, живой и невредимый, в одном исподнем, с бокалом в руке, из которого тонкая струйка лилась на шелковое пестрое стеганое одеяло.

— А я в а с жду, господин Ваня! — радостно крикнул капитан при виде нашего героя. — Я вас там дожидался, искал, да они меня снова оскорблять посмели!..

— Это вы? — еле слышно спросил наш герой, хотя сомневаться уже не приходилось.

— А отчего ж не я? — засмеялся капитан, сверкая цыганскими глазами.

— Там кто-то себя порешил, — сказал Авросимов. — Из дому его на шинели вынесли да на санях увезли.

В глазах капитана загорелся страх. Бокал он отставил.

— Что это вы такое говорите? — спросил он с ужасом. И вдруг вскочил: — Господи, да неужто Сережень-

ка? Мальчик такой, офицерик... Ага... Он все пистолет показывал, он все говорил, мол, такая штучка, а если нажать, тотчас все мучения... Господь милостивый! Как же это так, господин Ваня? Он меня все задушить хотел своими тонкими ручками, со злобой на меня смотрел... Ах, да я его прощаю! Я и им все прощаю. Я даже им подарочки принес, каждому — по свирельке нашей малороссийской... А они мои подарочки разбросали, побрезговали... Да неужто Сереженька?! Господин Ваня, мне его жалко... — руки капитана тряслись, глаза блуждали, слезы текли по щекам. — Как же это можно с жизнью расстаться? Уйти, уйти, черт! Разве это не больно?! Бесстрашный какой Сереженька... Поплакал, поскулил и бах-бах... Вы бы так смогли, господин Ваня? Я бы не смог. Я бы никогда не смог. Как его припекло-то, а?.. А-а-а-а-а-а! — закричал он, расшвыривая подушки, одеяло. — Для чего живем?! Зачем?.. Зачем?! Зачем?!

Вдруг наш герой услышал в кухне движение какое-то, топот ног, голоса, и мысль об оставленной Милодоре обожгла его. Он торопливо прошел в кухню. Милодоры там не было. Ерофеич вопросительно на него поглядывал.

— А я, батюшка, — сказал старик, — памятью о матушке вашей, велел девице этой безобразной выйти вон.

— Что это ты, дурень старый, в доме моем раскомандовался! — затопал ногами наш герой. — Кого на постель мою пустил, сатану смердящего! Что за бесстыдство тут развел! Вот я тебя!..

И, погрозив старику, бросился из дому.

К счастью, Милодора не успела скрыться и ее расплывчатый силуэт маячил поблизости. Да и ванька, слава богу, дремал рядом, так что они снова уселись в сани, снова переплелись, согревая друг друга телом и дыханием.

Утро январское разливалось по Санкт-Петербургу.

Так удалился наш герой с любезной его сердцу Милодорой, полный негодования к происшествию ночи и сжигаемый жаром страсти. Молчаливый извозчик колесил по утреннему Санкт-Петербургу, покуда наш герой не сообразил вдруг ткнуть его в спину, чтобы ехать к Вознесенскому проспекту, к самому углу, где возле канала находилась новая гостиница «Неаполь», привлекающая внимание путников велеречивым объявлением у самого входа, что, мол, сия гостиница имеет быть для господ, приезжающих в столицу, пристанищем и прибежищем в их странствиях, где сдаются в лучшем виде отделанные большие и малые квартиры под номерами и где можно получать и кушанья из самых свежих припасов, равно и напитки превосходных доброт за умеренную цену.

Быстро рассчитавшись с ванькой, Авросимов ввалился в гостеприимную дверь, увлекая за собой заспанную, покорную Милодору, и нетерпеливо переминался и откашливался, пока не менее заспанный человек таранил глаза на молодого рыжего и неукротимого барина, приволокшего с собою сенную девку.

Однако вслух удивляться не приходилось, чтобы не быть битым, хотя гостиничный мальчишка, вертевшийся тут же под ногами, со всею непосредственностью малых лет хмыкал, слыша, как здоровенный барин величает сию девку своей супругою.

— Поворачивайся, любезный, — сурово сказал наш герой человеку и отпихнул мальчишку.

Наконец по скрипучей лестнице взобрались они на второй этаж, где в дальнем конце коридора находилась предназначенная для них комната.

Комната была небольшая, с широкой деревянной кроватью, застланной пестрым лоскутным одеялом. За единственным окном, полузавешенным голубой ситцевой шторой, вставала стена противоположного дома. Постель была не первой свежести, да и на двух плюшевых стульях лежала глубокая пыль. Однако всего этого наша пара не замечала.

— Ступай, ступай с Богом, — сказал Авросимов человеку, видя, как тот топчется на одном месте, — да ступай же.

— Может, велите завтрак принести, ваше сиятельство? — спросил наконец человек, разглядывая Милодору, как она тяжело уселась на стул, не снимая зипуна своего или там поддевки, или черт его знает чего.

— Ступай, тебе говорят, — надвинулся на него Авросимов, не замечая даже высокого к себе обращения.

Человек скрылся. Дверь захлопнулась. Щеколда стукнула.

— Милодорочка, ангел мой, — сказал Авросимов, скидывая шубу, — вот здесь дом наш теперь. Забудем все несчастья.

Она медленно сняла зипун или как там его, стянула через голову измятое платье.

— Отвернитесь, бесстыдник молодой.

Он отвернулся. И тотчас в голове его, в сумбуре всяком, возник ясный план; тут пережить день-другой, а затем бросить все, всю эту столицу с ее безумством, с Пестелем, с судьями, с капитаном чертовым, с самоубийствами всякими, бросить это все, подхватить Ерофеича и помчаться к матушке и там, только там предаться наконец утехам любви, радостям деревенским и тишине...

— Да поворотитесь, можно, — сказала Милодора.

«...Конечно, Артамон Михайлович первый не одобрит его, а может быть, и проклянет, за бесстыдство да за измену посчитав сие бегство, однако пусть он сам хлебнет хоть малость из того, что выпало мне, — продолжал размышлять наш герой. — Пусть он сам любезного своего капитана милует да берет от него подарочки,

пусть он сам кличет его героем, пусть они тут все сами, сами пусть, без меня...»

— Ванюша, рыбонька, — тихо позвала Милодора, — меня в сон ударило. Где же вы?

Под запертой дверью громко, без стеснения хихикал гостиничный мальчик, и легкое облачко пыли медленно подымалось к потолку.

Я вижу, милостивый государь, как вы смеетесь над тем, как я увлеченно и подробно описываю вам сие происшествие, но не торопитесь, а оглянитесь-ка назад, лет эдак на сорок, когда вы впервые встретились вот так же с глазу на глаз с вашей верной Авдотьей Евлампиевной, на которую нынче и не взглянете по-человечески, а все больше зверем, исподлобья... Вот вам природа, милостивый государь. Не забывайте.

Опьяненный любовью Авросимов крепко заснул. Милодора последовала его примеру, и в комнате, так странно ставшей им жильем, повисла тишина, изредка нарушаемая сонным почмокиванием.

Милодора спала, положив голову на крепкую руку нашего героя, и две горькие складочки, освещенные встающим утром, явственно проступали возле ее губ.

Ах, милостивый государь, она не была красива, не была! Но разве в нашей власти понять сию странность, когда не красоте мы отдаем свое сердце? С чего бы это? И целый сонм вопросов душит нас, а решать-то ведь не нам, не нам, поверьте, и уж лучше и не предаваться этим напрасным попыткам, а просто любить, обожать, благоговеть, покуда благоговется...

Итак, Авросимов заснул, но тут же увидел, как словно некто надвинулся на него и поманил с улыбкою. «Кто вы?» — хотел было спросить наш герой, да не смог вымолвить ни слова, а покорно шагнул за незнакомцем. Так он шел за ним, стараясь все-таки понять, кто же это, как вдруг сообразил: Пестель! На Павле Ивановиче был новехонький, с иголочки мундир, и едва полковник обернулся, как сразу же засверкали на груди ордена и всякие знаки. Поначалу они молча шествовали

один за другим каким-то неизвестным коридором, и трудно было понять, когда же закончится это путешествие. «Я же сплю, — думал наш герой, — надо проснуться, а не проснусь, так и буду за ним вышагивать...» Но стоило ему хоть на мгновение замешкаться, как Пестель тотчас оборачивался и манил следом. Так они шли да шли. И стояла тишина, даже шагов не было слышно. И от этого страх подступал к сердцу нашего героя. Как вдруг Павел Иванович скользнул в какую-то дверь и скрылся. Авросимов попытался войти следом, да не тут-то было: дверь исчезла. Коридор продолжался и терялся где-то вдали, серый и унылый, и лишь в одном месте на гладкой его стене темнело пятно — то ли от воды, то ли от выплеснутых щей.

«Теперь отсюда я никогда не выберусь», — подумал наш герой, и сердце его защемило, и холодный пот проступил на лбу. Он хотел уже закричать, позвать кого-нибудь, как вдруг ощутил в правой руке пистолет. «Сейчас выстрелю, — подумал он с отчаянием. — Пусть-ка они сунутся!»

Неожиданно кто-то спросил свистящим шепотом, невидимый кто-то:

— Лежишь?

«Да разве я лежу? — удивился наш герой. — Я вовсе стою в этом неведомом коридоре».

— Давай ступай отсюда, — приказал голос все так же шепотом. — Не тревожь барина.

«Какой же барин может быть в этом коридоре? — подумал Авросимов, подымая дуло пистолета. — Пестель — арестант, а не барин... Вот сейчас я выстрелю...»

Но он не выстрелил, а спросил не своим, а как бы женским голосом:

— Куда ж мне идти-то, Господи?

— Давай, давай, ну! — распорядился шепот. — Ишь ты...

«А где же Пестель?» — хотел спросить Авросимов, но вместо этого сказал опять женским голосом:

— Да сейчас же, господи... Дверь-то прикройте, бесстыдники какие!

Дверь хлопнула. Наш герой обрадовался, решив, что вот появится Пестель и все наконец объяснится, но Пестеля не было, а перед ним маячила неясная голая чья-то спина. Он потер глаза — спина была женская. «Милодора!» — сообразил он. Тут он все вспомнил и от сердца его отлегло. Ясный день заливал комнату. Милодора глядела на него равнодушно, словно и не узнавала.

— Что это ты, Милодорочка?

— Уйти велят, — равнодушно сказала она.

— Кто это велит?

— Хозяин здешний...

Нет, не была она красива, не была, да вот поди ж ты...

— Как он посмел! — закричал Авросимов гневно.

Он протянул руку и коснулся ее тела. Спина была широкая, под правой лопаткой чернела родинка неправильной формы. Это умилило его.

— Ванюша, рыбонька, — сказала она, — вы не кричите над ухом-то. Я невиноватая.

— Да я не тебя виню! — распалялся он. — Я его виню!.. Как он смеет! Может, мы отсюда в деревню поедем... — Он стал натягивать на себя одежду. — А вот я его... А вот вели ему войти, пусть войдет, вот я ему!..

Прекрасная Милодора тем временем одевалась тоже, будто бы и не слыша гневных изречений нашего героя. Одевшись же, она присела на стул, сложив руки на коленях, и ждала, что последует.

— А вот я его! — кричал наш герой. — Разбойник! Да как он смеет!

В это время, услышав, очевидно, шум в комнате, давешний человек просунул в дверь голову, желая любопытствовать о причинах сего шума.

Вы бы очень удивились, милостивый государь, кабы сами наблюдали эту сцену, ибо, как вам известно, не

в манерах Авросимова были крик да буйства, но тут, видимо, природное здоровье изменило ему либо он умышленно дал волю накопившимся страданиям, которые давно искали выхода себе, во всяком случае, едва голова человека закачалась в дверях, как что-то громадное, ревущее, загородив свет оконный, бросилось на него, и, не отскочи он вовремя, лежал бы на полу в коридоре его холодный труп.

Наш герой, взъерошенный и без галстука, вывалился в дверь и скачками помчался по коридору вдогонку за убегающим паршивцем.

Человек покатился вниз по лестнице, повизгивая на ходу от ужаса, слыша приближающийся грохот рыжего чудовища.

— Караул! — завопил он и нырнул в чулан. Тут бы ему и конец, да задвижка спасла.

Какие-то люди, оказавшиеся в сенях гостиницы, хором принялись усовещивать Авросимова, не решаясь, однако, к нему приблизиться. Затем наступила тишина. Человек за дверью затаился. И это все подействовало на молодого человека благотворно, и он вдруг словно очнулся от кошмара и провел рукой по разгоряченному лицу, и перед ним раскрылись гостиничные сени и какие-то люди благородного вида, толпившиеся в отдалении и с опаской на него взирающие. Тут он стал осознавать, что поступок его постыден, вспомнил об оставленной Милодоре, возвел очи и застыл пораженный: по неширокой лестнице сходил в сени спокойный и трезвый знакомый гренадерский поручик.

Наш герой бросился к нему. Они встретились, как старые друзья.

Должен повиниться перед вами, милостивый государь, что в спешке, которая иногда сопутствует моему повествованию, совсем упустил из виду сказать вам фамилию сего гренадерского поручика, с которым вас сталкивал и с которым еще предстоит встречаться, а посему лучше поздно, чем никогда, так что фамилия ему была Крупников.

Так вот встретились они, как старые друзья, и после соответствующих приветствий Крупников спросил нашего героя:

— Что вы тут делаете, Ваня?

На это Авросимов ответил, что появился в этом доме с целью переночевать и что хозяин, или как его там, оказался человеком непорядочным и он, Авросимов, вознамерился его проучить, хотя теперь уже поостыл.

— Да плюньте, Ваня, на это, — посоветовал Крупников. — Охота вам мараться? — и в свою очередь спросил нашего героя, как его занесло в этот дом ночевать.

— Обстоятельства, — таинственно проговорил Авросимов, не желая объяснять.

Крупников засмеялся, подмигнул ему, обнял за плечи и повел к выходу, шепнув на ухо:

— Ну как Милодорочка?

Сей вопрос поверг нашего героя в замешательство, ибо он никак не мог предположить, что его ночное путешествие может кому-либо быть известно.

— Откуда вы об том знаете? — ахнул он.

— Знаю, сударь, знаю, — снова засмеялся Крупников. — Мы, гренадеры, все знаем. Нам нельзя не знать, сударь. Так что вы впредь сему не дивитесь...

Слова эти замешательства не рассеяли, и, видя это, Крупников спросил:

— А у вас, я вижу, любовь?.. Я вижу, вижу по вашим глазам.

— Полюбил я Милодору, — признался Авросимов, с умилением представляя, как она сидит там в комнате на стуле, руки сложив на коленях. — Я увезу ее в деревню, и все тут. Жить без нее не могу.

Крупников засмеялся снисходительно.

— Ей-Богу, сударь, — сказал Авросимов. — Вы что, не верите? А вот я вам утверждаю, что это так... И матушка моя будет рада... Мне эти мучения, сударь, эти муки городские не по плечу... Мы уедем отсюда прочь. Мне и славы этой не нужно, когда здесь все — тайна и мрак, и драка промеж собой.

Поручик снова засмеялся, потерял черные свои усы и сказал:

— Да вам же показалось, что вы любите. Это ночью в пьяном деле возьми и покажись. Да она же простая девка да к тому же немолодая, да она старая просто... Это друг наш Бранский, толстый такой, да ты его помнишь, это он придумал для шалости, а вы возьми и поверь. Какое безумство в вас! Да вы ступайте, ступайте, в лицо ее взгляните. Ты ступай, ступай, полюбуйся на свою избранницу... Ступайте...

— Позор! — воскликнул наш герой с негодованием. — Да это вы взгляните на нее, вы все, которые ее осуждаете!

Крупников в сердцах махнул рукой и отворотился было, но, видимо, желание помочь нашему герою все-таки взяло верх, и он, погасив обиду, сказал:

— Ваня, да что же это с вами? Вы человек благородный. Вас прекрасные партии ожидают... Ты лучше ступай, вели ей домой отправляться, а то не миновать ей конюшни... Слышите?

Люди, толпившиеся в сенях, разошлись постепенно кто куда. Испуганный человек выбрался из чулана и упрямо полез на второй этаж. Авросимов его даже не заметил.

«Какие такие партии? — подумал он. — Мне она нужна, да и только. И конюшни я не допущу, вот крест святой...»

— Вы намекаете, сударь, на то, что она не принадлежит мне? — спросил он у Крупникова. — Да что за печаль? Я выкуплю ее. А за конюшню Бог накажет.

— Ваня, — сказал поручик с сожалением, но твердо, — образумьтесь. Что это тебе приспичило? Грязная девка, чужая, дворовая. Черт вас возьми, да что это с тобой?! Ты только представь себе: у вас же ничего общего... Вы, сударь, просто безумец... Ты безумец, Ваня. Да ты к ней трезвый и не прикоснешься...

«Сейчас подымусь наверх, — подумал упрямо наш герой, — дверь затворю, ее раздену, сам разденусь, ля-

жем с ней и будем так весь день лежать в объятиях, ну их всех к черту...»

— Ну платок ей подарите от щедрости своей, ну там сережки бирюзовые, — сказал Крупников издалека. — Времена нынче не те, чтобы обществу вызов делать.

Тут Авросимов очнулся от своих видений и спросил:

— А отчего, господин поручик, вам, гренадерам, надлежит, как вы изволили высказаться, обо всем знать?

— А может, я не гренадер, — засмеялся Крупников.

— Как то есть?

— А вот и Милодорочка, — сказал Крупников.

Авросимов оглянулся. По лестнице спускалась Милодора в сопровождении того самого гостиничного человека.

Действительно, милостивый государь, она не была красива, даже напротив, лицо ее было безобразное, толстые губы оттопыривались, почти висели, клочья волос неопределенного цвета лезли из-под грязного платка, ступала она тяжело, взор был безразличен ко всему вокруг.

В первую минуту наш герой намеревался было броситься к ней, но что-то заставило его сдержаться, затем он оглядел ее всю с ног до головы и ужаснулся своему выбору. Голова у него закружилась в отчаянии. Он перевел просительный взгляд на Крупникова, но тот стоял отворотившись, словно ничего и не происходило.

Тем временем Милодора, не замечая никого из присутствующих, вышла, и дверь за ней захлопнулась. После нескольких минут молчания поручик сказал Авросимову:

— Надеюсь, вы хоть дали ей денег на извозчика? Нехорошо ей в таком виде шествовать через город...

Слова эти больно стегнули нашего героя. Он опрометью кинулся из гостиницы, но, сколько ни взгляды-

вался в пустынный проспект, Милодоры нигде не было. Так он постоял некоторое время и, удрученный, воротился обратно, но и Крупникова не застал. Человек сказал Авросимову, что господин поручик заторопились по делам и велели извиниться перед молодым барином.

Выслушав сие, Авросимов шагнул вон, так и позабыв свой добротный столичный галстук в злополучном гостиничном номере. А был он воистину злополучен, ведь надо же было в нем возгореться и в нем же угаснуть высоким чувствам, хотя угаснуть они могли и в будущем. Какие против того гарантии? Лично у меня с моим-то опытом, милостивый государь, таковых гарантий ну просто нет, да и все тут, так — какие-то крохи, самая ничтожная малость...

Привычно вошел он в ворота крепости и направился по утоптанной дороге через двор к комендантскому дому. В те поры двор крепости представлял собой любопытнейшее зрелище, ибо вы могли наблюдать множество всякого народа, особенно женщин благородного вида, медленно прохаживающихся из конца в конец или стоящих в скорбных позах. Все они были родственниками схваченных мятежников и иногда вот так по целым дням топтались на морозе, чтобы или челобитную успеть изловчиться вручить какому-нибудь важному лицу, или, что было еще важнее, встретиться с самим узником — братом своим, отцом ли, супругом ли, которого проводят медленным печальным шагом под повязкою в комендантский дом на следствие, и перекинуться парой-другою слов, если конвой окажется великодушен.

Надо вам сказать, что уже изрядно дней, входя по своему делу во двор крепости, наш герой встречался с этими несчастными и даже по привычке их видеть, так что, не застань их однажды в обычных положениях, очень, наверное, удивился бы; но среди молчаливого этого сборища он давно уже успел заметить и выделить стройную высокую молодую даму, всю в черном, печальный силуэт которой всякий раз вспыхивал перед ним, стоило ему войти в ворота. Заприметил он ее не

потому, что была она как-то уж там особенно сложена, хотя сложению ее многие могли бы позавидовать; и не потому, что лицо ее поражало совершенством, нет... Но стояла она всегда в одном и том же месте, у самого угла соборной ограды, всегда в стороне от грустных своих соплеменниц, всегда с лицом, обращенным туда, где тянулись стены Никольской куртины, и всякий раз, стоило войти в ворота, как она оказывалась на виду, вот что запоминалось. Она, конечно, могла бы показаться даже девочкой-подростком, кабы не туалет дамы и не детская скорбь в лице.

Наш герой, входя во двор, норовил сделать крюк, чтобы пройти от нее поближе, хотя это не всегда было возможно, так как явное приближение и бесцеремонное разглядывание легко могло сойти за наглость, к чему Авросимов приучен не был. Но тогда, когда это оказывалось возможным, он мельком видел ее лицо, полуприкрытое черной кисеею, и глухое, тайное ожесточение возгоралось в нем и как бы вливалось в него новые силы.

Прекрасно, милостивый государь, ожесточиться при виде зла, однако так, чтобы рук при этом не опустить, а почувствовать себя человеком...

Вот и на сей раз, войдя, он тотчас же ее и узрел. Слегка прислонясь спиной к ограде, она стояла на своем месте неподвижная, как изваяние. И снова он, сам того не желая, бессознательно как-то, чуть свернул со своего прямого пути, как вдруг она заволновалась, отклонилась от ограды, протянула вперед руки, и Авросимову даже почудился легкий стон, выпорхнувший из ее груди.

Он глянул вслед за ней. Через крепостной двор, минуя собор, по утоптанной многими ногами снежной тропе медленно двигалась печальная процессия. Конвойные солдаты лениво несли ружья, уже привыкнув к своей роли, и зимнее солнце неровно играло на штыках. Высокий худой юноша в сером тюремном халате шел впереди. Из-под нанковой фуражки выбивалась черная

прядь, похожая на распростертое крыло раненой птицы. Из-под нее горели черные же глаза. На сей раз (самое удивительное) платка на лице не было.

Наш герой узнал молодого человека, ибо сталкивался с ним в Следственной, когда на том еще был мундир подпоручика, а на щеках — юношеский румянец. Фамилия ему была Заикин, это помнилось весьма, ибо имелось известное противуречие между утонченными и благородными чертами офицера и его фамилией, как бы из простых. Господи, но как же он переменялся с тех недавних пор! Теперь это был изможденный и даже несколько сутулый арестант, и плохо выбритое желтое его лицо с ввалившимися щеками даже отвращало, да и весь его вид, помятый и несвежий, сразу напоминал о сырости каземата, о преступлении его, о том, что все перевернулось и это не дурной сон, который можно развеять.

Еще совсем недавно, при первой встрече в Следственной, наш герой при виде молодого статного подпоручика с дерзкими глазами испытывал к нему гнев, да и как было не гневаться, когда перед вами возник злодей с бледным от волнения лицом, но неукротимый в своем упрямстве? Однако теперь, словно майское облачко, рассеялся этот первоначальный гнев, потому что сколько ж можно гневаться на прибитого и уничтоженного врага? Да и враг ли? Ах, сколько соблазнов нас подкарауливает на пути нашем! И мы только тем и отличаемся один от другого: поддались или не успели. Уж коли поддались, так те, которые еще не поддались, нас судят и здраво так об сем рассуждают, не замечая, как и к ним исподволь подступает соблазн и хватает их за сердце, и тогда уж мы камни в них мечем и улюлюкаем, и анафеме предаем. Ведь предаем? И всем, всем это грозит, всех соблазны подстерегают... А императора?.. На сей вопрос Бутурлин бы рассмеялся, хотя это, милостивый государь, печально. Печально, что все ведь это — игра, в которую от скуки играют. И все генералы играют, потому что, как только кончат играть, так тот-

час же от всего их генеральства одни мундиры да эполеты останутся. И конвоиры эти играют, а иначе их заперют, если они скажут, что это все, мол, игра, а чего в нее играть, коли пахать надо. Все, все играют, кто пока от соблазна свободен, судят соблазненных, казнят их...

Эта мысль и другие, ей подобные, мелькнули в голове нашего героя с быстротою молнии за тот краткий промежуток, в какой пленный подпоручик Заикин не успел и трех шагов проделать.

И тут снова словно глубокий стон вырвался из груди молодой дамы и она пошла к нему навстречу.

Узник остановился пораженный, и подобие улыбки озарило его черты. Конвоиры смешались. Авросимов неведомо как очутился рядом с ними в тот самый момент, когда молодой человек и дама сблизились. На груди у Авросимова под шубой шевельнулся английский пистолет. Да что пистолет? У вас бы, милостивый государь, сердце шевельнулось, когда бы вы там очутились хоть на мгновение.

О чем они успели сказать друг другу и успели ли, Авросимов не заметил, но тут же один из конвойных, опамятававшись, шагнул меж ними, и наш герой увидел ее лицо, полное тоски и отчаяния. Он было бросился к ним, чтобы проучить бедного конвоира, но было поздно. Заикина уже вели к комендантскому дому, и он только и мог, что шею выворачивать, оглядываясь на свою возлюбленную, и кивал ей, кивал... Она же снова стояла неподвижно.

— Не плачьте, сударыня, — сказал наш герой как можно ласковее.

Тут она оборотила к нему свое круглоглазое лицо, в котором не было ни слез, ни скорби, а гордый вызов, один лишь гордый вызов.

— А вы-то кто, чтобы меня утешать? — сказала она, смеривая его взглядом. — С чего вы взяли, будто я плачу? — и снова стала глядеть вослед подпоручику, который уже входил в здание.

— Я помогу вам, — сказал он упрямо.

— Мой брат не нуждается в вашем участии.

— Вы прикажите только, — и он стянул шапку с головы. — Вы только прикажите... Как у меня сердце горит, чтобы помочь вам! — И рыжие его космы вспыхнули вдруг, приведя ее в некоторое изумление.

Он вдруг увидел себя в ее круглых глазах. Он стоял там, в них, большой, без шапки, румяный от молодости и мороза.

Она качнула головой и пошла к воротам крепости.

— Сударыня, — тихо позвал он, — смилуйтесь, сударыня... Я не обманщик.

Она уходила. Тогда наш герой, боясь потерять ее, шагнул следом, но она, видимо, услышала, как скрипнул снег под его ногами, и заторопилась.

Тут-то его, недоумевающего, и застал Павел Бутурлин, и потащил в комендантский дом, журуя за медлительность, ибо там судьба его, быть может, складывается наипрелестнейшим образом...

— Каким же это? — не понял наш герой.

— А ты иди, иди, Ванюша, — загадочно усмехнулся Бутурлин. — Лови момент, лови момент... Чем это ты угодить-то смог?

В скором времени все это выяснилось, как только ввалился наш герой в комнату, служившую временным кабинетом правителю дел господину Боровкову.

— Ну-с, вот так, значит, — сказал Александр Дмитриевич, — повезут завтра утречком подпоручика Заикина в Малороссию, дабы он указал место сокрытия одного ужасного документа...

В небольшое окно кабинета виднелся крепостной двор, ворота, в которые скрылась сестрица подпоручика, полная тайны и волшебства, хотя могло и так случиться, что она вот-вот вернется...

«Вот и опять о подпоручике речь, — подумал наш герой, — судьба мне с ним связанным быть», — и обрадовался при этом.

— ...ужасного документа, именуемого «Русскою

Правдой», — продолжал меж тем Боровков и при этом странно улыбнулся одними губами. — Я хочу дать вам понять, что вы должны в сем предприятии участвовать тоже, и участвовать вы в нем должны с трезвой головой и с ясным сознанием, проникшись всей ответственностью сего дела.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие, — сказал наш герой, словно он был и не дворянин вовсе, а так, некто, и при этом он снова покосился в окно: а вдруг она появится.

«Истинно судьба, — подумал он. — Вот и мне с ним, с подпоручиком, ехать, а он мне как брат».

— Я что имею в виду, — сказал Александр Дмитриевич, снова улыбаясь одними губами и пристально всматриваясь в глаза нашему герою, — вы преотлично грамотны и поможете составить опись найденного и различные донесения, кои могут понадобиться.

Во дворе постепенно темнело. И она не появлялась. Зато множество других печальных женщин передвигалось под окнами в надежде на удачу.

— ...Начальником команды вашей будет ротмистр Слепцов, — сказал Боровков. — Поедете затемно, втайне. Я что имею в виду: преступника ублажать не следует, но и не игнорируйте, ежели он почему-либо упираться станет, смягчите его, смягчите.

«Совсем еще молодой, — подумал наш герой о Боровкове, — а в каких уже правах!»

— Вот как повезло тебе, Ванюша, — сказал, усмехаясь, Бутурлин, когда они вышли. — Какое тебе доверие.

Голова у Авросимова слегка кружилась, и усмешка Бутурлина пришлась ему не очень по душе. Времени до отъезда оставалось совсем ничего. Но не успел он в своей канцелярии как следует позаниматься перепискою бумаг, как совсем повечерело и его снова кликнули к Александру Дмитриевичу.

Боровков снова встретил его своей редкой, ускользающей улыбкой, которая загоралась невесть с чего и

гасла, словно ее и не было, и при этом была столь слаба, что думалось: а улыбка ли это? А может, вовсе и не улыбка, а подергивание губы?

— Ну-с, — сказал Боровков, — я вот что хотел уточнить с вами, любезный, — и он улыбнулся, — что же это вы, любезный, упустили из фразы важное слово? Гляньте-ко, гляньте-ко, было «злонамеренное тайное общество», а у вас — просто «тайное общество»? Позабыли-с?

— Виноват, — пролепетал наш герой, — и точно позабыл, виноват...

— Не винитесь, не винитесь, сударь, это я вам в острastку говорю... Не дай Бог, попадет сия ошибка на глаза членам комитета!.. Хорошо еще, что одна. Не так ли, сударь?

За окном на сей раз уже было темно, только несколько фонарей помаргивало, ничего вокруг не освещая.

— Верю, — сказал Александр Дмитриевич, — что это недоразумение, — взгляд его словно смягчился. — А я листаю ваши бумаги, листаю, глядь — пропуск. Я весь потом, сударь, за вас покрылся. Ведь не какой-нибудь там предлог пропущен бесполезный или какое-нибудь там междометие... нет, характеристика, сударь. Представляете, что могло бы выйти?

— Представляю, — прохрипел наш герой.

— Уж тут я начал поспешно так искать, уж нет ли второй ошибки подобной. Ведь ежели одна, она и есть ошибка, а коли две да одинаковых?.. Это ведь уже система, сударь, — и он улыбнулся. — Пособничество в укрытии истины...

— Одна, одна, — сказал Авросимов.

— Одна ошибочка, одна, — согласно закивал головой Боровков. — И вот я листаю, и что же вы, сударь, думаете? Вот глядите-ко, глядите-ко, там, где допрашиваемый свидетель капитан Майборода Аркадий Иванович определенно высказывает, что, мол, заговор, вот глядите-ко, глядите-ко: его рукою написано: «сие ужас-

ное скопище заговорщиков», а у вас? «Заговорщики», и только. Пропало отношение, пропало...

— Дозвольте, я исправлю, — сказал наш герой, холодея.

«Как же это я допустил?!» — подумал он с ужасом, протягивая руку к перу.

— Я сам исправлю, — и Боровков, взяв перо, понес его к листу, но не донес и отложил на прежнее место.

— Позвольте мне, милостивый государь. Черт попутал...

— А я уже исправил. Вот так хорошо будет.

— Да как же так? — удивился Авросимов. — Вы же и не вписывали ничего!

— Нет, вписал, — сказал Александр Дмитриевич и долго глядел в глаза Авросимову. — Вписал... — и улыбнулся, словно наслаждаясь страхом нашего героя.

Так они молча смотрели друг на друга. То есть Александр Дмитриевич смотрел, а Авросимов подставлял ему под взгляд то щеку, то другую, то лоб.

— Я что имел в виду, — сказал Боровков, — а может, и не нужны сии словесные украшения? Следствие — акт серьезный, сударь, — и снова улыбка. — Вы сие отвергли, и в этом есть резон. Вы сие отвергли сознательно? Сознательно. Вы не эмоциями руководствовались. А ведь эмоции нас могут закружить да не туда завести, сбить с толку. Поняли вы меня?

— Нет, — выдохнул Авросимов.

— Да вы поняли, поняли...

— Нет, нисколечки...

— Я что имею в виду, — сказал Боровков терпеливо, — а именно вашу честь и будущность...

— Виноват, — сказал Авросимов.

— Да я не виню вас. Ежели это сознательно, то это одно, а ежели по глупости, то совсем и другое.

— Не знаю, — еле слышно выдавил наш герой.

— Да я не виню вас, — сказал Боровков, — напротив, видя ваше замешательство, я не нахожу ответа: можно ли на вас полагаться?

«Где уж тут на меня полагаться!» — подумал Авросимов, а сам все-таки покосился еще раз в окно в надежде увидеть там снова сестрицу подпоручика.

День был воистину ужасный. Наш герой ничего в толк не мог взять, покуда долгое сидение за бумагами не попритушило волнения. Он так стал размышлять: «Почему же правитель дел не внес исправлений? Значит, наказать меня хочет. Членам комитета показать бумаги: вот, мол! А зачем же он мне поездку доверяет, составление важных документов? Значит, ценит? А чего же он тогда...»

Мысли эти, это истязание продолжалось бы долго и, может быть, согнуло бы нашего героя, как вдруг вручили ему новые опросные листы, что комитет заготовлял для преступников, и приказали нести их к Пестелю в каземат и там, не вступая со злодеем в откровенные разговоры, забрать у него уже ранее им составленные ответы на прежние вопросы, доставить их в Следственную, а ежели что в новых вопросах будет арестанту неясно, разъяснить, и только.

«Чертов полковник! — подумал наш герой, забирая листы и шагая по коридору к лестнице. — Из-за него все, из-за него! Не зря они все его корят, все его друзья бывшие!.. И подпоручик, бедняга, из-за него в каземате сидит, и сестрица его, ангел, из-за него по двору мечется, и мне муки... чертов полковник!»

Разгоряченный сими чувствами, он так и выбежал во двор на мороз без шубы, в одном сюртучке, с черной папкой под мышкой, в которой новые опросные листы таили свои каверзы. Быстро перебежал двор, обогнул соборную ограду и помчался к страшному месту, обвеваемый морозным вечерним ветром.

«Не зря тебя судят, злодей, и казнят! — думал он на ходу. — Как ты всех замучил! Как ты всем жизни перепутал, враг!»

Для него, молодого, да раннего, это было и неувидительно — так с ожесточением воспринимать все, что было вокруг, словно все это получалось по причине Пе-

стелева злодейства, ибо тут и взрослый сильный человек мог пошатнуться во мнении, не то что юнец.

Вы только поглядите, милостивый государь, каково-то ему было изо всего выпутываться, что на него навалилось: с одной стороны, стало быть, сердечное кипение, всякие планы, эдакий взлет душевный, а с другой — страдания, зависимость и страхи.

И чем больше вырисовывался перед ним мрачный силуэт крепостной стены, тем сильнее охватывали его негодование и гнев, и так вот, сопя и бормоча проклятия, заиндепевший весь, сопровождаемый морозными клубами, словно духами ада, размахивая черною папкой над рыжею головой, ввалился наш герой в караульное помещение, временно оборудованное в одном из казематов куртины, где большой фонарь, свисая с потолка, странно освещал покрытые зеленой плесенью своды. Дежурный офицер развел руками, ибо по позднему времени уже не имел ключей, а находились они, по недавно установленному порядку, у плац-майора Подушкина, некоронованного короля сих казематов, имя которого, и без того знатное, утвердилось окончательно благодаря возмущению, происшедшему в недавнем декабре.

Дежурный офицер поманил за собой Авросимова, и они направились к плац-майору.

Несмотря на поздний час, плац-майор бодрствовал. Сильный запах водки исходил от него. Человек он был большой и грузный, и неопрятный, но это нашего героя не смущало, ибо детей с ним крестить он не собирался.

— В нынешние времена мне, сударь, ни сна, ни покоя, — рассказывал плац-майор, копошась в связке ключей и приспособившая ее, чтобы удобнее нести. — Никто теперь без меня никуда-с. Государственные преступники — это, конечно, само собой, так ведь их много, сударь, много! Да все не в себе, с капризами...

Теперь уже втроем они шли по направлению к первой стене.

— ...Прежде всего ублажи, — говорил плац-майор, медленно и с одышкой вышагивая, — подай, возьми, на-

корми... А знаете, сударь, какво аристократа-то ублажить? Черного хлеба, к примеру, он не ест... Не спешите, сударь... Да я его уговорить должен... Или вот заприте — отопри... На каждого ведь особое предписание: содержать, к примеру, хорошо. Что сие значит? Давать чай, как ни попросит, бумагу, белый хлеб-с, солдата в лавочку гонять, а коли денег у арестанта нет — свои выкладывай, вот как-с... Или, к примеру, содержать строго... Не споткнитесь, сударь, тут приступочек... чай не давать, бумаги не давать, масло в лампе вышло — не давать, шуметь не давать... Или, к примеру, содержать строго, но бумагу, буде понадобится, и перо — давать... А ведь это, сударь, все на мне. Сначала, сударь, бывает трудно, покаюсь. Они все разные. После же, по прошествии времени... Теперь сюда пожалуйста-с, вот так... А по прошествии времени приспособливаются, и уж мне полегче тогда, натурально, полегче... В общем, не заскучаешь, сударь.

Они прошли ворота и остановились перед нешироким деревянным мостком, освещенным двумя фонарями. Здесь Авросимов еще не бывал. За мостком на острове виднелось мрачное здание Алексеевского равелина, за темными окнами которого, казалось, не было жизни.

— Слу-ушай! — крикнул дежурный офицер. Спустя некоторое время что-то щелкнуло, что-то прогремело, прозвенело и перед нашим героем появился унтер-офицер в сопровождении инвалидного солдата. Они перешли мосток, разглядели плац-майора и молча повели его и Авросимова за собой к равелину, оставив на этой стороне дежурного офицера.

Сердце у нашего героя билось учащенно. Подошвы трудно отставали от примятого, утоптанного снега. Хотелось поворотиться и бежать отсюда куда глаза глядят.

Наконец звякнул болт, распахнулась калитка, и они все так же молча вошли в окованные двери. Перед нашим героем возникло сводчатое помещение. Множество

фонарей почти не освещало его. За сим была дверь. За дверью — коридор, под углом уходящий куда-то. Было слышно, как где-то звонко и скучно ударяется капля о камень. Пахло почему-то березовыми вениками да водкой от плац-майора.

— Вот вы обратите внимание, сударь, — сказал Подушкин хриплым шепотом, — обратите внимание, сколько их... Весь этот коридор да там еще, за тою вон дверью, а за тою — опять, да с двух сторон, и все ведь комнатки, комнатки, номера-с, сударь... Раньше на все про все — два, три несчастных, а тут навезли без счета, и все ведь, сударь, я.

И в самом деле потянулись двери камер, и солдаты, обутые в валяные сапоги, и фонари с оплывшими свечами, и снова запах березовых веников, гнили, прогорклого масла, водки...

И вдруг Авросимов замедлил шаги, так знаком показался ему сей коридор. Будто он тут и взаправду бывал уже, среди этих серых, однообразных стен, этот длинный коридор, полный вздохов и шорохов, не имеющий, казалось, конца. Ах, да он же вспомнил! Вспомнил недавние сновидения, когда, усталый от любовных утех, забылся и увидел пред собой этот длинный серый коридор, где еще пятно расплзлось по стене то ли от воды, то ли от выплеснутых щей... И тут в самом деле он узрел то самое пятно, точно такое же, как и там, в любовном сне, и именно от щей, ибо засохшие капустные остатки, налипшие на стену, теперь хорошо были видны. И пока плац-майор Подушкин, заметив недоумение нашего героя, желтым пальцем соскребывал со стены эти остатки, огорченно покачивая головой, Авросимов находился как бы в столбняке, не умея увязать яви и сна.

— Солдат споткнулся, пролил, — сказал плац-майор шепотом. — А так все аккуратно... Вот солдат пролил...

Капустная полоска долгое время все никак не поддавалась желтому скрюченному пальцу плац-майора, но

вот наконец оторвалась и плавно так, словно засохший лепесток розы, опустилась на каменный пол.

— Готов, — удовлетворенно сказал Подушкин и вытер палец о штаны. — Все на мне в этом доме, сударь, — и сильнее запахло водкой. — А теперь пожалуйте сюда.

Стража замерла поодаль. Ключ в замке прогремел. Щеколда ужасно заскрипела.

— Я, сударь, здесь вас погожу, а вы не сознавайтесь обо мне, а то требовать начнут-с то да се, не дай Бог... Ступайте...

И он растворил дверь камеры и слегка подтолкнул нашего героя.

Теперь Авросимов стоял перед распахнутой дверью, за которой ему показались мрак и отсутствие жизни.

Теперь за ним, за его спиною, был уже один мир, в котором шепотом переговаривались тюремщики, а впереди — другой, где горел масляный светильник.

Там, в неясном, желтоватом зареве грустного этого приспособления, расплывалась над столом согбенная фигура.

Авросимов-то вошел быстро, но ему самому показалось, что прошло долгое время, и дверь захлопнулась, как он только вошел, но скрежет еще долго висел в воздухе и холодил затылок.

Перед нашим героем сидел полковник-злодей и словно читал, однако книги перед ним не было и бумаги никакой тоже.

В одно мгновение тысячи мыслей вихрем пронеслись в голове Авросимова, одна пронзительнее другой. Вот он сидит в своем последнем доме, страшный человек, немец с маленькими глазами, который решил потягаться с государем. Но с государем тягаться невозможно, ибо едва об том шевельнется мысль, как тотчас Павел Бутурлин и их сиятельство граф, и плац-майор Подушкин, и он сам, Авросимов, накинутся, свяжут и потребуют ответа. Разве он не знал об том? Куда ж он шел? Чего же добивался? На что надеялся гордец, во-

зомнивший о себе невесть что? Друзья от него отворотились; жены добром не помянут; их сиятельство его боится, а раз боится, стало быть, в порошок сотрет; Авросимову он душу возмутил; и только крепостные казематы еще источают для него свое сырое тепло, балуют его и коварно покоют в своих стенах... Зачем же?!

Как Авросимов шагнул вперед, наклонив голову, словно рассвирепевший бык на красное, он и не помнил. Это была свирепость от горя и испуга, и боль, милостивый государь, клокотала в этом неопытном теле, когда он взмахнул рукой, так что железная кружка отскочила прочь, как безумная, и затарахтела по каменному полу в тишине.

Можно было подумать, что наш герой сейчас обрушится на пленника и задавит его, но тарахтение злополучной кружки вдруг отрезвило его, и он замер.

Павел Иванович глядел на него полуоборотившись. Вдруг он легче тени скользнул с табурета, поднял кружку, подал ее нашему герою, а сам покорно воротился на прежнее место.

Ах, как бы вам, милостивый государь, увидеть это! Увидеть, как злодей, имеющий сходство с французским узурпатором, сгибался над тюремной кружкой и подносил ее как бы даже с поклоном нашему оцепеневшему герою. Ах, он всего мог ожидать: и молчания, и гнева, и презрения, ну, наконец, пинка сапогом по кружке, ну, скажем, полковник мог ведь наклониться с достоинством и поставить кружку на стол, или там Бог знает чего еще... Но чтобы вот так!..

И вот теперь, после всего этого, Авросимов и не знал, что ему делать: то ли сказать что, то ли молча подать бумаги.

«Зачем же в ноги-то кидаться! — воскликнул он в душе. — Уж взялся, так держись. — И снова резкая боль его пронзила: — А что я-то могу?»

Пестель увидел обращенные к нему глаза Авросимова, в которых бушевали огоньки лампадки пополам со страданием.

— Господин полковник, — сказал Авросимов, — извольте принять опросные листы.

Павел Иванович с тою же поспешностью, что и прежде, выхватил папку с бумагами из рук нашего героя и зашуршал листами, поднося их как можно ближе к пламени светильника.

Авросимову показался он еще ниже, чем в Следственной, да и нанковый халат был ему не по плечу, и нелепая эта фигура вызывала больше сожаления, нежели гнева.

Тут наш герой вспомнил рассказы Майбороды и попытался представить себе полковника прежним, то есть в мундире, в лосинах, с холодным взглядом и с дерзостью в мыслях, но это ему не удалось.

Павел Иванович читал опросные пункты, шевеля губами. Веселое племя рыжих прусаков взапуски носилось по столу. Авросимов смахнул одного на пол.

— Покоя от них нет, — пожаловался Пестель. — Есть смиренные, так тех не видно, а этим что ни делай, ничего не помогает.

— Надо бы плац-майору сказать, — посоветовал Авросимов.

Павел Иванович усмехнулся:

— Разве это в его власти? Над прусаками он бессилен.

«Кабы я был на его месте, — подумал наш герой, — я бы не упорствовал, не гордился бы, я бы государю в ноги упал».

— Тут даже император бессилен, — сказал Пестель.

Авросимов явственно увидел себя самого, одетого в полковничий мундир и как он валится в ноги царю: «Помилуйте, ваше величество!» Но царь глядит на него с недоверием, поджав губы.

Пестель протянул нашему герою ранее заполненные листы.

— Извольте.

— Завтра на рассвете, — сказал Авросимов шепотом, — повезут подпоручика Заикина бумаги ваши искать.

Пестель стоял, опустив голову. Желтый прусачок мирно спал в складке его халата. Масло в светильнике еле слышно шипело.

— Я думал, вы меня ненавидите, — тихо сказал Павел Иванович и улыбнулся.

Авросимов шагнул было к двери, но резко оборотился.

— Я жалею об вас! — вдруг крикнул он. — Жалею! Жалею! — и распахнул проклятую дверь. Но это был не крик, а тоскливая мысль, забушевавшая в нем на мгновение.

Я, милостивый государь, позволю себе высказать вам свою мысль, которая давно во мне утвердилась, но которая, когда возникла, волосья мои подняла дыбом.

«Что же это такое? — рассуждал я по секрету. — Полковник Пестель призывал своих сообщников так все переверотить, чтобы рабство сломать и многим русским людям дать жить по-людски, а не по-скотски. Прав был Пестель или нет? Злодей он или пророк? Вот оно самое главное-то и следует, милостивый государь. Ежели он не был прав, зачем же наш нынешний государь, я вас спрашиваю, дал народу волю? Стало быть, Пестель был прав? Ах, милостивый государь, а ежели он прав был, ежели прав был, за что же его так позорно казнили?!»

Это я открыл для себя и вам первому сообщаю по большому секрету, и тут я вижу, как вы при сем бледнеете. Но вы погодите и слушайте дальше. Значит, в сем вопросе полковник был не злодей, но пророк. Это мы с вами установили. А государь?.. Тут сердце мое трепещет и содрогается. Он повелел казнить пророка! Вы говорите, мол, за цареубийство, но какое же цареубийство, которого не было? За намерения? Ах, милостивый государь мой, мы же не дети! Злодеем или

глупцом был покойный наш государь? Ежели глупцом, а Россия тому примеры знает, значит, нельзя было великой стране на его благодеяния рассчитывать. А ежели злодеем, ибо не внял пророку и вверг народ свой в долгое страдание, стало быть, и сам он достоин худшей участи. Вот, милостивый государь, до чего я додумался на досуге. Предвижу, как вы будете негодовать попервоначалу, но, поверьте мне подумав над сим, вы сами к тому же придете.

Вы не подумайте, ради Бога, что я себя пророком мню. Нет, нет. Но сильные мира сего страсть как не любят пророков, ибо пророки своим предвидением их престиж умаляют. И тут-то, в ослеплении, пророка они казнят, а уж после того переворачивают жизнь, как пророк ее предсказывал, и эти предсказания выдают за свои. Спрашиваю: что же это, мол, вы пророка отвергли, а теперь то же самое творите, что он велел? Предвижу ответ, что, мол, тогда не время было сие творить и пагубно, а нынче, мол, самое время... И так мы отговариваемся, милостивый государь, угождая собственной амбиции и тем самым замедляя движение жизни.

Теперь, думаю, пора нам с вами вернуться к нашему герою и к повествованию печальному, но поучительному.

— Позвольте, сударь, я с вас прусачка сниму, — сказал плац-майор, когда они выходили прочь из страшного сего места. — Вы удручены-с... Это я понимаю. По первому разу всегда так. Даже преступник, которому казематы наши — дом родной, и тот, сударь, пребывает в долгом оцепенении, а уж коли свежий человек-с, тому и подавно. Хотя я, например, к сему порядку привык, и мне, сударь, сдается, что у нас как бы и не трудно-с, — он вдруг засмеялся чему-то своему: — А что, сударь, пожалуй, мало таких мест в Санкт-Петербурге, чтобы сразу столько знатных господ знакомство со мной водили, хотя, я вам по секрету ска-

жу-с, прежних узников я больше обихаживал: когда мало их, на каждого щедрости моей помногу приходится. И вот некоторые из них помнят мои благодеяния и не брезгают здороваться, сударь, ну как там кому сподручнее, а некоторые гордятся. Ермолов, пока тут в прежние времена в заточении был, никак без меня не мог-с, я ровно нянька его обихаживал, а вышел — и не замечает-с...

Нынче в Следственной преступников не допрашивали, и Авросимов, сдав бумаги, стремглав отправился к себе на Васильевский, дабы подготовиться к трудному пути.

Спеша по ночной улице мимо редких колотушников, он воображал себя как бы капитаном или майором и непременно из гвардии, и что он вот сейчас, мол, торопится к любезной своему сердцу Амалии Петровне, которая, замирая, ждет его с рассказом, и как она в благодарность за его благородство дозволит ему поцеловать у ней ручку, но тут же фантазия его заиграла с неистовством и он увидел Милодору, как она входит в комнату, где они милуются с Амалией Петровной, и в руке ее — пистолет, направленный сопернице в сердце. Тут он выбивает страшное оружие из слабой руки плачущей Милодоры, она бежит, Амалия Петровна падает в глубоком обмороке, а тем временем появляется невесть откуда Владимир Иванович, жалкий человек, трус, тряпка...

Внезапно наш герой, предаваясь своим болезненным фантазиям, ощутил, как что-то скользнуло по его животу и мягко упало в снег. Он нагнулся и увидел свой английский пистолет.

«Дурная примета», — подумал Авросимов, поднял пистолет и направился было далее, но тут зловецкий экипаж военного министра, взвизгнув полозьями, вылетел из-за поворота и преградил ему путь.

Трудно сказать, почему, но вместо того, чтобы перепугаться, как обычно, наш герой успел подумать, что

ежели рукопись Пестеля найдут, то уж такое устроят вокруг нее пиршество, и тогда полковнику ни гордость не поможет, ни фортуна.

«Как же это я спросить его растерялся, об чем у него там написано, что все они охотятся за ней, словно за последней уткой!» — подумал он сокрушенно, видя, как распахивается оконце в экипаже.

— Подойди-ка, любезный, — приказал граф. — Опять полуночицаешь? Небось уже всех барышень перепробовал?

Авросимов лихо подошел, как бы еще находясь в майорском мундире, но обрюзгшее лицо графа, пронзительные его глаза и странный сей вопрос быстро выбили дурь из головы.

— Ты, любезный, однажды ко мне пожаловать отказался, — жестко сказал военный министр. — Интересно, это гордость у тебя или страх?

— Страх, — просто сказал Авросимов, хотя, ежели вы помните, он и не отказывался от посещения, а даже приходил, когда граф того пожелали.

— А почто у тебя предо мною страх? — без интереса спросил граф. — Я смертен. Все обиды с собой унесу. Кто об том вспомнит?

— Бумага, ваше сиятельство, — с дерзостью ответил наш герой. — Да вам не след об этом беспокоиться. Я, ваше сиятельство, никого обидеть не умею.

— Ух ты какой, — рассердился граф. — И девок не обижал? Такой здоровила да не обижал?

— Никак нет, Бог миловал.

— Ты нынче опросные листы к Пестелю носил? Носил, носил. Это я велел тебя направить... Искусить тебя... Ну как он, раскаивается?

«Откуда же сие ему известно?» — поразился наш герой.

— Мне все известно, — сказал военный министр. — Чего ладошкой прикрываешься? Иди знай, что у тебя там, под ладошкой. Парле ву франсе?..

— Никак нет...

— Я тоже — нет, а вот не в малых чинах хожу.

«Чего ему надо!» — взмолился про себя наш герой.

— Я вижу грусть в твоих глазах, — сказал граф.

— Да ты этим не гордись, любезный. У Пестеля тоже страдание русское, а он немец...

Тут наш герой увидел, как из-за кареты вышел Павел Бутурлин и молча остановился. Это несколько приободрило Авросимова.

— Ваше сиятельство, — взмолился он, коченея на ветру, — велите мне исполнить, что вашей душе угодно будет! Я все могу. Я только сих разговоров не могу выдержать, как они меня подминают, ваше сиятельство!

— Да ты что? — спохватился граф. — Эх его трясет. Такой медведь, а стонешь.

— И медведю больно бывает, — всхлипнул Авросимов, краем глаза поглядывая на Бутурлина, когда из него жилки тянут...

— Да кто ж из тебя тянет! — закричал военный министр. — Да как ты смеешь! — и приказал Бутурлину: — А ну-ка отпихни его прочь. Чего стал!

Бутурлин тонкой своей рукой отпихнул всхлипывающего Авросимова, но толчок был слабоват, так что нашему герою пришлось даже самому отстраниться, чтобы хоть видимость была.

Бутурлин уселся в экипаж, сделав Авросимову тайком ручкой.

— А что это ты за грудь держишься, — спросил граф, — ровно пистолет у тебя за пазухой?

«Как это он знает?» — ужаснулся наш герой, но тут оконце захлопнулось и кони понесли, дыша паром.

После этого нелепого разговора, которого лишь со стороны военного министра, одуревшего от водки и гордости, и можно было ожидать, наш герой намеревался наконец заняться своими делами, но не тут-то было.

Войдя в дом, он тотчас же по выражению лица Ерофеича понял, что в доме опять что-то неладно.

Старик молчал. Из комнаты доносились приглушенные голоса. Побледнев, наш герой шагнул к двери и остановился.

— Только крайние обстоятельства вынуждают меня терпеть ваше присутствие, — произнес знакомый голос Амалии Петровны.

— Душечка Амалия Петровна, — ответил голос Аркадия Ивановича, — это у вас же беда, а я, натурально, чист, ибо я исполнил свой долг, меня даже сам генерал-адъютант Чернышев отметили, и государь обо мне знает. Мало ли что меня ждет впереди, только я об том не могу знать. Сие радостная тайна...

Амалия Петровна. Нет, нет, сударь, ничего путного не произойдет, вот увидите. Ваш поступок еще много хлопот вам причинит...

Аркадий Иванович. Не рисуйте меня злодеем. Когда вы в Линцы наезжали и все было хорошо, вы и на меня с симпатией глядели.

Амалия Петровна. Мне страшно слышать это из уст человека, погубившего из корысти другого, более благородного и прекрасного, чем он сам...

Аркадий Иванович. Ну уж это вы напрасно. Да я вас прощаю. А вы спросите вот у этой молчаливой барышни, что лучше: царю служить или царя убить? Пусть она вам скажет... Пусть скажет... когда злоумышленники готовят удар, когда вам известно, как они готовят удар... вы спросите! Спросите!.. Пусть она вам скажет, когда клубок змей вас окружает... Нет, нет, вы ее спросите, спросите...

Амалия Петровна. Эта дама мне неизвестна.

Аркадий Иванович. Кто же вы в самом деле будете?

И тут наш герой в совершенном ужасе услышал голос Милодоры:

— А мы господ Враницких. Мы у них в девушках

были... А теперь они нас ихнему братцу подарили в деревню.

Амалия Петровна. Господи боже мой, это чудовищно. Велите ей уйти!

Аркадий Иванович. Да как это занесло тебя сюда? Экая ты лахудра...

Милодора. Для кого я лахудра, а для кого и нимфа прелестная.

Амалия Петровна. Да тебе же не место здесь, опомнись.

Милодора. А может, здешний барин меня в жены берет, выкупить хочет. Почему вам знать? Он мне предложения делал...

Аркадий Иванович. Ай да нимфа! А вы, душечка Амалия Петровна, не обращайтесь на нее внимания, не обращайтесь... Значит, вы считаете, что полковник благороден, а я нет? Он благороден своими ужасными замыслами, а я, рискуя жизнью, разоблачив это, не благороден?..

— Амалия Петровна. Господи, сколько унижения!

Милодора. А по мне, вы благородный господин. Чего это я вас никогда раньше-то не встречала?..

Аркадий Иванович. Пошла прочь.

Наш герой оглянулся на Ерофеича. Старик стоял ни жив ни мертв. «Что же делать?» — словно вопрошали его глаза. «Чего им надо? — подумал в свою очередь Авросимов без всякого вдохновения. — В сию страшную минуту, когда мне выпало решать тайну злонамеренного полковника, когда от моих донесений будет зависеть судьба его, эти люди, преисполненные корысти и всяких переживаний, забрели ко мне, столкнулись и, далекие ото всего, желают осуществить безумные свои замыслы, — и тут пафос его рассуждений возгорелся пуще. — В самом деле, как решается судьба другого человека, так их нет, а как своя — так они готовы ночью скакать, невзирая на путешествующего по ули-

цам графа и на разные толки, которые сеются вокруг них...» — и он вновь ощутил на себе мундир, и пистолет приятно надавил на грудь, и даже звон шпаги услышал он у правого бедра.

И вот, разгоревшись решимостью, полный благородной высокопарности, сверкая синими глазами, предстал он пред ними, словно молодой бог пред иудеями.

— Вот они-с! — тихо воскликнула Милодора.

— Господин Ваня, — обрадовался Аркадий Иванович, — а я вам сучку в презент принес. Я обид не помню, как ваш человек волком на меня глядел... Тут мне, господин Ваня, пофартило в Петербурге, чудный город, а я не могу, чтобы радостью с вами не поделиться.

И только Амалия Петровна молчала, устремив к потолку прекрасные глаза.

— Господа, — все с тою же высокопарностью в позе и голосе произнес наш герой, словно прощаясь с ними со всеми, — жребий, выпавший на мою долю, меня отнюдь не согнул, а напротив, я преисполнен такой неукротимой решимости, которая вам, господа, и не снилась. Нонешний день многое переверотил в моей душе, и отныне я принадлежу не себе...

— Слышите? — крикнул Аркадий Иванович Амалии Петровне. — Чем меня-то поносить, душенька, вы бы лучше прислушались к благородному сердцу!

— Вы, капитан, — продолжал Авросимов, — пронзили мое сердце. И я бы готов был плакать с вами вместе, когда бы Господь слезы вам послал.

— Не понимаю, — тихо сказал Аркадий Иванович.

— Когда вас по щекам били, помните? Я ведь тогда еще вас жалел, и мне бы вмешаться, но душа моя тотчас очерствела на сей подвиг...

— Совсем не понимаю, — еще тише произнес капитан.

— ...а теперь я вижу, что это и не подвиг вовсе, — продолжал Авросимов. — Истинный подвиг, он там,

господин капитан, — и наш герой указал в неизвестном направлении.

— Вот вы какой! — ахнула Амалия Петровна. — Да теперь уж горю не помочь, поздно уже. Ах, как мы опоздали, Боже мой!

Возглас ее чуть было не привел нашего героя в отчаяние, но высокопарность, бушующая в нем, его уберегла.

— Ваши слепые радости, — продолжал он меж тем, — далеки от меня и смешны мне пред лицом разрушения и обмана...

Милодора тихо плакала.

— Представьте, солнышко светит, птички поют, но мы того не замечаем в своей короткой жизни, а только замечаем себя самих, а истинных друзей можем очень просто отвергнуть, а после сами же в том раскаиваемся... А раскаянием этим — пятак цена! — крикнул он и сверкнул синими глазами.

Милодора продолжала плакать, так на нее действовали громкие, высокопарные и непонятные слова нашего героя, а Амалия Петровна глядела в окно, досадливо кривя губы...

«А не отвергает ли он сам их поспешно?»

Вот они обе перед ним: одна утонченна и прекрасна, но холодна, Господи Боже мой! Другая — мягче и теплее, однако воистину безобразна. Тут Авросимов вспомнил ночь в гостинице «Неаполь» и жаркие объятия Милодоры, и божественное ее лицо, едва озаренное слабым светом, как бы это была и не она, и как он захлебывался от восторга, и как она к нему приникала, словно поздний мотылек к лампадному огоньку. Ужели она? Да она же! Так уж лучше корочка во рту, чем пиршество на картине.

Амалия Петровна вдруг резко поднялась.

— Я не предполагала, — сказала она, — что вы можете быть так нелюбезны с несчастной женщиной, — и гнев отобразился на ее лице. — Затем, слушая ваши

бесчестные в мой адрес слова, я еще надеялась, что вы одумаетесь и мы сможем спокойно, как друзья решить что же делать нам дальше, как быть...

— Что делать? — не понял Авросимов.

— У нас с вами одна боль, так я считала, — пояснила она. — Но по мере того как вы говорили, я поняла вдруг, что надежды мои несбыточны, несбыточны, несбыточны!

Милодора тем временем продолжала тихий свой плач, то ли действительно разжалобившись, то ли поняв, что и ее надежда рухнула.

— Я вот что скажу, — вставил Аркадий Иванович. — Вы, господа, покрыли меня позором и решили, что с этим все? Но я, господа, человек крепкий, и слово нашего государя согревает меня, и уж ежели его касается дело, то я все стерплю, ко мне не липнет. Я думал, господин Ваня, что вам и впрямь сучка радостью будет, но у вас нынче в голове — полтавский базар, оттого я вас прощаю и зла не держу. Вы же, душечка Амалия Петровна, с вашей красотой могли бы и просто дома сидеть и не беспокоиться, а не то что скакать Бог знает куда в полночь, а зачем? Чтобы меня укорить? Да вы же моего благородства ничего не поняли, и не того благородства, которым ваши знакомые красуются, а высшего, — он засмеялся лениво так, беззлобно. — И я вас тоже прощаю... Я даже тех, которые в беспамятстве подняли на меня руку, тоже простил, вот господин Ваня свидетель. Мне один государь — судья.

Аркадий Иванович в отличие от прежних разов говорил медленно и снисходительно, и даже покровительственно, ровно благодетель какой-нибудь, и бывшие тревога и суета из его цыганских глаз исчезли. Голос его, мягкий, словно августовский вечер, даже располагал, а не отвращал, как можно было бы подумать, и только нашему герою не ласкал он слух, ибо перед глазами Авросимова, едва Аркадий Иванович произносил слово, тотчас возникал Пестель, словно поверженный Буона-

парте, бросающийся подать упавшую жестяную кружку.

— Ванюша, рыбонька, — сказала Милодора, — а меня в деревню подарили. Как же мы с вами теперь?

— Пошла прочь, — засмеялся Аркадий Иванович.

— Вы же меня к себе приглашали, помните? — продолжала девица, не обращая внимания на капитана.

Тут в комнате произошло странное движение, шорох, шуршание, скрип, какое-то облачко набежало или туман, или так показалось, но когда оно рассеялось, наш герой не нашел Амалии Петровны, словно ее и не было. Он хотел догнать ее, да махнул рукой: «Господь с нею».

Усталость дневная давала себя знать. Глаза начали слипаться, и он, не обращая внимания на присутствующих, направился в кухню распорядиться насчет отъезда. Едва он вышел, как в комнате тотчас забубнили.

Аркадий Иванович. Чего сидишь? Тебе же сказано отправляться.

Милодора. Так это вас по щекам били? Беденький... Это вас Паша, наверное. У него ручки тоненькие, да злые.

Аркадий Иванович. Не твое дело. Пошла прочь.

Милодора. Вы собак любите, а людей нет.

Аркадий Иванович. Пошла прочь. Ты лучше на себя-то посмотри, на себя-то...

Милодора. Нет, уж лучше вы на меня смотрите. Вон у меня ножки какие.

Аркадий Иванович. Опустит подол, дура!

Милодора. Да не пужайтесь.

Аркадий Иванович. Ха-ха... Канашка... Куда лезешь? Куда?.. Пошла прочь!

В комнате снова затрещало что-то, зашуршало, и Авросимов, полный гнева, бросился в комнату, чтобы велеть им обоим убираться. Картина, которую он застал, поразила его.

Аркадий Иванович взобрался на его кровать с сапогами, прижался к стене, словно распятый, и глядел безумными глазами на Милодору, которая подбиралась к нему со всякими гримасами.

— Ванюша, — сказала она, увидев нашего героя, — вот какой господин офицер, на кровать взобрался!

— Пошла прочь, — нервно засмеялся капитан. — Господин Ваня, в вашем доме ваших друзей обижают.

— Вы меня, Ванюша, больше знать не хотите, — сказала Милодора нашему герою, — я вижу. Бедная я нимфа.

— Господин Ваня, — попросил Аркадий Иванович, — вы велите человеку стелить нам. Спать пора... А ты пошла прочь.

И тут Милодора исчезла. Удивительное создание! Как уж там Ерофеич с нею объяснялся — одному Богу известно. Во всяком случае, постели вскоре были расстелены, и Аркадий Иванович устроился на диванчике, приказав Ерофеичу вычистить к утру сапоги.

Авросимову трудно было оставаться с капитаном в одном доме после всех разговоров и намеков, но хохол, словно и не ему все было высказано, устроился поудобнее на своем ложе и сладко зевнул.

Свечи были погашены. Тени успокоились. Наш герой так устал, что уже не мог противуречить капитану в его желании ночевать именно здесь. Дремота подступила. Послышался храп Ерофеича.

— Ох, господин Ваня, — вздохнул в этой тишине капитан, — разве ж я знал, що так оно выйдет? Вы не смотрите, что я смеюсь, мне, господин Ваня, страшно..

— Это вы про что? — спросил Авросимов, борясь со сном.

— Да все про то же, Господи Боже мой... Я ведь думал, как лучше, а видите?.. Всем-то не угодишь. Государю хорошо, а полковнику худо.

Сон отлетел прочь.

— «Черт бы его побрал! — подумал наш герой. — Эдак я не выплюсь, буду вареный ехать...»

— Вы бы уж спали, Аркадий Иванович. Ночь ведь...

— Да я бы и рад, господин Ваня, ах, не спится... Как вы думаете, что полковнику моему быть может?

Слова падали тихо-тихо, как легкое шуршание травы или кисеи под ветром, но были они отягощены былым безумством, былой горечью...

— Что же это вы все на одного навалились? — прошептал наш герой, зарываясь в подушку... — И друзья и враги...

— Кто враг?! Кто враг, господин Ваня?.. Вы этим поверили, которые меня во флигеле вашем бесчестить пытались?.. Эх вы!.. Да вам же полковник-то неизвестен, вы же не знаете, что он замышлял, как же вы можете его сторону брать? Вот что мне удивительно! Я ведь его любил, а как прознал про тяжкий умысел, какая уж тут может быть любовь, господин Ваня? Тут надо выбирать, господин Ваня.

Авросимов, не желая продолжения этого разговора, притворился спящим, даже всхрапнул.

— Господин Ваня, — зашептал капитан, — а господин Ваня, вы послушайте меня... Мне ваше расположение терять не хочется... Уж как вы представили меня героем, так не раскаивайтесь... Легко ли по лезвию ходить?.. Вы слышите? Вот вы себя честным считаете, порядочным, да вы и есть порядочный, господин Ваня, так вот вы же поедете с подпоручиком донесения делать? Разве ж вас за то судить можно? А меня можно, что я отечество спасал?.. Господин Ваня, вы слышите?..

Господи, кто же прав-то? Пестель, отвернутый к стене в Следственной, ждущий своей участи, поверженный, приуготовляемый к мукам за любовь к отечеству; капитан со своими цыганскими глазами, получивший пощечины за любовь к отечеству... Кто же?!

— А те, господин Ваня, которые меня по щекам хлестали, разве ж они отечеству не служат? Да вы им прикажите — они тотчас всех бунтовщиков на голгофу-то и поведут...

— На голгофу? — поразился наш герой.

— На голгофу, господин Ваня... Вот и вы едете, чтобы полковника уличить. И я его уличил. И ваши друзья. А за же они меня по щекам-то били?

— За барышню, — сказал Авросимов, теряя остатки сна.

— Ох-хо-хо, господин Ваня, не прикидывайтесь... Да я их прощаю, прощаю... Это вы прощать научитесь... Мы все ради отечества да государя... Когда бы вы прочесть могли, что там понаписано в сочинении господина Пестеля, за которым вам нынче ехать искать! Когда бы только могли, господин Ваня...

— А если не найдут?

— Найдут! — крикнул в тишине капитан. — Непременно найдут, — сказал он шепотом. — Не может быть иначе... Иначе я лжецом прослыву... Вы что, с ума сошли, говорить такое?

— Я говорю; если...

— Нет, нет, господин Ваня... Тогда я сам в ножки упаду высоким членам, чтобы меня послали. Я всю Украину перерою, все поля да леса, а сочинение найду... Если... Да как же может быть «если», когда моя судьба от сего зависит? И судьба нас всех... Да вы знаете, чего там понаписано? О, он читал мне, читал, господин Ваня! Да и они не отступятся, все генералы и великие князья и сам государь, куда там... Они сами землю рыть будут, господин Ваня, чтоб только найти сей документ... Господин Ваня, вы не спите?.. Велите вашему человеку дать мне кваску, дюже горло у меня сушит... Господин Ваня...

Наш герой снова притворился спящим, ибо не мог уже перенести подобного нахальства со стороны капитана. А капитан все говорил, но страх за кого-то, вдрут

возникший в душе нашего героя, отдалял и заглушал этот голос, и слава Богу, иначе можно было бы с ума сойти, борясь со сном, чтобы слушать Аркадия Ивановича. Вдруг голос совсем исчез. Тут Авросимов понял, что очень просто, это он сам завернул за угол. Голос остался там где-то, за спиной. А впереди снова лежал все тот же знакомый коридор, и наш герой чуть было не бежал по нему, задыхаясь от тревоги за кого-то. «Скорей, скорей!» Наконец снова показалось то самое место, где кто-то расплескал злополучные щи. «Скорей, скорей!..» Он потянулся за пистолетом, но тут коридор заколебался, пошел волнами и исчез. Лишь кто-то печально позвал издали и смолк. Он открыл глаза. Аркадий Иванович в одном исподнем сидел на краешке его кровати с кружкой в руке.

— Я понимаю ваше нежелание его звать, — сказал он, словно разговор их не прерывался, — его не добудишься... Да я и сам могу об себе позаботиться, — и он отхлебнул квасу.

А кто-то там звал, призывал, просил беззвучно и настойчиво.

Тут наш герой подлинно уж разгневался.

— Спице вы! — прикрикнул он на капитана, изменив своей природной деликатности.

Аркадий Иванович даже не обиделся, а покорно отправился на свое место.

Две кибитки скользили по укатанному тракту, направляясь на юг. Январское утро едва занималось, но начало его уже обещало ясный день. Морозец был самый жгучий, накопивший за ночь силу. Два белых молодых жеребчика, бегущих в первой кибитке, почти сливались со снежными просторами. Казалось, кибитка скользит сама по себе, благодаря какой-то чудесной силе. Второй экипаж влекли, напротив, две каурые лошаденки, и заиндевелые их бока придавали им вид фантастических чудищ, непрерывно взбрыкивающих и тонущих в клубах пара. Благодаря безветрию снежная пыль подолгу не оседала и висела над дорогой вытянутым серебряным облаком.

Мелькали мимо просыпающиеся деревеньки и барские дома, и грустные кладбища, утопающие в сугробах, и веселые церквушки, каждая на свой лад, на свой манер.

Подпоручик Заикин скорбно покачивался на сиденье перед нашим героем, у которого все надежды поспать в дороге разом схлынули, едва только их усадили в одни сани. Это произошло еще там, в крепостном дворе, и ротмистр Слепцов, адъютант генерала Чернышева, которому было поручено возглавлять все это предприятие, уселся рядом, и они понеслись в первой кибитке. Теперь два офицера покачивались перед Авросимовым, один в ручных и ножных цепях, другой — вольный. На подпоручике была его обычная военная форма, так что, ежели отвлечься от цепей, можно было бы представить, что это он, Авросимов, арестован, а два молчаливых офицера сопровождают его неведомо куда. Дорога вилась бесконечно, воистину в неизвестность. Так, разгля-

дывая обоих офицеров, предаваясь всяким размышлениям, которые в нем рождала дорога, наш герой внезапно вздрогнул, пораженный странной мыслью. Действительно, милостивый государь, оба офицера, и конвоир и пленный, были поразительно меж собой схожи, если не считать одеяния. Оба молодые, круглоглазые, с лихорадочным румянцем на щеках, одинаково задумчивые, даже печальные. Пожалуй, ротмистр был несколько постарше, но эта разница не мешала видеть в них братьев.

Минуло часа два, как вдруг ротмистр Слепцов наклонился к пленнику и принялся, орудуя маленьким ключом, сымать с него цепи, которые, робко позвякивая, смиренно укладывались на сиденье рядом со своим недавним обладателем.

Авросимова поразила эта процедура, и все, все, все минувшее, милостивый государь вы мой, снова показалось ему игрой, которую вот сейчас почему-то решили прекратить, дабы не зайти слишком далеко.

— Благодарю вас, — сказал Заикин с недоумением, растирая запястья.

— Так вам будет полегче, — смущенно улыбнулся ротмистр.

«Слава Богу, — подумал наш герой с облегчением, — как хорошо-то стало. Ах, так бы вот всегда! — и он взглянул на подпоручика. — Господи, как же он на сестрицу свою похож! Так же горд и нежен».

Авросимов глубоко вздохнул, и оба его попутчика тотчас же на него воззрились.

— Кабы ничего этого не было, — сказал наш герой дрогнувшим голосом, — ну этого всего... Ну там всего этого печального происшествия... А кабы мы могли с вами вот так запросто отправиться втроем... ну, скажем, к вам, господин ротмистр, в имение, ну и там нас, натурально, ждут...

Заикин, накупившись, глядел в оконце.

— Вы поэт, — засмеялся ротмистр.

— Погода чудесная, — продолжал Авросимов,

вдохновляясь. — Стол накрыт. Милые люди выходят встречать нас. Все нам рады... Могло бы и так случиться.

Тут наш герой поглядел на подпоручика и подумал, что, может, и неучтиво так-то вот разглагольствовать когда у человека горе, хотя он с самыми добрыми намерениями, от глубины сердца старается развлечь этого человека, такого молодого, а уже в беде... Да кто его знает, в самом-то деле, виноват ли он? Может, он как лучше хотел, а его в злоумышленники записали... Ах, Господи Боже мой, хоть бы кто ответил, не томил бы!

— Нет уж вы продолжайте, продолжайте, — попросил ротмистр, — вы уж с подробностями, что да как, тем более, что нам действительно через мою усадьбу проезжать...

Тут Заикин снова с недоумением быстро глянул на ротмистра.

— Да, да, — сказал Слепцов торопливо, — мы там и ночлег устроим, господа. Зачем же нам в ямской избе душиться?

И снова наш герой заметил недоумевающий взгляд подпоручика, а сам и вовсе преисполнился к ротмистру расположением, ибо вдруг так легко и просто недавние несчастья отступили и легкое облачко тревоги, которое вот уже несколько дней висело над Авросимовым, причиняя боль, тоже вдруг рассеялось, как и не было.

— Да продолжайте же, — сказал ротмистр. — Покамест вы все точно предусмотрели. Интересно, как у вас дальше получится. Вы и на картах гадать умеете?

— Нет, — засмеялся наш герой. — Это так, совпадение...

— Жаль, — искренне пожалел ротмистр, — мы бы славно вечер провели... Однако продолжайте, сударь, покорно вас прошу.

Авросимов задумался на мгновение.

— А что, может, вы и дом мой обрисуете? Ну-ка, интересно...

Наш герой, втянутый в игру, напрягся и вдруг как

бы увидел явственно перед собой на зеленом взгорке белый помещичий дом, окруженный столетними липами, и красную крышу, проглядывающую сквозь пышную листву. Под взгорком едва колебался пруд, по которому скользили белые лебеди...

— Полноте, — удивился ротмистр, — вы разве у меня бывали?!

Пламя всевидения охватило нашего героя. Он засмеялся.

— А откуда же зелень-то, сударь? — спросил ротмистр. — В январе?

— Да я так увидел, — сказал наш герой. — А что?

— Да нет, все правильно, сударь... Вот только, пожалуй, лебеди...

Печаль сползла с лица подпоручика, и было видно, что он с живейшим интересом прислушивается к разговору своих спутников.

— Ну дальше, — попросил ротмистр. — Подъезжаем, и что же?

Авросимов вновь погрузился в угадывание. Зелени уже не было. На запыленном снегом крыльце толпились дворня. Они вылезли из возка. По белым ступеням начали подниматься на крыльцо, обрамленное шестью колоннами, на которых покоился белый портик с облупившейся штукатуркой. Среди дворни, молчаливо приветствующей барина, Авросимов вдруг различил господские лица: какие-то немолодые дамы, барышни с расплывчатыми лицами, кавалеры — то есть их было даже больше, нежели простых людей, то есть они-то как раз и стояли молчаливым полукругом, а дворня была малочисленна и жалась к стеночке, к стеночке...

— Все правильно, — засмеялся ротмистр с еще большим изумлением, — только колонн восемь. А что это за барышни, понять не могу? Какие там барышни вам померещились?

— Милодора, — сказал Авросимов в пространство.

— Почему Милодора? Кто такая Милодора?

— Я и вашу сестрицу вижу там, — сказал наш герой Заикину.

Тот помертвел весь, передернулся, бедный подпоручик, провел ладонями по щекам, но попытался улыбнуться все же.

— Ну дальше, дальше, — нетерпеливо сказал ротмистр. — Ну, стало быть, приехали, так. Ну теперь пропустим лобызания и всякие там разговоры на крыльце... Ладно, пусть Милодора и сестрица господина Заикина... Вошли в дом, да? Что же видим мы перед собою? Ну говорите, сударь...

Нашему герою предстояло тешить уже не только ротмистра, но он и сам теперь заигрался так, что и остановиться не мог, словно спасался от себя самого, от графа Татищева, от Пестеля, от всей этой петербургской суеты, и воображение его, все более и более распаяясь, распахивало перед ним картины, одна другой невероятнее.

— Тут мы входим в дом, — сказал Авросимов с улыбкою, полною тайны, которая давно уже не озаряла его лица. — Сбрасываем шубы, а должен вам сказать, что вечер близок, и несут свечи, и мы усаживаемся в гостиной у горящего камина...

— А камина-то нет, — засмеялся ротмистр.

— ...И пусть, Бог с ним. Однако тепло. Скорей, скорей несите нам вина и яств! Несут. Ваша сестрица, господин подпоручик, ее ведь Настенькой зовут? Так вот она...

— Bravo! — крикнул ротмистр.

— Черт... — сказал подпоручик с восхищением.

— Она садится между вами, сударь, и мною, мы ведь с ней давно знакомы. «Ты-то как здесь?» — спрашиваете вы. — «А вот так», — говорит она, а сама смотрит на меня с лукавством. Тут вы, натурально, все понимаете и вы этому рады, сударь. — «Ладно, — говорите вы, — я не возражаю, а ежели что, я сам батюшке в ноги упаду, умилюсь его, живите, Господь с вами...»

— А что, сударь, — вдруг спросил подпоручик,

оставаясь на нашего героя круглыми своими глазами, — вам и в самом деле Настенька знакома?

— Не мешайте ему, пусть он рассказывает, — попросил ротмистр.

— Затем, — сказал наш герой, не ответив на вопрос подпоручика, — затем Настенька удалилась, чтобы не мешать нам в мужском разговоре, а мы сидим, пьем вино и рассуждаем о всяческих там возвышенных предметах, и ждем гостя, который с минуты на минуту должен объявиться.

— Кто же этот гость? — с удовольствием засмеялся ротмистр.

— Сейчас, сейчас, — проговорил подпоручик, — сейчас он скажет... Вы только ему не мешайте...

— Мы ждем гостя, — продолжал наш герой, обращаясь снова в пространство, как бы и ни к кому. — Наконец он входит к нам. Мы все, натурально, встаем, потому что невозможно сидеть, когда он входит. Сам он невысок, кряжист, армейский полковничий мундир ладно сидит на нем. Глаза холодны и глубоки. Движения размеренны. Он садится в кресло и сидит, ровно Буонапарте, ногу чуть вытянул...

— Кто же он? — спросил ротмистр хрипло.

Но наш герой не откликнулся. Распаленное воображение безумствовало. Теперь он совсем явственно видел все, что воображал, а попутчики его нисколько не заботили. Они сидели, вытянув длинные шеи и раскрыв свои круглые глаза... Авросимов даже позабыл, что в санях и какая печальная миссия ему предстоит, но видел, как он подошел к таинственному незнакомцу, на ходу оправляя свой майорский мундир, и сказал ему, словно век уже целый был с ним близок:

— Судьба не часто балует нас встречами.

— Полноте, — улыбнулся полковник, — с нашими-то заботами в наш век можно ли видеться чаще? Господа, — обратился он к остальным, — мы все продрогли с дороги, не выпить ли нам грогу?

— Пусть ротмистр распорядится, — сказал Заикин.

Покуда люди по приказанию ротмистра варили грог, приехавшие уселись поплотнее.

— Я было согласился с вашими республиканскими воззрениями, — сказал подпоручик полковнику, — но мысль о непрременном цареубийстве столь для меня ужасна, что она меня от вас отдаляет...

— Какая же республика, коли жив монарх, пусть бывший? — жестко отпарировал полковник. — Что это вы? Да разве вас кто силой тащил к нам? Вот ротмистр Слепцов — полный ваш антагонист, так что ж из того? Я могу уважать врагов.

— Какой я враг, — засмеялся ротмистр, — я, может быть, более друг, чем вы предполагаете... Я хочу вас предостеречь от неверного шага, но понятия благородства мне не чужды. Я выдавать не способен, господа, я просто вас арестовываю. Я даже понимаю ваш пафос: вы где-то там по-своему правы, и все-таки, господа, когда час ударит... Вы понимаете?.. Но пока вы в моем доме, прошу, господа, отведать грогу.

Тут подали грог. Аромат гвоздики распространился по комнате. Все потянулись к бокалам и с наслаждением отхлебнули.

— Вот видите, — сказал ротмистр, — как хорошо мы сидим в тепле и наслаждаемся беседой и грогом, а ведь осуществись ваши планы, господин полковник, и ничего этого уже не будет, а будет холод, кровь и братоубийство.

— Вздор какой, — засмеялся подпоручик, — просто грог тогда будет для всех.

— Это вот и есть вздор, — сказал ротмистр, — ибо всем всего никогда не может хватить. Так не бывает. Это же не сказка какая-нибудь. Да и зачем простому человеку грог?

— Ах, не в гроге дело, — сказал подпоручик. — Но когда наступит народное правление, тогда один не будет унижать других, тогда наступит расцвет искусств...

— Позвольте, — засмеялся ротмистр, — но народное правление — это ведь тоже власть, а власть, госпо-

да, шутить не любит. Сегодня одним плохо, а завтра будет другим. Какой же резон в ваших словах?

— Короче говоря, вы исповедуете рабство, — сказал полковник, — но, это анахронизм...

— А кто доказал сие? — снова усмехнулся ротмистр.

— Это очевидно, — сказал полковник.

— Нет, нет, — вмешался наш герой, — я не вижу ни у одного из вас резона, не вижу.

— Значит, вы утверждаете, что республика не может быть без царубийства? — спросил подпоручик полковника. — Вы настаиваете?

— Это не главное, — ответил тот. — Почему вы все время это помните? Вы же поклялись освободить отечество?

— Да, но он присягнул царю, — сказал ротмистр.

— Не беспокойтесь, господин подпоручик, — мрачно усмехнулся полковник, — думайте об избавлении родины от рабства. Царя я беру на себя...

— ...В этот момент кибитку потрянуло. Это словно подстегнуло усталых коней, они понесли пуце, а Авросимов прекратил свои фантазии.

— Кто же этот полковник? — спросил ротмистр упавшим голосом.

— Я знаю, — сказал подпоручик. — Но выдумки вашей хватило ненамного, сударь.

— Отчего же, — сказал ротмистр Слепцов. — Ротмистр Слепцов в вашем повествовании выглядит вполне благопристойно. Хотя что касается таинственного полковника, я-то догадываюсь, сударь, кого вы имеете в виду, но это не вполне соответствует истине, уж поверьте.

В этот момент кибитка стала, послышались хриплые голоса, в окошечко виднелась ямская изба, и на утопанном снегу золотилась раскиданная солома... Пришла пора смены усталых лошадей.

— Поскучайте-ка, господа, — сказал ротмистр и выбрался наружу.

Авросимову совсем было показалось их путешествие мирным, и он готов был фантазировать и дальше, поскольку это доставляло удовольствие его попутчикам, но тут, не успев ротмистр выйти, тотчас немолодой жандармский унтер, ехавший в задней кибитке, оказался у распахнутой дверцы и полез внутрь, и уселся рядом с Заикиным.

Наш герой как бы очнулся, ибо это напомнило ему о цели их путешествия, что тюрьма не спит, бодрствует. И тут он взглянул на подпоручика. Тот сидел, отворотившись от жандарма, с печальной усмешкой на устах, словно знал наперед, как все случится, хотя, может, и в самом деле знал.

«Вот как наяву-то жестоко все, — подумал Авросимов. — Вот он сидит, будто его кто врыл сюда, и хоть ты убейся, с места не сойдет и жилы у тебя вытянет, коли ему велют... А кто он? А он мой соплеменник, брат мой...»

— Хороший день нынче, — обратился к нему Авросимов. — Что за охота в кибитке сидеть? Шли бы прогуляли.

— Ваше высокоблагородие, — раздельно произнес унтер, — мы уж вернемся — нагуляемся. Нынче нам нельзя-с.

— Простыть боитесь? — спросил наш герой.

— А как же-с, засмеялся унтер, довольный, что с ним молодой рыжий, в пышной шубе господин ведет беседу. — У нас простужаться никак невозможно, — и одними глазами указал на подпоручика, который словно и не слышал этого разговора. — Я бы и рад прогуляться, да ведь простынешь, — он засмеялся вновь. — Мне перед отъездом строго-настрого велели: мол, гляди, Кузьмин, ежели простынешь!.. Мол, лучше обратно не вертайся, лечить зачнем.

— А больно лечут?

— Ох и не спрашивайте лучше, ваше высокоблагородие, аж до самых печенок, и не встанешь опосля... Так что лучше я в тепле посижу.

— А зачем же, Кузьмин, так больно-то? — спросил Авросимов, начиная испытывать раздражение и не понимая, отчего оно в нем вдруг пробудилось. — А может, это хорошо, Кузьмин, что так лечут? Может, без этого нельзя?

— Без этого, знамо, нельзя, — уже не улыбаясь, сказал унтер. — Кабы можно было, не лечили. Да я этого избегну.

— А ты сам-то, Кузьмин, других лечил?

— А как же, ваше высокоблагородие, бывало-с. У меня рука верная.

Тут подпоручик резко оборотился к нему. Унтер засмеялся.

— У меня рука верная, — повторил он.

— А не совестно вам рассказывать о своих злодеяниях? — с гневом спросил Заикин, весь бледнея.

— Так что, ваше высокоблагородие, — подмигнул унтер Авросимову, — как надобность будет, вы не сумлевайтесь: у меня рука верная.

Авросимову захотелось вскочить наподобие медведя и взмахнуть руками, чтобы унтер, прошибив дверцу, летел в снег, и глядеть, как он там будет нелепо извиваться, чтобы встать. Но следующий вопрос подпоручика остановил его.

— Неужто вам так лестны ваши обязанности? — спросил Заикин, расширяя на унтера и без того круглые свои глаза.

Унтер успел только подмигнуть Авросимову, как дверца распахнулась и ротмистр Слепцов, румяный и счастливый, предстал пред ними.

— Ну-с, — сказал он звонко, — можно и отправляться.

Тут унтер начал покорно выбираться вон, чтобы уступить место ротмистру, и Авросимов глядел на его напрягшуюся шею, пока он медленно сползал с сиденья и протискивался в дверцу, и сердце нашего героя сильно скакнуло в груди, ударилось обо что-то, и он ринулся к выходу... От сильного его толчка унтер рухнул в при-

дорожный снег, распластавшись, и наш герой заторопился следом, будучи не в силах удержаться в кибитке.

— Ба, — засмеялся Слепцов, — что за оказия!

— Ноги размять, — сказал Авросимов. — А ты что же это падаешь, любезный друг? — обратился он к унтеру, который наконец поднялся.

— Ваше высокоблагородие меня толкнули-с маленько, — сказал тот, стряхивая с шинели снег и поглядывая на нашего героя ничего хорошего не обещающим взглядом.

— Пьян ты? — спросил, смеясь, Слепцов. — Ступай на место!

Жандарм заковылял к своей кибитке. Золотая соломинка пересекала его спину.

Первое время они ехали молча.

Подпоручик, бывший свидетелем странной сцены, разыгравшейся перед ним, изредка взглядывал на Авросимова; ротмистр, вспомнив о дорожных фантазиях нашего героя, вдруг поник лицом, глаза его сделались печальны и настороженны, счастливое выражение исчезло.

Что же касается нашего героя, то он попросту спал или делал вид, что спит, во всяком случае, глаза его были закрыты, голова откинута, а молодые щеки терялись в густом приподнятом воротнике.

И все-таки он не спал, милостивый государь, а, полный случившимся, заново все это переживал и изредка поглядывал синим своим торопливым глазом на бедного подпоручика, лишённого даже права постоять за себя. Как бы должна была поразиться прекрасная Настенька, кабы видела, как Авросимов расправлялся с псом, как пихнул его, пса, плечом... Да мало ему было, мало!

Тут перед нашим героем возникла давняя сцена в злополучном флигеле, когда прекрасные его, Авросимова, друзья и Сереженька, покойный ныне, допытывались у капитана, как же он это смел даму оскорбить, хотя он никакой дамы (вот крест святой) не оскорблял,

а посему дергался в разные стороны, не спуская взора с желтой ладони Бутурлина. И вот, вспомнив эту историю, наш герой, конечно, мог преспокойно двинуть псу по его напрягшейся шее, а после спрашивать, что мол, случилось, и полезть обратно в кибитку, недоуменно пожимая плечами, то есть он так и поступил, да удар был слишком вял (вот жалость!), так, толчок какой-то.

— Простите, господин подпоручик, — вдруг сказал ротмистр, — я вынужден был приказать унтеру занять мое место на время стоянки, хотя сие вовсе не указывает на мое к вам недоверие, а просто инструкция...

— Да уж пожалуйста, — откликнулся Заикин, не поворачивая головы, — поступайте как знаете, сударь.

— Но вы не должны на меня быть в претензии, ей-богу... Давайте-ка обо всем забудем, а попросим господина Авросимова продолжить свои фантазии, а там, глядишь, и моя Колупановка вывернется.

— Э-э-э, — сказал Авросимов, — я и придумать больше ничего не могу. Ведь вот как стройно все получалось, а тут не могу, да и только. А вы, господин ротмистр, стало быть, и мне не доверяете, ежели считаете долгом своим жандарма...

— Да что вы, Господь с вами, — обиделся Слепцов. — Но видите ли, какая штука. Ежели, предположим, преступнику вздумается бежать и он, ваш пистолет отобрав, вам же его в лоб и уставит, вы ведь, милостивый государь, руки вскинете, и все тут, верно?

— А жандарм? — усмехнулся наш герой.

— А жандарм, сударь, при исполнении служебных обязанностей и рук подымать не смеет, а ежели и подымет, так чтобы на преступника накинуться...

В этом ответе ротмистра было ровно столько резону, чтобы не возражать, а только глянуть краем глаза на подпоручика, которого так открыто именовали преступником.

Ах, милостивый государь, мы всегда беспомощны, когда правы, ибо неправота лихорадочно обзаведется доказательствами и тут же все это вывалит вам, и вы

отступите, милостивый государь, ибо она свое дело знает, а правота об сем предмете не заботится: мол, ежели я правота, так без всего всем ясно, что я правота. Вот как.

Наконец, как снова поменяли лошадей, и уже другой молоденький жандарм насиделся в возке вместо унтера Кузьмина, и снова тронулись, Авросимов почувствовал, что голод его истерзает и холод замучает, а каково-то подпоручику в его шинелишке...

Ротмистр словно услышал его размышления, а может, и его проняло холодом да голодом, но он первым нарушил длительное молчание и сказал подпоручику:

— Вы простите, сударь, что я так долго не распоряжаюсь покормить вас. Ежели на пути, так мы время потеряем, а уж доберемся до Колупановки, там вам будет все, чего ни пожелаете, ей-Богу.

— Да я уж терплю, — улыбнулся Заикин. — Мне другого исхода теперь нет.

Поверите ли, как это ужасно, когда человек улыбается, произнося горькие слова!

И наш герой об этом же подумал в сей момент, и снова волна сочувствия к подпоручику и расположения к ротмистру окатила его.

«А ведь он мог бы и не извиняться, — подумал Авросимов, — а он вот извиняется».

Так они ехали. Постепенно, как это говорится, удавило четыре часа, и веселое, да недолгое северное солнце закатилось, только его багровый краешек еще маячил над лесом, отчего сосны да ели протянули длинные тени, синие и неподвижные. И вот тогда, когда мучения голода и молчания и всяких мыслей достигли уже предела, кибитка скользнула в лес, вынырнула затем, и перед путниками открылась восхитительная картина. Тракт серебрящейся змеей уходил вниз к застывшей реке, за которой снова начинался взгорок. На том взгорке в зимнем саду расположилась белая усадьба, и восемь колонн отчетливо вырисовывались в сумерках, а за усадьбой, за садом, тянулась Колупановка, перевали-

ваясь с пригорка на пригорок, будто старая баба с коромыслом.

Вожденные тепло и сытость были теперь рукой подать, но смутное ощущение тревоги, уже знакомое, пропавшее было на солнышке, снова шевельнулось в душе нашего героя. Словно мохнатая серая птица неизвестного имени, затаившаяся и бесстрастная, висело оно над ним, и при виде этой птицы сердце тотчас начинало колотиться о ребра и чей-то печальный голос все звал да звал непонятно кого, и откуда, и зачем, но так настойчиво и невыносимо... И наш герой делал невероятные усилия, чтобы отогнать эту птицу и не слышать этого зова, и на какое-то время это ему удавалось, как вдруг снова сквозь сумерки, сквозь лес пробивался этот зов и серая тень, а может, и не тень, а так, нечто, нависало над ним.

— Господа, — сказал ротмистр Слепцов, — мне, господа, очень по душе пришлись ваши фантазии, — и он кивнул нашему герою. — Давайте же, господа, сделаем вид, что нет перед нами печальной цели, что мы просто завернули сюда для отдыха и все мы, натурально, равны.

— Мне все равно, — не поднимая головы, отозвался подпоручик. — Поступайте, как сочтете нужным.

— Вот и славно, — обрадовался Слепцов. — Я жандармов отправлю в деревню, чтобы они нам глаз не мозолили, да велю им молчать обо всем. Мы славно отдохнем, господа.

Будто услышав слова об отдыхе, кибитка ринулась с пригорка, пересекла реку по синему льду и закрипела по садовой аллее. Вот и усадьба. Вот и крыльцо под снегом. И точно, молчаливая дворня застыла на том крыльце. Кибитка остановилась. Ротмистр распахнул дверцы. Его радостно за приветствовали, и это разлило по всему телу нашего героя умиротворение и предвестье покоя. И даже зов смолк.

По всему, дом этот был построен недавно, всего в конце прошлого века, но как-то быстро обветшал: ви-

димо, сырость и ветры, дующие на взгорке, решительно творили свое дело, так что колонны пооблупились, а в широких и гостеприимных сенях паркет кое-где вздыбился и отстал, так что руке доброго и неумелого деревенского мастера пришлось там и сям оставить следы своего мастерства в виде желтых сосновых заплата, прочных, но грубых.

Правда, этого никто толком и не замечал из приехавших, ибо челядь так искренно радовалась приезду барина, а путники так сильно продрогли и оголодали, что обволакившее их тепло дома и пробивающиеся с кухни нехитрые и здоровые ароматы приятно закружили головы.

— А вот Дуняша, — громко провозгласил ротмистр, — хозяйка сего гнезда, — и указал рукой на черноглазую вострушку, которая, вспыхнув вся от радости и смущения, загородилась концом белого платка.

— Милости просим, — пропела она из-за этого своего прикрытия.

— А что, Дуняша, чем ты нас побалуешь? — спросил ротмистр, скидывая шинель и знаком приглашая попутчиков последовать своему примеру.

— Чем же вас баловать, свет вы наш? — пропела Дуняша, уже не таясь.

Авросимов глянул на подпоручика. Тот стоял в стороне, уже без шинели, и, если бы не небритые щеки, можно было бы подумать, что он и впрямь прикатил сюда в гости, а завтра на заре помчится обратно к Настеньке своей или еще к кому, ибо у всякого есть к кому торопиться.

— Будто ты и не знаешь, чего я люблю, — засмеялся ротмистр. — И гостям моим будет любопытно.

И тут она опустила глаза.

«Эге!» — подумал наш герой, любуясь девушкой.

— Идемте, господа, — пригласил ротмистр, и процессия тронулась.

Вечер выдался особенный, надо вам сказать. В тесной, но гостеприимной столовой, где по стенам висели

старые ковры, разукрашенные старинным оружием, круглый стол встретил путников уже припасенной на нем семьей графинов и графинчиков, поигрывающих отраженным светом свечей, хитросплетением граней и тонов — от белого до темновишневого.

Старые и позабытые вниманием кресла под гостями были удобны и мягки, даже их легкий скрип не нарушал уюта, а, напротив, добавлял к нему нечто, подобное песенке сверчка.

Еще не успели уставить стол обещанными яствами, а уж у дверей вдоль стены начали выстраиваться девушки, готовые грянуть песню.

Ротмистр Слепцов глядел на их приготовления с улыбкой. Особенно он вспыхивал, стоило только прекрасной Дуняше оборотить на него взгляд свой. Вдруг он наклонился к подпоручику:

— Все это ради вас, милостивый государь... Я хочу, чтобы вы поняли, как я к вам отношусь. То, что там, в Санкт-Петербурге, все это вздор. Истинное — здесь. Видите, как вам все рады? Видите?.. Вон и Дуняша, а она другой петербургской барышне не уступит, и она... Видите? И все это для вас... Как она их расставила с толком...

— Благодарю вас, — отвечал подпоручик, обводя рассеянным взглядом сборище. — Благодарю...

— Ах, грустно мне глядеть на вас, — шепнул Слепцов, — да не горюйте, все обойдется... Генерал очень доволен, что вы сами вызвались место указать. Будет вам снисхождение...

В этот момент подали щи. Аромат их был так силен и густ, что бледное лицо подпоручика покрылось пятнами и по горлу прошла судорога.

— Однако вас любят ваши люди, — заметил Авросимов ротмистру.

— Ах, — сказал Слепцов, — мой батюшка был человек крутого нрава, да скоро уж год, как помер. При нем им житья не было. А я человек добрый, и им со мной хорошо. Вот Дуняша, видите? Она теперь у них

главная, хозяйка. Я рад, что им хорошо. Они ведь тоже люди, не правда ли, сударь? А вот друзья господина подпоручика утверждают, что сие — рабство... Так ведь что понимать под рабством? Вы вот спросите-ка их: хотя бы они со мной расстаться? Спросите... А ведь у другого и вольный — раб, ей-богу... Однако вот и щи. Прощу вас, господа, без церемоний, — и он первый поднес ко рту дымящуюся ложку.

Остальные сделали то же самое. Теперь полагалось приступить и к вину. Ротмистр поднял рюмку. Вино заиграло на свету. Дуняша, не сводящая глаз с барина, махнула рукой, и хор повел вполголоса:

На заре, на заре
Настя по воду пошла...

«Опять Настя, — подумал наш герой, млея от вина и щей. — Опять Настенька...»

— Как они вас ублажают, — засмеялся ротмистр подпоручику. — А как они ведут! Слышите? Эти вот, что фальцетом, плутовки. Ах, словно ниточка натянута!..

Настя по воду пошла...

Действительно, милостивый государь, хор был ладен и чист и высокие голоса девушек вызывали в сознании образ прозрачного ключа с прохладным бархатным дном.

Белой рученькой качнула,
Прощай, матушка моя!..

И по этому прохладному дну — две быстрые тени, золотая и серебряная, две легкие тени, которых и не углядишь, ибо над ключом склонились стебли да цветы и от них тоже тени, и они тоже переплелись. А вода звенит:

...Ты прощай, ты прощай,
Ты не спрашивай: «Зачем?»

Две тени, золотая и серебряная, это ведь две рыбки, милостивый государь, это ведь символы чистоты и веры. Они, хоть и слабые да беспомощные, но разве ж не они нам мерещутся? Нам, погрязшим в крови и безумстве? Поглядите-ка на Дуняшу, какие у нее руки! И два передних белых зубочка слегка приклонились один к другому... Когда их видно, голова кружится.

Ты не спрашивай: «Зачем?»

Тут, глядя на эту царевну, все позабудешь: и Милодору, и Амалию Петровну, и горести свои. Пой, рыбка золотая! Звени!..

Под горой стоит рябина,
Красны ягодки на ней...

— Ешьте, ешьте, друг золотой! — сказал подпоручику Слепцов. — Пейте, ни о чем не горюйте, Ах Дуняша, как она их!.. Как поют они, как поют!.. Вы и мои слова давешние забудьте, будто их и не было. Генерал Чернышев, после того как Пестеля арестовал, никак в себя прийти не мог — руки дрожали. Наливайте, пейте... Эй, вина!

Тотчас две темные молнии метнулись по комнате, забулькало вино, круглый стол сузился, и сидевшие за ним сошлись лбами и поглядели в глаза друг другу. Наш герой отчетливо ощущал прикосновение горячего лба ротмистра и холодного, влажного — Заикина.

— Вы принимали участие в арестовании Пестеля? — спросил подпоручик, борясь со сном.

— А как же, — вздохнул ротмистр. — Куда генерал, туда и я.

— А не боялись, что он стрелять будет? — спросил Авросимов, надавливая лбом на лоб ротмистра.

— А вы его жалеете? — в свою очередь полюбопытствовал ротмистр.

Под рябиной стоят Ваня,
Одна его люблю!..

Тут хор стих, затрепетал весь, будто ключ чудесный помутился, будто непогода какая ударила, будто ветер набежал и спутал стебли да цветы, и золото да серебро потускнело на рыбках, притихших в той темной воде, где донный ил под их плавниками всплыл вдруг, загоразивая все от людских глаз.

Одна его люблю...

Господи, да почему же грустно-то так? Да ты люби, люби! Радуйся. Уж коли он ждет тебя под той рябиной чертовой, так, стало быть, любит. Брось ты коромысла свои дурацкие, падай в охапку к нему, цалуй! Счастье-то какое: любит!.. Тут одни других арестуют, кто смел — тот и съел, а этот-то, под рябиной который, он ведь тебя любит! Ждет тебя, дуру. Чего ж ты плачешь-то?

Вино уже успело пробежаться по всем жилочкам и теперь жгло огнем.

— Не пойму я, — зашептал ротмистр нашему герою, — чего вас-то с нами послали? Вы мне всю обедню испортите. Какой он, Пестель, однако, в вашем воображении герой. Вы что, за дурака меня берете?

Авросимов глянул на Дуняшу. Она и сама на него глядела, не чинясь, без скромности. «Ты одна, одна в душе моей, Дуняша!» — крикнул он про себя, но она покачала головой, да так грустно: нет, мол, не верю.

— Запомните, сударь, — совсем трезво сказал ротмистр. — Пестель — глава заговора, и всякое упоминание его имени с симпатией может порядочным людям прийтись не по вкусу. Уж вы, господин Авросимов, выбирайте, чью сторону держать, да чтоб об том известно было...

Выбирайте, выбирайте... Вот она и выбрала того, который под рябиной. И с матушкой попрощалась...

Девушкам поднесли вина. Они выпили все разом. Утерлись белыми руками. Поклонились. И с самого краю откуда-то, будто месяц выплыл в лодочке, потянулся голосок один-единственный:

Не плачь, не плачь обо мне,
Не плачь, не плачь обо мне.

— Ой-ой, — закричал Слепцов. — Сердце разорвете!

Воистину сердце разрывалось от звуков этого голоса, при виде Дуняши и подпоручика, который уже не ел, не пил, а сидел, высоко подняв прекрасную свою голову, закрыв глаза, неподвижно, будто и нет ничего вокруг. Наш герой подумал, что паутинка прочно вокруг Заикина обвилась. А на что же он, бедняга, надеялся, когда в Следственной божился, будто знает, где она лежит, страшная Пестелева рукопись! Да как божился! «Я, я, я знаю! — говорил как в умопомрачении. — Велите меня послать! Я укажу». Но это сомнение вызывало, ибо не мог бедный подпоручик иметь к сему отношения, а именно к тому, как рукопись прятали. И генерал Чернышев, тот главный паучок, собаку съевший в таких делах, да не одну, а не то что Заикина, мальчика такого, генерал Чернышев тогда и спросил: «Вы сами зарывали?» — «Сам, сам!» — крикнул Заикин, бледный как смерть. Ах мальчик, а не напраслину ли ты на себя возвел? И он, Авросимов, строчил тот протокол, и голова его гудела в сомнении. Ведь судя по всяким там намекам, братья Бобрищевы-Пушкины к сему причастны были, но они сами — ни в какую, а он вызвался. Уж не обман какой? Не для отвода ли глаз? «Значит, вы сами зарывали? — спросил Чернышев. — А передавал-то вам уж не сам ли Пестель?» — «Я сам зарывал, — отвечал подпоручик, — а кто передавал, сказать не могу». Тут он, мальчик этот, побледнел пуще прежнего. — «Да как

же сие так, — удивлялся Чернышев, — вас в те поры и в Линцах-то не было». — «Был! — снова крикнул Заикин. — Проездом был, ваше превосходительство. Случай свел». Ну вот, случай так случай, бедный мальчик-подпоручик, какая вокруг паутника!

Наш герой поднял от раздумий голову и тут увидел, что девушки уже покидают комнату и одна лишь Дуняша замешкалась в дверях и обернулась, и снова глянула прямо в глаза ему.

— За такую песню полжизни отдаю, на! — крикнул ротмистр. — Да бери же ты!..

Но Дуняша все глядела на Авросимова и так вот, не сводя с него глаз, и вышла прочь, и исчезла за дверью.

Пора было и ко сну отправляться.

— Она на меня так глядит, — сказал ротмистр, — что все во мне переворачивается. Верите ли, иногда даже думаю: да пропади все! Ан нет, утром-то и отойдешь...

— А вы не удерживайте себя, — сказал Авросимов. — Уж ежели она именно в а м улыбку шлет, чего же ждать?..

— Что вы, господин Авросимов, — засмеялся ротмистр, — у нее жених...

— Да черт с ним, с женихом! — выпалил наш герой. — Да вы его на конюшню! Чтоб он знал...

— Это невозможно, сударь, — изумленно сказал Слепцов. — Это не в моих правилах.

Они разбудили уснувшего в своем кресле подпоручика, и все трое медленно отправились по коридору.

Представьте себе коридор саженей этак в шесть длиной, а может, чуть поболее. Одна его стена глухая, увешанная картинами, писанными маслом, в золоченых рамах, из которых выглядывали тусклые физиономии ротмистровых предков; по другой стене — две двери, ведущие в комнаты, предназначенные нашим гостям: первая — Авросимову, вторая — подпоручику, а сам

ротмистр намеревался устроиться в дальней, венчавшей коридор.

Сон у подпоручика как рукой сняло, ибо, привыкший к казематам крепости, он никак прийти в себя не мог от благ, выпавших на его долю, когда ни цепей, ни охраны, а сытость и любовь.

— Вы не сомневайтесь в моей порядочности, — сказал ему ротмистр. — Я, конечно, связан присягой и приказом, но, что касается моего дома, здесь вы можете чувствовать себя вполне свободно. Уж как могу, я стараюсь облегчить вашу участь, вы это, надеюсь, видите...

Подпоручик, тронутый всем этим, горячо благодарил доброго хозяина и вошел в свою комнату.

Авросимов также в свою очередь поблагодарил хозяина за хлеб-соль да ночлег.

— Вот моя комната, — сказал ему ротмистр. — Так уж коли что, не стесняйтесь меня будить, — и отправился, не найдя для нашего героя ни одного ласкового слова.

Авросимов неловко хлопнул дверью и огляделся. Комната была невелика, но уютна. Большое окно смотрело в зимний сад, озаренный новой луной. От нее пятно лежало на паркете. По стенам темнели картины, старинное кресло, обращенное к окну, словно приглашало утонуть в нем. Кровать была широкая, и Авросимов тотчас вспомнил гостиницу и недавнее свое приключение. Он уселся в кресло. Оно продавилось, зазвенело под ним, закачалось.

И тут же возник пронзительней, чем раньше, уже знакомый зов и серая невероятная ночная птица бесшумно снизилась и повисла над головой нашего героя, принеся с собой тревогу.

За стеной отчетливо кашлянул подпоручик. Скрипнула половица раз, другой, и уже пошел скрип, не переставая. Заикин метался по комнате.

Авросимов скинул сюртук, чтобы легче дышать в душно натопленном доме, и английский пистолет хлестнул его рукоятью по коленке. А надобно вам сказать,

что великолепное сие оружие, с помощью которого мы сокращаем и без того свой короткий век, покоилось в суконном кармашке, специально сооруженном нашим героем с таким расчетом, чтобы сей кармашек приходился как раз слева под мышкой, тем самым всегда скрытый просторным сюртуком и всегда готовый быть выхваченным. Что побуждало Авросимова так удобно приспособить оружие, он, верно, и сам не знал. Скорее всего, было это для него обольстительной заморской игрушкой, одно обладание которой возвышало в собственных глазах, ибо он и представить себе не мог реальных возможностей сего пистолета, предпочитая наказывать обидчика, да и то в крайнем случае, руками, по-медвежьи.

А зов не умолкал, а, напротив, усиливался. Кто призывал к себе нашего героя? Кто это там где-то на него надеялся? Чья обессиленная душа, запутавшись в сомнениях и страхе, нуждалась в нем так отчаянно и горячо? И вот пистолет английский, блеснувший под лунной, легко в ладонь улегся, и все тело нашего героя напряглось, как бы перед прыжком, и уже не было ни усталости, ни хмеля, а лишь учащенное дыхание — предвестье безумства.

Скрип половиц прекратился. Подпоручик, видимо, улегся наконец, бедный мальчик. Зато из коридора слышались новые шаги, тихие и вкрадчивые. Кто-то шел осторожно, словно опасаясь расплескать воду. «Дуняша!» — мелькнуло в голове нашего героя.

«Руфь умылась, умастила себя благовониями и надела нарядные одежды, а потом отправилась в поле...»

«Я Руфь, раба твоя, прости крыло свое на рабу твою...»

Авросимов распахнул дверь. Испуганное лицо Дуняши возникло пред ним. В белой руке она высоко держала свечу. Минутный страх ее пропал, едва увидела она нашего героя. Она улыбнулась, и два зубочка ее передних будто поддразнили Авросимова. «Нет, нет», — покачала она головой.

— Голубушка моя, — зашептал он с болью, — я зла тебе не желаю... Я тебя выкуплю, вот крест святой...

— Господь с вами, — рассердилась она, — да зачем мне ваш выкуп? Пустите, барин... — и снова улыбнулась, показывая два зубочка. — Вы своих лучше выкупайте, а нам не надобно...

«Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня?..»

И Дуняша медленно, словно в церковь, прошествовала по коридору и, отворив дверь в комнату ротмистра, скрылась за ней.

Авросимов воротился к себе, понимая, что отныне сну не бывать. Неслышимые в коридоре, снова явственно закричали в соседней комнате половицы. И вдруг наш герой различил в стене дверь, которой раньше и не заметил. Он нащупал ручку и потянул. Дверь подалась со скрипом. Половицы смолкли.

— Кто здесь? — тихо спросил пленный мальчик.

Что было ответить пленнику? Ах, стон твой напрасен, напрасен, ибо ты пока еще вольная птица и крылья твои не связаны, не перебиты.

— Это вы? — удивился Заикин, различив в темноте неясную фигуру нашего героя. — Что вам угодно, сударь? Вы следите за мной совсем уже бессовестно...

На это наш герой не смог ничего возразить. Он молча прошел к креслу и уселся.

— Вы пользуетесь тем, что я пленник и не могу проучить вас, — продолжал меж тем Заикин, но в голосе его было уже недоумение и даже сочувствие, ибо лицо нашего героя, освещенное луной, являло такую скорбь, такое нечеловеческое страдание, что у всякого порядочного и не лишнего чувств человека сердце не могло не дрогнуть.

А бедный подпоручик, как вы, вероятно, успели уже заметить, как раз относился к категории людей порядочных и добросердечных, а посему, преодолевая собственные несчастья, он подсел к Авросимову, чтобы

поинтересоваться, что же с ним приключилось, а может быть, и облегчить страдания.

— Сударь, — произнес наконец наш герой, — не корите меня понапрасну. Я действительно в полном расстройстве, и мне нужно было увидеть хоть одну живую душу. Клянусь вам, что я случайно обнаружил эту дверь и, услышав, что вы не спите, пришел к вам. Но не с просьбой о помощи рискнул я совершить сей шаг, никто помочь мне не в силах, но, зная, что вам и самому крайне тяжело, я питаю надежду хоть в малой мере облегчить ваши страдания.

Подпоручик выслушал это признание с крайним удивлением, но произнесено оно было с такой искренностью, обстановка была так невероятна, что не поверить ему было нельзя.

«Дуняша, чем доказать благородство свое?»

— Сударь, — продолжал Авросимов, — перед самым отъездом сюда я имел случай встретиться с Павлом Ивановичем, — при этих словах подпоручик стремительно прикрыл лицо руками. — Не буду клясться вам, что я разделяю ваши взгляды, сударь, даже больше того, скажу вам, что полковника Пестеля я с первых дней невлюбил, как злодея, а нынче, хоть и нет у меня к нему ненависти, но продолжаю его считать виновником наших с вами бед и несчастий...

— Вы заблуждаетесь, — глухо произнес подпоручик из-под ладоней. — Сейчас легко обвинять человека, который ни о чем другом и не думал, как о благе отечества... Но продолжайте, сударь, я слушаю вас.

— Я видел, как он поник головою при упоминании о своей рукописи, — с тоскою прошептал Авросимов. — Ведь ежели ее найдут и его мысли о цареубийстве подтвердятся, головы ему не сносить.

Тут произошло нечто чудесное; подпоручик вдруг словно принял целительных капель, словно окунулся в живую воду и вышел из нее обновленным и бодрым. Освещенное луной лицо его было прекрасно, большие круглые глаза его сверкали.

— Послушайте, — сказал он вдохновенно, — да вы чушь говорите! Пестель страдал от несовершенств общества так же, как и мы все, как и вы... Да уж вы позвольте мне всю правду вам говорить... Только вы этого не осознаете, а он осознавал. При чем цареубийство, сударь? Россия отстала от Европы на пятьдесят лет, она от этого несчастна, и это не Пестелем придумано. Да при чем тут цареубийство?! Теперь, ежели все это свершилось бы, графу Татищеву многого пришлось бы лишиться, и генералу Чернышеву, и великому князю, и всему Следственному комитету, и всем губернаторам, сударь, и сенату, всем, всем... А уж о государе и говорить нечего. Вы понимаете? Им всем, всем, вы понимаете? Так как же им не безумствовать? Ведь что могло случиться! А цареубийство в «Русской Правде» и не поминается...

— А хорошо ли это?.. — воскликнул наш герой. — Обществу угрожать?..

— Неправда, — сказал подпоручик, снова погасая, сие неправда и неправда. Теперь легко возводить напраслину на пленного...

— Так ведь друзья на него показывали!

— Неправда, неправда, — забубнил подпоручик. — Какая ложь. Теперь легко все вывернуть, переиначить. Да это неправда все...

— Как же неправда, когда все об том знают?

— Неправда, неправда... Ах, не были вы в моем положении!

— Я жалею вас, верьте мне! — крикнул шепотом Авросимов. — Я обещаю, что в Петербурге помогу вам с Настенькой свидеться... хотите? Я могу все ваши слова в протоколы с пользой для вас писать, с участием... Мне вас жалко, жалко вас!

Подпоручик словно боролся с безумством: руки его дрожали и он никак не мог застегнуть ворот помятого своего мундира, а, застегнув, принимался расстегивать, а потом — снова, и слезы лились по бледному его лицу.

Наконец мальчик этот несчастный переборол себя: то ли застегнул пуговицу, то ли расстегнул, но он сел на кровать и затих.

И тут в тишине ночной, как песня издалека, возникли едва слышные шаги, вкрадчивые и нежные. Наш герой прислушался; шаги доносились из коридора. Затем смолкли. Авросимов будто увидел, как она идет в белой домотканой рубахе, крадучись, по коридору после отчаянной своей любви, и истерзанные губы ее кривятся в плаче ли, в бессильной ли улыбке, и два зубочка склонились один к другому, дразня, а для чего — неизвестно. Видимо, она прислонилась на мгновение к стене. Но вот пошла. Старый паркет выдавал: скрип-скрип...

Тут наш герой, забыв о подпоручике, метнулся к двери и распахнул ее. Жандарм молоденький дремал, прислонясь к стене. Шагов не было слышно, но стоило Авросимову воротиться в комнату обратно, как снова они зазвучали. Теперь звук этот скрипящий доносился со стороны окна. Авросимов, совсем потерявший голову от всего происходящего, бросился к нему. Чье-то лицо, подобно луне, выплыло из-за стены и поползло по стеклу, и два недоверчивых глаза заглянули в дом. Наш герой узнал унтера Кузьмина, закутанного в тулуп. К счастью, луна в этот миг скрылась и подлый сей жандарм не смог разглядеть в комнате ничего подозрительного. Тут наш герой ощутил себя самого узником и тоска охватила его.

Подпоручик, видимо, заснул, как был, в мундире. Усталость свалила его.

Авросимов тихонько прокрался к себе в комнату, сбросил одежду, утонул в перине и с облегчением вздохнул.

Не отъехали они и десяти верст от любезной и гостеприимной Колупановки, как не проронивший до сих пор ни звука, а только вздыхавший Заикин обратился к ротмистру Слепцову с просьбой надеть на него наручники. Изумленный ротмистр попытался было отшутиться, но подпоручик глухим голосом на сем настаивал.

— К этому нет никакй надобности, любезный мой друг, — сказал ротмистр, пожимая плечами.

— А я вас прошу, Николай Сергеевич, сделать мне одолжение, — потребовал подпоручик. — И другом меня ради Бога не кличьте. Я этого имени недостоин.

На глазах его были слезы, и лицо сморщилось, по всему видно было, что рыдания душат его.

Ротмистр, удрученный таким неожиданным оборотом дела, нахмурившись и сжав губы, заново украсил руки пленника цепями, а затем, откинувшись на сиденье, застыл в неподвижности.

Что же произошло? Эта мысль не давала покоя нашему герою, и он совершал всяческие движения, дабы привлечь внимание подпоручика и, может быть, хоть как-то успокоить его и постараться выведать причину слез. Но подпоручик на Авросимова глаз не поднимал и вообще его не замечал, будто его и не было.

Уж не ночной ли разговор тому причиной? Или следственное дело припомнилось и гордость в мальчишке забушевала?

Так они ехали. Начинался февраль. Солнце вдруг скрылось, и мелкая снежная пыль забивалась в кибитку, так что пришлось воспользоваться взятыми из крепости казенными теплыми тулупами да валяными сапогами.

Так они ехали, похожие на горе-прасолов или на

купчишек, наскоро меня лошадей, в чем, натурально, отказу им не бывало благодаря гербовой бумаге в руках у ротмистра. На постоянных дворах им предлагали горячие щи и неизменную кашу, хорошо, когда с мясом, да если еще огурчиков соленых. Озябнув в дороге, они молча выпивали вина, чтобы несколько оживить закостеневшие свои тела, и проваливались в сон, не замечая ни клопов, ни тараканов.

Так они ехали. Но постепенно юг брал свое. А уже за Тульчином и вовсе потеплело, то есть не то чтобы наступила весна, а мороз спал и вьюга кожу на лицах не сворачивала.

Как ни пытался наш герой на протяжении всего пути вызвать подпоручика на разговор, так ничего в сем деле не преуспел.

Не задерживаясь в Тульчине, они поскакали дальше и к полудню прибыли в Брацлавль, который отстоял от цели их путешествия всего на какие-нибудь пять-шесть верст. Чтобы не привлекать внимания посторонних, ротмистр Слепцов отложил операцию до глубокой ночи.

Кибитки остановились у постоянного двора, в котором, несмотря на захолустье, имелись даже отдельные комнаты.

Видя, что подпоручик совсем не разговаривает с Авросимовым и что последний ничего предосудительного не пытается предпринять, а сам тоже находится как бы в прострации, Слепцов успокоился и перестал глядеть на нашего героя волком.

Жандармам, предварительно еще в пути сменившим одежду, чтобы не вызывать подозрений у мирных обывателей, среди которых могли оказаться и сочувствующие злоумышленникам, Слепцов положил разместиться в общей избе, а подпоручику и нашему герою была предоставлена светелка наверху, так что, скрытые от посторонних глаз, они могли наконец отдохнуть после многотрудной бешеной скачки через всю Россию и Малороссию.

Разместив всех таким образом, ротмистр отправился искать местного исправника, дабы заручиться от него всякой поддержкой, всякой помощью, какая понадобится, при сем не раскрывая даже и ему истинного смысла предстоящей ночной работы.

Дверь за ротмистром хлопнула, и наши молодые герои, я позволю себе называть их так, остались наедине.

Тут Авросимов разглядел, как сильно сдал подпоручик за дорогу, хотя слез он уже не лил, но грустные их следы хорошо запечатлелись на его исхудалом лице. По склоненной голове и невидящему взгляду можно было с легкостью догадаться, какие страшные бури опустошили за недолгий срок этот молодой организм, какие невероятные муки подточили эту еще недавно здоровую гордую душу.

Разница во внешнем виде Заикина меж днем отъезда и этим днем была столь разительна, что невозможно было оставаться к сему равнодушным. Но как же было что-либо выяснить, ежели подпоручик по неведомой прихоти совершенно не замечал нашего героя и делал вид, что не слышит его слов, когда Авросимов предпринимал редкие жалкие попытки вывести пленника из оцепенения. И здесь, в избе, покуда наш герой приводил себя в порядок и ломал голову, стараясь что-нибудь придумать, Заикин лежал на лавке, опустив руки до полу, безучастный ко всему. Вдруг он сказал:

— Чего там говорить о благородстве, когда ложью за все расплачиваются...

— О чем вы, сударь? — спросил Авросимов, радуясь, что несчастный этот мальчик пришел наконец в себя, но подпоручик не отозвался и даже не поворотил головы.

Тем временем вернулся ротмистр, очень, по-видимому, довольный ходом дел, велел принести в комнату обед, и они втроем уселись за стол.

И вот снова они сидели друг против друга, но так как, видимо, установившееся за последние дни молча-

ние не способствовало аппетиту, ротмистр нарушил его первым:

— И все-таки армейская жизнь имеет много прелестей, — сказал он, бросая взгляд на подпоручика. — Служить в Петербурге на виду у великого князя или у самого — это вам ого-го... Вам, Николай Федорович, весьма повезло иметь службу в полку армейском.

Подпоручик молчал, и Слепцов продолжал:

— Вы, Николай Федорович, скоро вернетесь в свой полк, уж вы мне поверьте. Лишь бы наше с вами предприятие нынче прошло успешно.

Щи были отменны, а может, с дороги казались таковыми. Неизменная каша была не хуже. И после обеда потянуло в сон. Подпоручик, закончив трапезу, так и не сказав ни единого слова улегся на свою лавку и закрыл глаза. Ротмистр и Авросимов переглянулись.

— Давайте спать, сударь, — сказал Слепцов. — Ночь нам предстоит нелегкая. У меня предчувствие.

Нашего героя сие предложение весьма обрадовало, ибо разговаривать с ротмистром не хотелось. После ночлега в Колупановке образ Дуняши не шел из головы Авросимова, и с тех пор, стоило ему только остаться с глазу на глаз с ротмистром, как тотчас мучительное видение возникало в нем, как шла она по коридору, с высоко поднятой свечой в руке, в белой домотканой рубашке, мимо брезгливых предков своего барина, к нему, чтобы ублажать его, лейб-гусарскую лису, забывая о плачущем женихе... Впрочем, как вы сами догадываетесь, наш герой не очень страдал сердцем за неведомого сего жениха, которого, может, и не было. Но когда в душе вашей переплелись два коварства, а именно когда к коварству Дуняшиному прибавлялось коварство ротмистра, суестьегося вокруг пленника, устраивающего представление со снятием цепей, с хором и прочим, и когда, словно две его тени, две жандармские физиономии показывались вам из дверей да из окон, тогда, милостивый государь, вам тоже было бы не сладко.

О чем он пекся, этот розовощекий круглоглазый

адъютант, раздавая обещания, похвалы и тайные угрозы? Кому служил? Богу, царю али собственной корысти? Хотя, ежели подумать, какая ему корысть? Но в то же время все-таки корысть, ежели его фортуна будет к нему милостива и рукопись будет открыта.

А ему, Авросимову? И месяца не прошло, а деревня забыта, где был он сердцем спокоен и душой здоров, и матушка вспоминается реже, а все больше иные картины маячат перед взором; то каземат, то флигель дивный, то Милодорочка, то граф... И голова теперь уже гудит не переставая. И тайный зов все тот же тревожит чаще. Ах, Пестель, злодей, виновник всего!

«А признавайся-ка, Дуняша, на кого ты давеча глядела?»

Словно злая лихорадка мелко трясла нашего героя. Уже давно все спали, когда он, так и не избавившись от озноба, последовал за своими попутчиками. Но не успел он отдаться сну, как его забило сильнее и он вскочил, подгоняемый неведомой силой, и побежал вон из избы, с постоянного двора, и бежал, покуда не очутился в знакомом коридоре, среди серых его стен, где опять слева на стене темнело пятно то ли от воды, то ли от выплеснутых щей. Рукоять пистолета горячила ему ладонь, зов о помощи раздавался то справа, то слева, то спереди. Скорей, скорей! Он торопил сам себя и задыхался, и бежал по чертову коридору сему к кому-то, за чем-то. Скорей, скорей!..

Тут его разбудили и кто-то опять остался спасенным.

Горела свеча. Спутники его торопливо одевались. Жандармы, и молоденький и унтер Кузьмин, находились здесь же и, закутанные в тулупы, напоминали ямщиков.

Наконец в двери тихонько постучали, вошел местный исправник титулярный советник господин Поповский, как его небрежно представил ротмистр, однако не представляя ему своих спутников как бы по забывчивости.

Исправник, на лице которого было написано страдание обойденного тайной человека, доложил ротмистру, что все, мол, готово и люди с лопатами сидят в саях, дожидаясь.

Постоялый двор спал, когда они, предводительствуемые исправником, возносящим в руке мигающий фонарь, осторожно, словно тени, прокрались по лестнице, через сени и вышли вон.

Кибитки стояли у самого крыльца. В открытых дровнях в сене сидели молчаливые испуганные люди. Все устроилось по своим местам, и ужасная сия кавалькада потянулась к селу Кирнасовке, где на околице ее, по рассказам, зарыты были страшные бумаги злодейского Павла Ивановича.

Перевалило за полночь, когда они достигли места. Ехали в полном молчании и разгружались так же. Сквозь темень проглядывала линия неподвижной реки, невысокий снежный берег да лес в отдалении. Фонари, прихваченные исправником, почти не светили, то есть желтые круги, падавшие от них, были малы и тусклы. Звякнули лопаты, кто-то выбранился испуганным шепотом.

Слепцов. Где же сие место, Николай Федорович?

Заикин. Погодите-ка, сударь. Я хочу оглядеться.

Исправник. А сей предмет железный или сундук?

Слепцов. Господин исправник, мы же с вами уговорились...

Исправник. Господи, вы меня не так поняли!

Слепцов. Может, вот здесь?

Заикин. Бог мой, да не дергайте вы меня!

Слепцов. На вашем месте я бы запомнил...

Исправник. Ежели не запомнили, так все напрасно...

Унтер Кузьмин. Ваше благородие, я на том конце стану, чтоб от села кто не подошел.

Слепцов. Ладно, ступай... Ну что у вас?

З а и к и н. Пожалуй, здесь.

И с п р а в н и к. Уж вы поточнее, милостивый государь. Ведь землю рыть, мерзлую землю.

С л е п ц о в. Господин исправник, приказываю я и говорю я. Вы ведите мужиков.

И с п р а в н и к. Да разве ж я претендую?

З а и к и н. Боже мой, какой позор, какой позор!

С л е п ц о в. Возьмите себя в руки, Николай Федорович! Vous n'êtes pas un homme¹.

З а и к и н. Легко говорить dans votre situation².

Лопаты глухо врезались в снег. Он был достаточно глубок и плотен, однако в скором времени уже обнажилась прошлогодняя трава. Послышался звук кирки, бьющей о мерзлую землю.

С л е п ц о в. Дьявол! Так мы и до утра не управимся.

И с п р а в н и к. Что вы, господин ротмистр. Люди застоялись, вмиг отроют. Ну-ка, ребята...

З а и к и н. Какой позор. Я совсем потерял.

А в р о с и м о в. Да вы успокойтесь. Сейчас найдут... Уж коли вам так того хочется...

З а и к и н. Оставьте меня...

С л е п ц о в. Что?

А в р о с и м о в. Я успокаиваю господина Заикина. Он совсем не в себе.

С л е п ц о в. Ну что там?

И с п р а в н и к. Покуда ничего... Ежели предмет деревянный, он мог и сгнить, хотя... ежели срок недолгий...

С л е п ц о в. Мы же уговорились...

И с п р а в н и к. Да вы меня не так поняли.

С л е п ц о в. Что-то пока ничего, Николай Федорович...

З а и к и н. Да?.. Может, к дороге поближе?..

¹ Вы не мужчина (франц.).

² В вашем положении (франц.).

Слепцов. Ведь должен быть ориентир. Вы же военный...

Заикин. Да, да, конечно... Вот здесь... Точно вот здесь...

Исправник. Что, не то место?

Слепцов. Ах, Николай Федорович! Да вы возьмите себя в руки. Здесь, что ли? А может, здесь?..

Заикин. Сейчас, сейчас... Боже мой, какой позор!.. Немного к дороге поближе...

Слепцов. Ну вот видите! Время же потеряно, черт. Вы не суетитесь, Николай Федорович, не нервничайте, а еще раз проверьте. Вот черт!..

Исправник. Поразительно, как это в моей округе что-то зарывают, а я и не знаю. Ежели б предмет был железный, его легче было бы найти, я уверен. Он что, в виде погребца, да?..

Слепцов. Уймись, наконец. *C'est malhonnête!*¹

Исправник. *Je veux faciliter votre tâche*². Вы меня неправильно понимаете.

Заикин. Ну, что там? Что же?

Слепцов. Покуда — ничего. У меня предчувствие, что ничего и не будет. Это место не похоже на то, где можно что-нибудь зарыть.

Заикин. Боже мой, Боже мой...

Авросимов. А может, и не зарывалось ничего, а так, слух пошел?

Слепцов. Что?

Исправник. Здесь тоже ничего. *Aucun resultat*³. Может быть, ближе к лесу? *Quoique j'en doute*⁴.

Слепцов. Эй вы, что за остановки? Давайте, давайте!

Исправник. Странная у вас компания.

Авросимов. Чем же, сударь?

¹ Это же непорядочно! (франц.).

² Я хочу облегчить ваш труд (франц.)

³ Никакого результата (франц.).

⁴ Хотя я сомневаюсь (франц.).

Исправник. Этот прекрасный подпоручик очень удручен, как будто решается его судьба. J'ai vu ses larmes¹.

Авросимов. Это от холода, сударь.

Исправник. Bien sûr². Он что, причастен?

Слепцов. Ну что там у вас?

Авросимов. Вы потише, сударь.

Исправник. Я так и знал. Quelle monstruosité!³

Слепцов. И опять ничего. Вот черт!

Заикин. Может, они плохо роют? Mais je me souviens, je me souviens⁴.

Авросимов. Вы не можете осуждать...

Исправник. Нет уж, могу! И даже смею!

Слепцов. Ну что еще? О чем вы?

Исправник. Господин ротмистр, мы напрасно теряем время.

Слепцов. Это еще почему?

Исправник. Ежели недавно зарыт предмет, ежели тут недавно зарывали, как же могла трава сохраниваться? C'est impossible, impensable⁵.

Слепцов. Черт! Trahison!⁶ Что же вы молчали?

Исправник. Я было пытался, но вы, etant de mauvaise humeur⁷, всякий раз обрывали меня...

Слепцов. Вы всякий раз говорили о чем угодно, только не об этом... Мы теряем время и деньги!.. Николай Федорович, голубчик, что же это, а?

Заикин. J'ai rien à vous dire⁸.

Слепцов. Ладно, до рассвета есть время. Сдела-

¹ Я видел его слезы (франц.).

² Естественно (франц.).

³ Какое чудовищное злодейство! (франц.).

⁴ Я же помню, помню (франц.).

⁵ Это же невозможно, исключено (франц.).

⁶ Предательство! (франц.).

⁷ Находясь в нерасположении (франц.).

⁸ Мне нечего вам ответить (франц.).

ем передышку и попробуем еще раз. А вы, сударь, подумайте, подумайте хорошенько, черт возьми! Мы не можем partir bredouillé¹.

А в р о с и м о в. Сударь, вспомните о том, кто несчастнее вас...

З а и к и н. Оставьте меня!.. Неужели вам радостна будет моя гибель?

А в р о с и м о в. Это не гибель, а жертва...

З а и к и н. Я уже жертвовал... Ничего из сего не вышло...

А в р о с и м о в. Да вы не сожалеете об том.

З а и к и н. Оставьте меня!.. Кабы вы знали про все, вы бы меня не мучали.

С л е п ц о в. Да, действительно, глубже копать уже некуда. Вы ведь утверждали, что неглубоко, да?

З а и к и н. Говорил... Сударь, Николай Сергеевич...

И с п р а в н и к. Люди готовы, можно начинать.

С л е п ц о в. Мы начинаем, господин Заикин. Мы попробуем еще раз. На вашей совести...

З а и к и н. Хорошо, давайте еще раз... Помнится мне, что действительно ближе к лесу. Да, да, теперь вспоминаю. На той же линии, только ближе...

С л е п ц о в. Здесь, черт возьми?

З а и к и н. Да, пожалуй...

С л е п ц о в. Или здесь?

З а и к и н. Нет, нет... хотя, впрочем, возможно, и здесь...

С л е п ц о в. Ну?

З а и к и н. Да, скорее всего, здесь... Да, я помню... Конечно... Николай Сергеевич, выслушайте меня...

С л е п ц о в. А, черт... Господин исправник, приступайте...

И снова глухо ударили лопаты и тяжелое дыхание копающих перемешалось с шорохом мерзлой земли. Что-то там бубнил ротмистр Слепцов, перебегая от од-

¹ Уходить с пустыми руками (франц.).

ного мужика к другому, взмахивая руками в отчаянии или во гневе. Подпоручик черной тенью неподвижно застыл в стороне, и в его позе тоже сквозило отчаяние. Из лесу крикнула птица, кто-то позвал пронзительно и тоскливо, и Авросимов ощутил в затылке холодок, словно кто-то стоял сзади. Обернувшись, он никого не различил, но в темечке продолжало свербить и печальный зов о помощи не умолкал.

Мысль о том, что в сей тайной работе нет резона, все больше и больше терзала его. Действительно, уж коли страшен был заговор, так не бумажками этими, ради которых столько мук, слез и унижений. Или это опять игра? Уж не заигрались ли в нее, чтобы была видимость истинного служения? Вот и подпоручик так искренне, так чистосердечно восклицал, что, мол, все неправда, напраслина, что сего, мол, быть не могло, то есть не было склонности к цареубийству... Да мало ли чего я понапишу! Нет уж, сударь, вы меня в действительности уличите, а опосля и казните, а так я пред вами, натурально, чист.

«А ежели он прав? — вдруг подумал наш герой с ужасом. — Хотя кто же нынче посмеет сие подтвердить? Противники-то разве подтвердят? А друзья ведь отрекутся...»

«...Дуняша, как же это ты от выкупа отказалась?»

А может, это ротмистр розовощекий ее принудил? Чего же она так печально глядела? Хотя чего же она так легко туда шла, словно в церковь, в своей домотканой рубахе? По этому скрипящему коридору?.. Ах, это не Пестелю по своему коридору идти... Жалеет ли он о своем поступке? Вестимо, жалеет, ежели бросился за кружкой перед ним, перед Авросимовым, который даже и не граф... Ах, вздор все, пустое. Вон он как перед графом сидит, с дерзостью... Да где вы взяли дерзость-то? Как где? Или я не вижу? Да что вы, сударь, один страх и есть... Полноте, не страх вовсе, а скорбь... Да как он посмел, ротмистр несчастный, Дуняшу к себе силком

заполучить?.. Как он мог правом своим воспользоваться, лицемер, говорящий, что они, мол, тоже люди!.. Ах, да оставьте вы, ей-богу, она, как на праздник, к нему шла... Вот как?

И надо было, покуда пистолет в ладони не охладел, ринуться, словно медведь, к ротмистру в опочивальню, где он готовился к наслаждению, чтобы поднять его с ложа, его, считающего себя в полной безнаказанности. Ах, как вскочил бы он! «Перестаньте дрожать, сударь, я не разбойник. Надеюсь, вы не откажетесь от честного поедника... Где и когда?»

Исправник. Командир Вятского полка Пестель неподалеку здесь жил.

Авросимов. Ну и что?

Исправник. Хмурый был человек. Злодейство на его лице было написано. Как это он один, однако, против всех решился?

Авросимов. А нынче все против него...

Исправник. И поделом... Видите, как это ужасно, нарушать общий ход жизни!

Слепцов. Ну вот. Опять трава. Нас водят за нос, как детей! Предчувствие меня не обмануло. Я как знал, что вылазка будет неудачна. Николай Федорович, ваши шансы теперь — пыль. *Vous comprenez à quel point votre situation est compliquée?*¹

Заикин. Боже мой, я сам во всем виноват! Какой невероятный позор. *Je me sens menteur*².

Слепцов. *Vos regrets, vous pouvez les garder*³. Они не помогают. Ладно, хватит. *Que les juges décident*⁴. Господин исправник, отправляйте мужиков.

Заикин. Господин ротмистр, Николай Сергее-

¹ Вы понимаете всю сложность вашего положения? (франц.)

² Я чувствую себя лжецом (франц.).

³ Раскаяния оставьте при себе (франц.)

⁴ Пусть решают судьи (франц.).

вич... Je veux faire un aveu important¹. Теперь уже все равно.

С л е п ц о в. Что еще?

А в р о с и м о в. А может, рытье до завтра отложить? Обдумать все...

З а и к и н. Ах, оставьте с вашими советами, Бога ради, Николай Сергеевич...

С л е п ц о в. Да говорите, черт возьми! Soyez donc un homme!²

З а и к и н. Теперь уж все равно. Vous avez été bon envers moi, et moi j'ai abusé de votre bonté³. Я лжец. Мне нет прощения. Вы были мне как брат, как отец, а я j'ai tout détruis⁴.

С л е п ц о в. Подпоручик, перестаньте жаловаться, в самом деле, Je ne veux pas en entendre parler⁵. Садитесь, господа, в кибитку.

Вот снова лошади рванули и понесли одуревших от усталости и разочарований людей к месту вожделенного их ночлега.

В светелке после того, как расстались с неугомонным исправником, случилось маленькое происшествие, которое послужило началом дальнейших новых испытаний нашего героя.

Милостивый государь, я уже имел честь объяснять вам, что всему на свете есть предел, и нынче, то есть в сию злополучную ночь, душа Авросимова взбунтовалась.

Истерзанный общим ходом дела, он, словно разъяренный зверь, затаившийся в кустах и выжидающий удобного момента, подкарауливал свою жертву, в ко-

¹ Я хочу сделать важное признание (*франц.*).

² Ну будьте же мужчиной! (*франц.*).

³ Вы были ко мне добры, а я злоупотребил вашей добротой (*франц.*).

⁴ Растоптал это все (*франц.*).

⁵ Я не желаю слушать (*франц.*).

тору ю велением души превратился ротмистр Слепцов. Все теперь в ротмистре возбуждало в нем гнев: и голос, и улыбка, и негодование, и то, как он ходит, как ест, как стакан подносит ко рту...

— Послушайте, — сказал ротмистр подпоручику, сидящему на своей лавке в обреченной позе, — вы взяли меня одурачить? Я на вас положился и получил за то. Надо было мне держать вас за арестанта, а не за друга, в которого я поверил и которого полюбил всей душой.

Тут несчастный подпоручик заплакал не стесняясь.

— Николай Сергеевич, — сказал он, плача, — я хочу вам сказать... но это, если вы... если это останется меж нами...

— Что же вы можете мне сказать? Что вы можете?.. Ну говорите, говорите... Я даю слово...

— Николай Сергеевич, — проговорил подпоручик с трудом, — делайте со мной, что хотите... Я рукописи не зарывал... Я ее и в глаза не видывал.

При сих словах ротмистр побледнел и долго пребывал в оцепенении.

— Для чего же вы сие проделали? — с ужасом и стоном спросил он наконец, — Вы понимаете, что это значит? Что же теперь, сударь?.. Но мне даже не потерянное время и невыполненный приказ столь ужасны, сколь ваша неблагородная ложь...

— Господин ротмистр, — проговорил подпоручик уже в полном отчаянии, — не называйте меня лжецом, — слезы так и текли по его лицу. — Да, я обманул вас, но в обмане моем не было злого умысла. Когда братья Бобрищевы-Пушкины отреклись от сего, а они, они ведь зарывали сии злополучные бумаги... так я решил взять на себя вину их... Всю дорогу, видя ваше со мной обхождение, я страдал и метался, понимая, что поступаю с вами подло, ввергнув вас в авантюру... Но поймите человека, очутившегося среди двух огней!

— Нет! — крикнул ротмистр дрогнувшим голосом,

словно борясь с собой. — Нет! Вы не смели, черт возьми, морочить головы мне, господину Авросимову, следствию и государю, сударь!.. — вдруг он поник и сказал с болью: — Как вы сами себя наказали! Как отягчили свою судьбу...

— Я не хотел зла, не хотел зла, — пуще прежнего зарыдал подпоручик.

Милостивый государь, жизнь раскрывала перед нашим героем множество страниц. Он повидал молчаливых преступников, с дерзостью встречавших вопросы судей, не желавших отречься от собственных злодейств; еще более было прекрасных и высокородных бунтовщиков, истекающих слезами и раскаивающихся. Их раскаяния начинались с порога, и уж трудно было, даже невозможно было их остановить, Бог им судья... Но это была новая страница, когда на глазах Авросимова свершалось чудо падения от страстного взлета в бездну, от пожертвования к рыданиям и страху, ах, ведь недавно совсем этот мальчик дух свой укреплял благородным стремлением, а тут вдруг повернулся спиной к собственному благородству.

Вот какую новую страницу перелистнула жизнь перед нашим героем, вот что повергло его сначала в ужас, а после — в гнев, которому суждено было расти, на его собственное несчастье. Он вдруг увидел, как некий неистовый вихрь пламени и дыма обрушился на племя людей, заставляя их плясать, извиваться и корчиться, словно они и не люди, а жалкие осенние листья перед началом зимы; затем он увидел, что сей страшный и неумолимый вихрь есть не что иное, как их собственные безумства, и он попытался заглянуть еще дальше и еще глубже, но там уже начинался Бог.

— Что же нам делать? — спросил ротмистр, когда страсти несколько поулеглись. — Участь ваша будет ужасна, господин подпоручик, ежели не найдется кто-либо в сем осведомленный, ежели вы его не найдете... Ведь должен был кто-то с вами об том разговаривать...

— Да, да, конечно, — проговорил подпоручик, едва сдерживая рыдания. — Такой человек есть... Дозвольте мне с ним встретиться, и я уговорю его раскрыть вам тайну.

— Кто он?

— Сударь, — вновь зарыдал подпоручик, — я назову вам сего человека, ежели вы пообещаете мне... дадите слово... Ежели в вас осталась хоть капля бывшего ко мне расположения, вы дадите слово, что оставите его имя в тайне... ибо он к сему делу совершенно непричастен... Если вы дадите слово... Ему просто показали, где зарыта рукопись, а какая, он не ведает... ежели вы дадите слово... ежели вы дадите слово...

— Назовите же мне его, — сказал Слепцов несколько в растерянности. — Время уходит. Я даю вам слово.

— Вы слышите? — обратился Заикин к нашему герою. — Он дает слово... Вы дали слово, господин ротмистр, Николай Сергеевич, что не предпримете к названному лицу никаких мер...

— Кто он?

— Сей человек, — проговорил Заикин строго, — мой родной брат Феденька Заикин, который здесь... в Пермском полку подпрапорщиком... ежели вы позволите мне с ним увидеться...

— Нет, — сказал ротмистр. — Это исключено. Вы напишете ему письмо. Горе вам, ежели он упрется! Я предвижу ужасный поворот в вашей судьбе...

— Сударь...

— Я хочу спасти вас. Еще одна возможность...

— Я не стою вашей доброты...

— Вы напишете как бы из Петербурга, поняли?.. Как бы вы из крепости пишете, — оцепенение покинуло ротмистра. Он заходил по светелке. — Вы тоже пишете, господин Авросимов, — шепнул он нашему герою. — Вы пишете подробный отчет о случившемся. — И снова громко: — Время не ждет. Я постараюсь раз-

добыть в полку фельдъегеря нынче же... — Исчезнувший было румянец вновь заиграл на его щеках. — Не медлите, господа: рассвет.

Подхваченные этим вихрем и узник и вольный дворянин равно заторопились, и в желтом сиянии свечи их сказочные перья помчались по бумаге, разбрызгивая петербургские чернила.

Не буду утруждать вашего внимания донесением Авросимова, ибо он ничего не добавил к безуспешной ночной работе, свидетелями которой вы уже были, а господин подпоручик Заикин написал следующее:

«Любезнейший брат Фединька!

Я знаю верно, что Павел Пушкин тебе показал место, где он зарыл бумаги, мне же он показал и, видно, неверно, я, чтоб спасти его, взял на себя, вызвался и, жестоко быв обманут, погибаю совершенно. Тотчас по получении сей записки от Николая Сергеевича Слепцова покажи ему сие место, как ты невинен, то тебе бояться и нечего, ибо ты будешь иметь дело с человеком благородным, моим приятелем, который ни мне, ни тебе зла не пожелает. Прощай, будь здоров и от боязни не упорствуй, ибо тебе бояться нечего, а меня спасешь. Любящий тебя брат твой

Николай Заикин.

Прошу тебя, ради Бога не упорствуй, ибо иначе я погибну, черт знает из чего, из глупостей, от ветренности и молодости. Если я пишу тебе сию записку, то ты смело можешь положиться на Николая Сергеевича Слепцова, ибо я ему совершенно открылся. Помни, что упорство твое погубит меня и Пушкиных, ибо я должен буду показать на них. Прошу еще раз, не бойся и покажи».

— Николай Сергеевич, но вы дали слово, вы дали слово, — сказал подпоручик, вручая ротмистру письмо.

Слепцов, весь кипя, схватил письмо и донесение, составленное Авросимовым, и исчез, и вскоре наши герои услышали, как кибитка умчалась от постоянного двора.

Наш герой, будучи не в силах видеть отчаяния, обреченности и падения молодого офицера и не имея способов поддержать его, ибо молодой офицер сей полностью его не замечал, вышел вон из дома, чтобы просвежиться по морозцу, а когда воротился, застал возле дверей светелки двух уже знакомых жандармов, которые, даже несмотря на сильную духоту, не сымали с плеч казенных тулупов. Их присутствие снова неприятно кольнуло его, тем более, что унтер Кузьмин, развалившись прямо на полу перед дверью, и не подумал, пес, убрать свои ноги перед шагающим Авросимовым, мало того, предерзостно поглядел в глаза нашему герою.

Заикин лежал на лавке в любимой своей позе, подложив руки под голову, и слезы медленно текли по щекам.

— Все кончено, — вдруг сказал он, едва наш герой вошел в светелку. — Что же теперь будет, сударь? Теперь мне и жить нельзя, после всего. — Авросимов спервоначала удивился, что подпоручик обращается к нему, а после удивление сменилось участием, такова уж была натура нашего героя. — Что же с Феденькой будет? Подвел я мальчика, подвел. Будто и можно положиться на слово ротмистра, да сомнения меня грызут... Я очень слаб. Знаете, даже вот рук подымать не хочется... Не нарушит ли ротмистр слова?..

— Вы успокойтесь, — посоветовал Авросимов. — Даст Бог...

— Не даст, — вдруг засмеялся подпоручик. — Не даст, да и все тут. Уж коли раз не дал, так больше и подавно... Уж коли с Пестелем не дал... С Пестелем, сударь!..

— Вы отрекаетесь? — без удивления, даже как бы равнодушно спросил наш герой. — Нет, вы говорите...

Отрекаетесь? Если отрекаетесь, то чего махать кулаками? Ведь верно?..

— Полноте, не давите на меня... Вы знаете, как я пришел к нему? Какие прекрасные бури бушевали во мне? Как я горел?.. Вот то-то, сударь... Все было отринуто: любовь, суэта жизни, личное устройство. Нетерпение сжигало меня, нетерпение, сударь. Картины, одна прелестнее другой, возникали в моем юношеском воображении, подогреваемые рассказами старших моих товарищей. Когда я засыпал, я видел перед собой предмет своего вожделения — страну, где ни подлого рабства, сударь, ни казнокрадов и грабителей, ни унижения одних другими — вы слышите? — ни солдатчины со шпицрутенами, но где добродетель и просвещение во главе... И синие моря, и зеленые горы, и воздух чист и ясен. Ну чего вам еще? Нет грязных трактиров, где умирают в пьянстве, нет постоянных дворов, где хозяева — клопы и тараканы, нет рубища... Господи, всего лишь два года назад в моей голове созревало все это! И тут я пришел к нему, как простой пастух к Моисею. И я увидел его холодные глаза. Господи, подумал я, неужто я смешон?

— Как вы это себе мыслите? — спросил он.

Я рассказал ему с жаром молодости, с азартом, сударь, я словно на арфе играл перед ним.

Тут он усмехнулся.

— Это прелестно, — сказал он, — ну а практически как вы представляете себе движение к сей прелестной цели? Представляете ли?

Я сказал, что постепенно, приуготовляя армию, мы поставим правителей перед необходимостью согласиться с нами...

— Под угрозой штыков?

— Что вы хотите этим сказать, господин полковник?

— Вы все-таки уповаете на армию, — снова усмех-

нулся он. — Значит, вы не отрицаете силы, стоящей перед вами?

— Нет, нет, — горячо возразил я. — Армия выскажет общее мнение. С этим нельзя не считаться...

— Ликвидация противоборствующей силы входит в предначертания любой революции, — сказал он.

Голова моя закружилась, когда я услышал сей жестокий приговор. Зеленые леса пожелтели. Моря, сударь, высохли. Пустыня окружала меня, выжженная пустыня, и в центре ее возвышался злой гений с холодным взором.

— Стало быть, — пробормотал я, — пушкам надлежит стрелять, а крови литься?

Он снова усмехнулся.

— Когда бы можно было без того, я первый сложил бы оружие и надел бы хитон и сандалии.

— Но благоденствие!.. — воскликнул я.

— Не говорите громких фраз, — оборвал он сурово. — Желание добра — точная наука.

— Какое же добро на крови-то? — ужаснулся я.

— Лучше добро на крови, чем кровь без добра, — отрубил он.

«Что же это должно означать? — подумал я с отчаянием. — Или неправы мои старшие товарищи? Нет, это невозможно. А он, неумолимый и точный, как машина, ежели он неправ, чего ж они тогда боятся и любят его?»

Разве я мог тогда ответить на все эти вопросы?

Обетованная земля моя оскудела, кровь и пепел, и хрип бесчинствовали на ней. «Остановись! — твердил я самому себе. — Это умопомрачение!..» Но остановиться, сударь, я уже не мог. Вот как. Ныне же разве это есть отречение? От чего ж мне, господин Авросимов, отречься, коли сие и не мое вовсе, а чужое?..

Еще один слабый друг с поспешной радостью заторопился прочь, не боясь осуждения, ибо осуждать было некому.

— Стало быть, не от мыслей, а от него отрекаетесь, — с грустью промолвил Авросимов, жалея все-таки подпоручика.

— Нет, — покачал головой Заикин, — от него — нет. Я неспособен на бесчестье. Я же говорю вам, что это грех был не верить ему.

За дверью глухо переговаривались жандармы. И снова нашему герою показалось, что это он, Авросимов, не сделавший никому никакого зла, и есть узник, что будто вот они вдвоем с подпоручиком приведены сюда под конвоем и связаны общию судьбою и что подпоручик уже сломлен, а Авросимову только еще пришел черед. Сейчас явится ротмистр, потерявший свое очарование, суетливый, как распоследний писарь, вернется и произойдет нечто, отчего придется нашему герою валиться в ногах и отречься. Бледного и печального повезут его в Петербург, и там, в крепости, поведет его плац-майор Подушкин погибнуть в каменном мешке.

Тем временем уже ощутимо вставал февральский рассвет. Внизу ругались ямщики. Скрипел колодезный ворот. Запах печеного хлеба струился по дому. Подпоручик погрузился в кошмары на своей лавке и хрипел, и вскрикивал, и метался.

Авросимов погасил свечу, и светелка, едва тронутая серой дымкой, окружила его и погребла, словно крепостной каземат. Где-то сейчас, наскоро перекусив, летел равнодушный фельдъегерь к Петербургу; где-то ротмистр вился вокруг Феденьки Заикина, чем-то там его соблазняя, а может, напротив, пугая; где-то Милодорочка в чужом доме просыпалась после любовных утех; где-то Пестель стряхивал со столика утреннего прусачка, не ведая о своей судьбе, но внутренне содрогаясь.

Авросимов выглянул в оконце. До земли было недалеко. Можно вполне, повиснув на руках, соскочить и — вон лес темнеет... Ах, господи, как хорошо на воле!

В этот самый момент на двери щелкнула задвижка.

Страшная мысль ударила в голову нашему герою, он кинулся к двери и толкнул ее плечом со всего маху. Она не поддавалась. Подпоручик закричал во сне что-то несуразное... Тут страх еще более завладел Авросимовым и вспомнились глаза ротмистра, как он спрашивает: «И чего вас со мной послали?..»

— Отвори, дьявол! — крикнул Авросимов и загрохотал в дверь кулаками. Никто не отзывался. — Отвори, убью!..

— Вы на себя потяните, — сказал за спиною подпоручик.

Авросимов, как безумный, рванул дверь и вылетел в коридор. Жандармов не было. Он сбежал вниз, через сени — на улицу, пробежал шагов двадцать и остановился.

«Господи, — подумал он, тяжело дыша. — Как хорошо на воле-то! Да пусть они разорвутся все и провалятся со всеми своими бурями и завистью! Да пусть они сами чего хотят и как хотят! Пусть расплачиваются сами и отрекаются, да... и пусть расплачиваются!..»

Но постепенно свежее утро сделало свое дело и сердце нашего героя забилось ровнее. Возвращаться в светелку не хотелось, да и сон отлетел прочь. Тогда он пошел по утреннему Брацлавлю так, куда глаза глядят. Господи, как хорошо на воле-то!

Представьте себе, все мысли улетучились из его головы, и февральский ветерок гулял в ней, и детская улыбка дрожала на раскрытых устах.

Прошло довольно много времени, как его догнал унтер Кузьмин и, не глядя в глаза, отрапортовал, задыхаясь в казенном тулупе:

— Ваше благородие, извольте вертаться. Господин ротмистр кличут.

— Ротмистр? — удивился Авросимов, возвращаясь на землю, где по-прежнему были дома, снег и заботы.

В светелке было тихо. На столе в миске румянились горячие пироги. Подпоручик крепко спал. Слепцов си-

дел у окна в раздумье. Он подмигнул Авросимову, словно приятелю, и улыбнулся.

— Наше с вами дело, господин Авросимов, в полном порядке. Я мальчика уговорил. Нынче ночью выроем и поскачем. Теперь у нас с вами все хорошо... Уф, я-то было перепугался!

«...Дуняша, оскорбитель твой вот он — рядом. Скажи, что делать с ним?..»

— Вы так радуетесь, будто получили наследство, — шепотом, не скрывая неприязни, сказал наш герой. — Хотя, может, это и хорошо...

— Да ну вас, — засмеялся ротмистр, — все вам не так, ей-Богу...

И вот его молодая рука потянулась к пирогу и длинные пальцы ловко ухватили румяный бок, погрузились в него, отломали...

— Подпрапорщик очень мил и все обещал сделать в лучшем виде. Но старший-то каков! Целую неделю водил за нос. То есть я вам скажу, что восхищен им... Теперь мы вот с вами ловим, караем — все грязь, грязь — и этого не замечаем, а время пройдет, и мы не сможем не восхититься сим благородством. Ведь так, сударь?

— Нет, не так, — сказал Авросимов.

Слепцов воззрился на него с недоумением.

— Какой вы, однако, спорщик, — засмеялся он благодушно. — А почему же вы со мной не согласны?

— А потому, — сказал Авросимов, — что вы службу несете, на вас надежда плоха...

Ротмистр засмеялся польщенно.

— Бутурлин в вас души не чаает, — сказал он и снова ухватился за пироги. — Вы, друг мой, загадка...

— Что он там, Феденька? Не испугался? — вдруг спросил подпоручик, не открывая глаз.

— Хорош, хорош ваш братец, — радостно проговорил Слепцов. — Он умница. Тотчас все понял. Про вас

расспрашивал. Я сказал, что у вас все будет хорошо, что вы человек благородный.

— Спасибо, — сказал Заикин и впервые улыбнулся. — А уж вы, Николай Сергеевич, слово держите...

Так до самой полночи они забавлялись то душевными беседами, то сном, покуда не явился господин Поповский, как было уговорено, и ротмистр, распорядившись подпоручику и нашему герою оставаться и ждать, последовал за исправником на ночную свою охоту. Авросимов даже рад был сему обстоятельству, ибо до утра топтался на холоду, даже ради государя, хоть и лестно, да Бог с ним.

Не успели двери за ними захлопнуться, как подпоручик поворотился на бок и тотчас заснул. Авросимов начал было припоминать свое житье в деревне, да не заметил, как очутился в коридоре, уже вам знакомом. Английский пистолет в его руке был горяч. Кто-то опять призывал, однако так явственно, что можно было на сей раз почти разобрать слова. Звали на помощь. Наш герой торопился туда широкими прыжками, подобно льву в пустыне, и наконец увидел полуоткрытую крайнюю дверь, откуда и доносился зов. Но опять, как всегда, в ту самую минуту, как он собирался рвануть сию злополучную дверь, его разбудили...

Горела свеча, хотя за окнами вставал рассвет. Подпоручик стоял лицом к оконцу, неподвижный, как изваяние. Ротмистр торопливо обертывал мешковиной грязный объемистый сверток. Его длинные пальцы ловко подхватывали концы, вязали узлы, будто он всю жизнь только тем и занимался, что свертки упаковывал.

Господи, подумал наш герой, неужто ради этого грязного свертка столько страданий! Вот он лежит на столе, ворочается, словно молодой поросенок перед базаром, и ротмистр, лейб-гусар и адъютант генерала, гнется над ним с вожделением, и в Петербурге все-все, от господина Боровкова до государя, ждут сей клад с

еще большим вожделением... И ради этого столько всего, столько горьких слов друг другу!

— Мы едем, — сказал Слепцов нашему герою. — Поторопитесь.

И вдруг все существо Авросимова возмутилось при звуках этого голоса. Взъерошенный, с пухом, приставшим к волосам, еще не совсем покинувший тот злополучный коридор, Авросимов поднялся, ровно медведь из берлоги.

— Поспешайте, поспешайте, сударь, — сказал ротмистр, заканчивая упаковку. — В кибитке отоспитесь. Ваш тяжкий труд, слава Богу, закончен.

— Я не заслужил ваших насмешек, — сказал Авросимов, сжимая кулачища и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на дерзкого гусара.

Ротмистр даже не оборотился в его сторону, а кликнул унтера и, когда тот появился, словно истукан застыв на пороге, подошел к подпоручику и тронул его за плечо.

— Простите, господин подпоручик, но боюсь, что пренебрежение к инструкции принесет мне много неприятностей. Я должен надеть на вас цепи...

В руках у унтера Кузьмина звякнула цепь.

Едва слышный стон вырвался из груди нашего героя.

— Вот как? — проговорил Заикин, бледный как смерть. — Вот как?..

Цепь снова зазвенела уже в руках у ротмистра, замок щелкнул. Все было кончено.

— Что с братом? — едва шевеля губами, спросил подпоручик.

— Вашего брата, господин подпоручик, я вынужден был взять под стражу, — несколько суетливо ответил Слепцов. — Пора, господа, пора ехать...

— Вы не смеете! — вдруг закричал Заикин. — Вы лжец! Где же ваше слово! — рыдания вновь начали душиить его, и он опустил на лавку.

— Вы сами лжец! — закричал ротмистр в ответ. — Вы мне братца вашего рисовали ангелом! А он оказался пособником бунтовщиков. Он слишком ловко, черт его дери, определил место, и мы моментально извлекли сей предмет... Очень ловко, сударь! Он разболтался со мной о вещах, которые его изобличают... Это я лжец? Я кормил вас и поил и был вам заместо брата, черт вас возьми, а вы меня за нос водили! Вы — меня!..

Тут ротмистр осекся, ибо тяжкая рука нашего героя легла ему на плечо.

— Оставьте этого несчастного, — потребовал Авросимов.

— Что это значит? — спросил Слепцов, не теряя присутствия духа.

— А это значит, — грозно сказал наш герой, — что господин подпоручик за свою ложь удостоился получить от вас цепи, а вы за свою — остаетесь безнаказанны.

Тут унтер, до сих пор пребывавший в оцепенении, сделал шаг в их сторону.

— Пошел прочь, — приказал Авросимов.

— Ступай, тебе говорят, — сказал Слепцов.

Унтер выбрался из светелки. Подпоручик рыдал на своей лавке. Авросимов подтолкнул ротмистра, и тот присел рядом с Заикиным.

Теперь они сидели рядом, ротмистр и подпоручик, оба молодые, оба круглоглазые, ровно два брата. Тот, что в целях, продолжал рыдать, но, странное дело, жалости к нему не было. Другой уставился на нашего героя, не мигая, даже как будто снисходительно.

— Вы негодяй, господин ротмистр, — сказал Авросимов, вдруг остывая. — Надеюсь, хоть не трус?

Слепцов усмехнулся.

— Это невозможно, господин Авросимов. Без секундантов?..

— К черту секундантов!

Этот подпоручик, жалкий такой... Да как он смел

доверяться! Чего же слезы-то лить? Каких друзей себе полковник Пестель подбирал, уму непостижимо!..

— Я при исполнении служебных обязанностей, сударь, — сказал ротмистр. — Потерпите до Петербурга.

— Нет! — крикнул наш герой без охоты.

— Да, — усмехнулся Слепцов.

— А если так?! — крикнул Авросимов и ударил ротмистра по щеке.

Слепцов потер щеку, потом сказал:

— И все-таки, сударь, примите мой отказ... Я ценю ваше благородство, но нужно же считаться с обстоятельствами. Ежели вы меня пристрелите, на кого же я оставлю господина подпоручика и сей сверток?.. А оплеуху вашу, сударь, я не забуду, и в Петербурге сам вам, натурально, о ней напомню. Вы еще плохо знаете Слепцова.

Звук пощечины и спокойная речь ротмистра совсем охладили Авросимова. Пожар угас, и по телу распространилась лень. Рука была все еще занесена, но кровь уже охладела.

Рассвет совсем разыгрался, и в его сиянии ничтожней стал казаться таинственный сверток, из-за которого разыгралось столько бурь.

На виду у испуганных ямщиков, сгрудившихся возле постоялого двора, они прошествовали к своим кибиткам, сопровождая медленно бредущего подпоручика.

Наконец кибитки тронулись.

Презабавная ситуация сложилась, милостивый государь, за время их пути. Представьте себе, больше пяти суток они не перекинулись ни словом. Былой союз, замешанный на долге и несчастье, распался. Не замечая друг друга, наскоро съедали они свою нехитрую еду, укладывались на ночлег или и без ночлега спали на ходу в кибитках, сидя, покуда там заиндевевшие, горластые ямщики понукали лошадей и перекрикивались от кибитки к кибитке, чтобы отогнать страх ночной и доказать серым разбойникам, что люди живы, горласты и в обиду себя не дадут.

Подпоручик был погружен в тяжелые раздумья, мрачней от версты к версте по мере приближения к Петербургу. Ротмистр Слепцов почти всю дорогу спал, набегавшись в Брацлаве и пересуетившись. Авросимов все поглядывал через оконце на заснеженный февральский лес, и можно было подумать, что расположение дерев и снежные на них покровы волнуют его воображение.

Вы, милостивый государь, познакомились с несчастной этой поездкой и теперь, оглядываясь назад через головы нескольких десятков лет, отделяющих вас от того путешествия, улыбаетесь снисходительно, понимая, что сие предприятие тоже было частью большой игры, в которую играли люди знатные, свободные и верящие в свое превосходство. Но они-то играли не только сами, а и других втягивали, внушая им, что это так и должно быть, и даже сами начинали верить собственным внушениям. Воистину, страсть к сей игре не переменяется с годами и десятилетиями. Нынче-то разве не то же самое, милостивый государь? Ну, натурально, что в на-

ши дни у всего у этого свой привкус и своя тонкость, ибо предложи нам, нынешним, ту игру, в которую играл еще Авросимов по собственному неведению, мы ведь ее не примем. Время меняет облик игры, приспособляя ее под наш с вами вкус, чтобы мы со всем сердцем в ней участвовали, чтобы головы и у нас кружились и чтобы дух захватывало: не зря, мол, живем, господа. Не зря!

Теперь давайте вернемся к нашему герою, и должен вам сказать, что на самом деле сердце его было не столь смягчено созерцанием окружающей природы, сколь возбужденно клокотало от предчувствия скорого приезда в Колупановку, где, ежели вы помните, не все им было поставлено на свои места.

Незадолго до Колупановки кибитки остановились в самом лесу. Ротмистр вылез отдать распоряжения, затем вернулся и сказал:

— Господа, мы выполнили свой долг. Все наши с вами временные противоречия я предлагаю позабыть. Давайте въедем в милую Колупановку как старые и добрые друзья. Я понимаю, что теперь это крайне трудно и вам, господин подпоручик, и вам, господин Авросимов. Поверьте, однако, что и я — живой человек и во мне тоже горит пламя обиды. Но я его прячу в самую глубину души, дабы не отравлять вам и себе самому времени, которое нам предстоит провести. Я первый кланяюсь вам и предлагаю забыть раздоры, — и тут он длинными своими пальцами ловко снял цепи с подпоручика и отшвырнул их прочь. — Докажем, господа, себе самим и всему свету, что истинные благородные представители человеческого рода умеют, не забывая о долге, представать друг перед другом в наилучшем виде...

Засим лошади тронули и полозья заскрипели.

Не знаю, милостивый государь, так ли я передал вам речь ротмистра, точно ли, слово ли в слово, не ручаюсь, ибо лет с тех пор минуло немало, да я при сем

и не присутствовал, однако одно могу утверждать, что смысл сказанного был таков и лицо ротмистра при этом было розовощеким и счастливым.

Удивленный, возмущенный и одновременно ободренный сей пламенной речью, наш герой сказал в ответ:

— Господа, случилось однажды так, что я увидел вас как бы братьями. Поверьте, мне сие было дорого и радостно. На минуту забывшись, я уж был готов поверить в это, как вдруг вы, господин ротмистр, пренебрегши сердцем, выказали себя таким отчаянным ревнителем долга, что вся картина, нарисованная в моем воображении, тотчас потускнела. Когда я вижу одного брата в цепях, а другого...

— Я же снял с него цепи, — сказал ротмистр.

— Нет, нет, — откликнулся подпоручик, — вы не смеете упрекать его в этом, — и он усмехнулся. — Я сам заслужил сии цепи и все свои несчастья. Я сам тому виною...

— Когда я вижу одного брата в цепях, — упрямо продолжал наш герой, — а другого в нетерпении ждущего свидания со своей дворовой и уже рисующего себе в своем воображении, как он будет одежды с нее срывать и проводить ладонью по горячему ее телу...

— Остановитесь! — крикнул Слепцов, и краска залила ему щеки пуще прежнего. — Вы с ума сошли! Да посудите сами, несчастный вы человек, разве я виновен в бедах подпоручика? Разве н а м н е грех бунта и крови?.. Чего вы меня терзаете всю дорогу!

Авросимову вдруг стало жаль ротмистра, сердце его дрогнуло.

— Господин Авросимов, — сказал подпоручик, — мое положение обязывает меня молчать, но в эту минуту благодаря доброте господина ротмистра я свободен от цепей...

— Да, да, скажите ему, скажите, — попросил ротмистр.

— Это ли не шаг гуманный и добропорядочный?

Когда бы вам, господин Авросимов, поручено было меня держать в цепях, разве ж вы смогли бы решиться на сей шаг? Смогли бы?.. Господин ротмистр — мой приятель, если вам угодно, и благодетель, а вы вторгаетесь в сей союз со своими немислимыми суждениями и фантазиями, и безумством...

— Он ревнует Дуняшу, — засмеялся ротмистр. — Я понял. Да Бог с ним. Не будем отравлять себе время, Колупановка близко. Вы ревнуете Дуняшу, господин Авросимов? А вы ее заслужили?

— Господин ротмистр, — сказал наш герой со спокойствием необыкновенным, — я имею намерение выкупить Дуняшу. Зачем нам ссориться с вами? Продайте ее мне.

Тут, милостивый государь, наступила такая тишина, что страшно и подумать, и можно было бы за сим ждать всяких неприятностей, но ничего не случилось, и Слепцов наконец спросил насмешливо:

— А как же с женихом быть? С Дуняшиным женихом? Я уже имел честь вам сообщить об этом.

— А вы его на конюшню! — крикнул наш герой, разгоряченный торгом. — Я вам тоже имел честь советовать это. Вам же это не трудно.

Тут, представьте себе, ротмистр захохотал, закрутил головой.

— Да жених-то ведь я, — проговорил он сквозь смех.

Глубокое изумление поразило обоих его попутчиков. В невероятном сем известии была какая-то скрытая боль и была тайна.

Тут не выдержал подпоручик.

— Позвольте, Николай Сергеевич, — проговорил он с ужасом, — вы ведь женаты, сударь... Княгиня Шаховская разве не жена вам? Вы шутите...

— Нет, я не шучу, — грустно проговорил ротмистр. — Дуняша действительно моя невеста. Невеста моей души... Вы обратили внимание на ее улыбку? Как она глядит на меня? Господин Авросимов, вы молоды, не суди-

те обо всем со строгостью старца... Господа, давайте въедем в усадьбу прежними друзьями, а там — будь что будет.

И они увидели, как за оконцем кибитки замелькали деревья знакомого сада, и вскоре гостеприимный дом возник перед ними.

Не успели они раздеться, привести себя в порядок и усесться в гостиной в задумчивых позах, как тотчас вошел ротмистр, ведя за руку Дуняшу. Лицо ее было строго, глаза сверкали откуда-то из глубины. Она молча опустила в кресла как раз напротив Авросимова.

— Господа, — сказал ротмистр. — Я не хочу кривотолков и обид. Вот Дуняша. Видите? Вот она перед вами. Теперь я при вас же спрошу ее... Дуняша, я спросить тебя хочу... Вот господин Авросимов, сей молодой человек, вызвал меня с ним стреляться, а когда я отказал ему в удовольствии, ибо я при исполнении служебных обязанностей, он меня по щеке ударил, — лицо Дуняши даже не дрогнуло при сих словах, она даже и не пошевелинулась, сидела, положив руки на колени, глядя в окно мимо Авросимова. — Тут в пути выяснилось, что ты господину Авросимову по сердцу, — она улыбнулась, показывая два зубочка, склоненных друг к другу, — ...и он намеревается тебя выкупить...

Все замерло, как перед бурей. Ротмистр поигрывал книжной закладкой, неведь откуда появившейся в его руках, и не глядел в сторону Дуняши. Подпоручик часто вздыхал, и круглые его глаза, переполненные давними слезами, помаргивали. Авросимов, борясь с собой, ждал Дуняшиного приговора.

— А зачем меня выкупать? — спросила Дуняша тихо, с невозможной своей улыбкой. — Зачем же? Я вольная. Мне Николай Сергеевич волю дал. У меня и бумажка об том есть...

Ротмистр устало улыбнулся и выронил закладку. Дуняша поднялась, поцеловала его в лоб и пошла вон из комнаты.

Во всей этой путанице страстей и нравов наш ге-

рой, натурально, разобраться не мог, а потому предпочел молчать, ибо обстановка складывалась престранная, а быть на смеху не хотелось. Когда ротмистр спустя некоторое время предложил песни послушать. Авросимов отказался.

Перед сном зашел Слепцов в вишневом халате, с длинным чубуком.

— Ходит слух, — сказал он, — что в округе появились разбойники. Не думаю, что они рискнут напасть на усадьбу, но всякое может быть, хотя мои люди на чеку, а они народ бывалый...

Предупреждение это поначалу не очень взволновало нашего героя, ибо пистолет заветный был на своем месте. Он услышал, как ротмистр предупредил о том же и Заикина, сказав, что, ежели что, он будет рядом.

И все-таки, как ни хорош был пистолет, постепенно тревога росла и усиливалась. Сон не шел. Да и какой уж тут сон? В каждом шорохе и скрипе чудилось нашему герою приближение ночных гостей. Воображение начало рисовать ему картины, одну ужаснее другой. То есть не то чтобы он испугался, но пустое ожидание становилось невыносимым. Он лежал на кровати во всей одежде, с радостью ощущая у сердца холодную тяжесть верного своего товарища.

Неизвестно, сколько времени прошло таким образом, как до наострившегося слуха нашего героя донесся протяжный свист. Он возник где-то в саду, пронесся вокруг дома и угас. Что нужно было разбойникам в спящей мирной усадьбе? Или просто им захотелось поглотиться над страхом своих жертв, или золота искали? Или мстили кому за что?.. Свист повторился ближе. И тотчас ему откликнулся другой. Дом затаился.

«Не осмелятся в дом ломиться, — подумал Авросимов. — Да разве сие возможно?»

В этот момент хлопнула какая-то дальняя дверь. Наш герой вздрогнул. Свист раздался снова, жуткий, разбойный, немилосердный. Кто-то закричал истошно в доме. Что-то рухнуло так, что стены заходили ходуном.

«Надо бы к Заикину забежать, — подумал наш герой, ощущая, как к горлу подступает. — Вдвоем-то надежнее».

Вдруг за окном хрустнуло и чья-то мерзкая физиономия прилипла к стеклу и вперила на мгновение два глаза в комнату, но тотчас скрылась.

Загрохотало сильнее. Авросимову почудился женский крик. «Дуняша!» — мелькнула мысль.

Он выхватил пистолет, еще не совсем соображая, куда бежать, но полный ощущения разверзшегося ада. Грохот внезапно прекратился. Послышались тяжелые шаги. Они приближались.

«Дверь! — успел подумать он. — Она не заперта!»

И тут дверь распахнулась, словно вихрь обрушился на нее, и множество людей в тулупах и в масках, вопя и размахивая фонарями, ворвались в комнату. Воистину, это были чудовища, ибо трудно было определить, где кончались у них мохнатые головы, и где начинались могучие волосатые раскоряченные ноги, и сколько было на их мордах разинутых воющих ртов... Лишь клыки поблескивали, и клубок лап, хвостов, а может, змей кишел и клокотал.

— Вот он! — крикнул высокий разбойник в маске, указывая на нашего героя. — Хватайте его!

Но не успела воющая эта масса сделать и шага, как наш герой выстрелил. Разбойник грянулся об пол. Крики ужаса потрясли комнату, и Авросимов с безумным лицом вскочил на подоконник и локтем саданул в окно. Зазвенело стекло.

— Господин Авросимов! — услышал он за спиной громкий крик ротмистра Слепцова. — Куда вы, сударь? Очнитесь!..

Наш герой оборотился. С высоты подоконника невероятная картина представилась его взору. Чудовищ не было. Множество фонарей освещали комнату, и в ярком красноватом их свете маячили, прижимаясь к стенам, неподвижные испуганные люди. Лица были белые, рты полуоткрыты. Среди этой безмолвной толпы

возвышался ротмистр Слепцов в вишневом халате, с длинным чубуком в чувствительных пальцах, словно Князь Тьмы среди притихшего шабаша. Разбойник в черной маске неподвижно лежал у его ног.

— Слезайте, слезайте оттуда, — сказал ротмистр странным голосом. — Что это с вами?

Он взмахнул рукой, и несколько человек, вцепившись в бездыханное тело разбойника, выволокли его прочь.

Наш герой слез с подоконника, крепко сжимая пистолет. Люди, окружавшие ротмистра, постепенно исчезали, и вскоре ни одного из них уже не было.

— Что сие значит? — спросил Авросимов, подходя к Слепцову.

— Сударь, — сказал ротмистр миролюбиво, хотя и не без страха, — вы очень, сударь, кричали. Очевидно во сне. И мои люди поспешили к вам на помощь.

— Господин ротмистр, — сказал Авросимов, задыхаясь от гнева, — я не спал ни минуты... Стало быть, это в а ш и люди в масках врываются в комнаты?

— В каких масках? — удивился Слепцов.

— А тот, которого я пристрелил...

— Господь с вами, кого еще вы пристрелили? Да из чего?

— А вот, — протянул Авросимов ротмистру свой пистолет. — Это вы видели?

— Ну и что? — пожал плечами ротмистр. — Вы не могли из него стрелять, ибо у него свернут курок.

— Да как же не мог, когда я выстрелил! — крикнул наш герой.

— Успокойтесь, сударь, вы спали... Дуняша услышала ваш крик и разбудила меня, и я поспешил к вам...

— А люди? А это скопище людей? — спросил Авросимов потерянно.

— Люди? Да и людей не было. Что с вами?..

Вдруг от стены отделился подпоручик, которого до сих пор никто не замечал.

— Господин ротмистр, — сказал он глухо. — Ваша

шутка граничит с подлостью. Комедия, которую вы за-
теяли, позорна.

— Да что вы, господа, — засмеялся Слепцов, пятясь
к дверям. — Господь с вами! Какая еще комедия?

— Вам бы, очевидно, удалось надсмеяться над гос-
подином Авросимовым, не случись у него пистолета, —
отрезал Заикин и шагнул к ротмистру. — Вы поступи-
ли низко, и я очень сожалею, что обстоятельства меша-
ют мне посчитаться с вами.

— Ну ладно, — сказал ротмистр из дверей. — Ну
что такого? А хотите, господа, сядем за стол и забудем
об этом? А? Выспимся в дороге. Давайте, господа? И Ду-
няшу попросим спеть. Вам же нравится Дуняша, гос-
подин Авросимов. Вот у вас будет еще возможность по-
любоваться ею...

— Ступайте прочь, — сказал Авросимов мрачно. —
И вы, и ваши холопы...

Тут ротмистр поклонился церемонно и исчез. Круг-
лые глаза его улыбались.

Наш герой обратил взгляд на свой пистолет, кото-
рый так и не выпускал из рук. Курок действительно
был свернут на сторону. Он заглянул в ствол — сладкий
аромат выстрела распространился из темной таинствен-
ной его глубины.

— Сударь, — сказал подпоручик, — я давно к вам
приглядываю, ваше стремление к правде мне очень по
сердцу. Я помню ваше любезное предложение и наде-
юсь, что вы не откажете в просьбе человеку, попавше-
му в беду...

Возбуждение после случившегося еще не покинуло
нашего героя, но тихий доверчивый шепот подпоручика
и ветер, рвущийся в разбитое окно, уже делали свое де-
ло.

— Не соблаговолите ли отыскать в Петербурге мою
сестру Настеньку и передать ей сию небольшую запис-
ку, в которой (можете не сомневаться) нет ничего, что
могло бы вас скомпрометировать, — тут голос у подпо-
ручика дрогнул.

Он махнул рукой.

Волнение его передалось нашему герою, и образ Настеньки возник перед ним, заслонив минувшие несчастья.

Утром, усаживаясь в кибитку, Авросимов не досчитался унтера Кузьмина. Дуняшино лицо маячило в окне. Наконец унтер появился из дверей и, прихрамывая, сошел с крыльца. Он прошествовал мимо нашего героя, не глянув в его сторону.

— Ты, я слышал, занемог, Кузьмин? — спросил Слепцов.

— Есть малость, ваше благородие, — отвечивал унтер голосом давешнего разбойника.

Будем считать, что нам с вами шибко повезло, уж коли мы взялись исследовать душу нашего героя, ибо бывает ведь так, что вся жизнь проходить, а душа так и не раскроется. Ах, милостивый государь, что делать, но исследователь должен быть себялюбцем. Мало ли что сваливается на голову тому, чью душу он взялся познать, мало ли какие бури его душат, как он там переживает, мучается, ликует! Вы радоваться должны, что ему тяжело, и тут-то глядите, наблюдайте, а ежели никаких потрясений — что вам удастся узнать? И за это вам не должно быть стыдно, а уж перед Авросимовым и подавно, ибо природное здоровье, физическое и духовное, помогало ему быстро залечивать раны, которые в избытке наносила ему судьба, и он спустя короткое время уже был готов снова меряться с ней силами. И лишь одна рана, словно ничто ее не брало, саднила все сильнее и сильнее, а почему именно она, мне неизвестно. Эта рана началась с пустячка, с царапинки, да видите, как разрослась? Ибо мы склонны забывать все, что мы уже сами себе смогли объяснить, но то, что покуда в тайне, не забывается, мучает нас, требует к себе внимания.

Вы, наверное, заметили, как наш герой всякий раз, когда обстоятельства напоминали ему о печальной судьбе мятежного полковника, как он всякий раз будто вздрагивал и синие его глаза наполнялись как бы дымкою? Не обольщайтесь относительно жалостливости в нем и движений доброго сердца. Тут, милостивый государь, все обстоит посложнее, чем вам могло показаться, ведь Павел Иванович Авросимову мил не стал, да и как мог стать, коли гнев к возмутителю спокойствия про-

должал мучать нашего героя беспрестанно. Хотя, ежели говорить начистоту, этот самый гнев ощущался как-то по-новому, а все, представьте себе, из-за прусачков.

Кажется, ну что в этом золотистом маленьком разбойнике, шустром и наглom, от которого невозможно избавиться, а единственное, что следует делать, чтобы вконец не потерять своего достоинства, гоняясь за ним, так это не обращать на него внимания... Да, все это так, а вот подите же, стоило нашему герою с гневом подумать о полковнике, как он тотчас вспоминал этих самых прусачков, бесчисленные стада которых пасутся в казематах, и, странное дело, гнев укрощался, ровно пламя, добравшееся в своем азарте до мокрых досок. И как только он укрощался, и затихал, и тлел, тут вспоминалась растерянная улыбка Павла Ивановича и как он говорит: «А я думал, вы меня ненавидите», — и как он поднимает кружку, торопливо и без гордости... И вот так это все одно к одному, и от гнева почти ничего не оставалось, а вместо него загоралось что-то такое, от чего у нашего героя начинались всякие страдания, словно это его самого содержат в каземате и ведут допрашивать. И он тогда облачался в полковничий мундир и разглядывал пристрастно своих судей: вот граф Татищев, военный министр, словно не выпавшаяся птица с малиновым от водки клювом; вот генерал Чернышев, у которого под мохнатыми бровями — два презрительных отравленных зрачка, и улыбка у него, от которой не жди пощады, и крик, ровно он не просто генерал-адъютант, а сам великий князь Михаил Павлович; вот Михаил Павлович с благообразным юношеским лицом, да ему все некогда, он брезглив, тороплив и насмешлив. А над чем насмеяться, господа, ежели сие — ужасная катастрофа? Однако ежели не катастрофа, чего же мы, господа, время теряем, распутывая узел, которого не существует?

Тут наш герой подумал, что, не сломайся полковник, он мог бы с помощью верных друзей, которые, натурально, у него остались на этом свете, бежать даже

отсюда, из этой страшной крепости, и тогда страху меж судей не было бы конца, тем более, что кто-то, а кто, наш герой уже не помнил, высказывал предположение, что полковнику грозит гибель: не случайно, мол, все сошлись на нем в этом торжище. Уж не Павел ли Бутурлин был сей грозный оракул? То есть как гибель?.. Смерть?.. Или что ужасное прочли они в найденных листах?

— Послушай, — сказал он кавалергарду. — То есть как смерть?

— Э-э, — засмеялся друг милый, — даже цари смертны.

Это нисколько не развеяло туману, и Авросимов спросил снова, без надежды, но со злостью:

— А почему нынче честь да благородство?

— Не приценялся, — снова усмехнулся кавалергард. — Не знаю, как кто, а что до меня, так я за все асигнациями привык платить.

Сей потешный разговор, натурально, ни к чему не привел, и наш герой, ломая голову, сидел над своими бумагами в ожидании, когда наконец введут полковника, как вдруг, глянув в окно, увидел на заснеженном крепостном плацу знакомую печальную фигурку, которая на сей раз изменила своему обычному месту у ограды собора, и потому, наверное, теперь ее было видно. Это его крайне обрадовало, ибо с момента возвращения из поездки прошло пять дней, а Настенька будто нарочно перестала появляться на привычном месте. Он сгорал от нетерпения, пытался в городе ее разыскать, да закрыжился в хлопотах.

Пестеля ввели как всегда незаметно. Уже зажгли первые свечи. Он вошел сутулясь, словно тяжкий недуг преследовал его многие дни. Теперь, после обнаружения страшной рукописи, все должно было бы совершаться быстрее, но, странное дело, лица судей были спокойны, даже скучны, вожделенный огонь злорадства не сверкал в их глазах, они тихо переговаривались, приуговариваясь к привычному бою.

Павел Иванович словно даже несколько потучнел за эти дни. Рыхловатая тучность его производила грустное впечатление, да и в лице была грусть, а может, даже потерянности, лишь маленькие глаза были холодны по-прежнему и только, когда он обратил их в сторону нашего героя, подернулись легким теплом.

Авросимов опустил голову. Павел Иванович отворотился.

«Этот рыжий великан здесь, — подумал он с легким вздохом. — Слава богу...»

В течение нескольких минут мятежный полковник и члены комитета молча разглядывали друг друга, словно вели беззвучный разговор.

«Идеи ниспровержения монархии носят в воздухе, — словно говорил полковник, пожимая плечами, — сие не мое изобретение, а, стало быть, и не моя вина... Просто я по складу своей души, по направлению своих интересов увидел это и воспринял. Деятельность моя была следствием исторической неизбежности, а не злого умысла».

«Вы прикрываете высокими рассуждениями неудавшуюся попытку цареубийства, — словно твердили судьи с упрямством. — В вашей «Русской Правде» этого нет, но об этом вы не могли не твердить. Не отпирайтесь».

«Господа, — продолжал полковник, — я же отлично понимаю, что обвинение меня в попытке цареубийства — это ширма. Не это вам страшно, а свержение монархии и установление республики, которой до вас нет дела. Не царя вы жалеете, но себя».

«Нет, мы жалеем царя, ибо связаны с ним духовными узами из поколения в поколение».

«Нет, вы не жалеете царя, ибо живут и здравствуют убийцы Павла Петровича... А что до меня, можете считать, что я сам предал себя в ваши руки, хотя у меня были многие возможности избежать ареста. Но я совершил сие под давлением печальной мысли о несовер-

шенстве революционного пламени в России. Пожалуй, это и объясняет мою с вами откровенность».

«Вы признаете, что пошли по ложному пути, именуя самодержавие тиранством?»

«Неограниченная власть — всегда тиранство. Я не шел по ложному пути. Я несколько поторопился. Уравнение с многими неизвестными требует, очевидно, большей усидчивости».

«...И вовлекли в свое злодейское предприятие десятки неискушенных сердец, которые теперь расплачиваются за ваш холодный умысел?»

«Бог рассудит всех по высшей справедливости. История знает тому множество примеров...»

Вот что расслышал Авросимов, участвуя в их молчаливом диалоге, как вдруг различил наяву сказанное генералом Чернышевым:

— Кто же склонил вас к увлечению политическими науками?

Павел Иванович кротко глянул на генерала, что было даже странно при его холодных глазах, и ответил, пожимая плечами:

— Никто. Их знание требовалось для поступления в верхний класс Пажеского корпуса.

Тут произошло легкое движение и судьи переглянулись между собой. И не то чтобы замешательство, а некоторое их недоумение не укрылось от синих глаз нашего героя.

— Что же вам удалось почерпнуть из них? — тихо спросил генерал Чернышев.

— Что благоденствие и злополучие царств и народов зависит по большей части от правительств, — ответил Павел Иванович, дрожа пальцами.

«А от кого же еще?.. — подумал наш герой, выводя бешеные свои строчки. — Берегись, полковник!»

Настенька продолжала маячить на плацу. Бедное тоненькое создание!

— Не понимаю, — рассердился генерал. — И это навело вас на преступные мысли?

— Я имею честь, — сказал Павел Иванович, разглядывая свой палец, — со всей чистосердечностью сообщить комитету, что сии занятия возбудили во мне намерения самые патриотические, а именно — установить, соблюдены ли в российском политическом устройстве правила, диктуемые политическими науками... Я стал обдумывать, как изменить и усовершенствовать различные государственные уложения...

— Зачем?.. Зачем? — торопливо поинтересовался военный министр.

Павел Иванович оборотил к нему желтое свое лицо и ответил все тем же тихим, покорным и бесстрастным голосом, будто все уже кончилось, и его самого уже не существовало, и не существовало борьбы за жизнь, а просто это душа его, не ведающая ни лжи, ни правды, ни гордости, ни страха, однообразно и монотонно исповедовалась где-то.

— Рабство крестьян всегда сильно на меня действовало, а равно и большие преимущества аристократии, стоящей меж монархом и народом и скрывающей истинное положение народа ради собственных выгод...

— Для чего же создавали вы «Русскую Правду» вашу?

— Чтобы предложить ее правительству и государю на рассмотрение.

Генерал Чернышев хотел было возразить на это, но поперхнулся и долго кашлял, отворачиваясь в сторону. Павел Иванович терпеливо ждал. Наш герой даже подумал, что, случись здесь та самая железная кружка и упади она сейчас на пол, полковник не преминул бы за нею броситься, чтобы поставить ее перед судьями как знак своего почтения и слабости.

— Зачем же вы вывели, что нужно извести монарха, ежели вина лежит, как вы утверждаете, на аристократии? — вмещался генерал Левашов, глядя при этом не на Павла Ивановича, а почему-то на старого князя Голицына, спящего в своем кресле.

— Причем царевубийство? — поморщился Пестель.

— Я ничего не утверждал. Время... Я же говорю, время выдвинуло сию необходимость. Монархия — тормоз в развитии стран. Это же подтверждено историей.

— Стремление к цареубийству было главным в вашей деятельности! — крикнул генерал Чернышев.

— Да нет же, — снова с досадой поморщился Пестель. — Я же имел честь сообщать вам, что стремление к совершенству...

Тут Павел Иванович прервал сам себя, будто устал, повел головой и остановил взгляд свой на нашем герое. Рыжий молодец глядел не волком из-за своего столика, а, наоборот, с грустью и даже с отчаянием... И все тотчас же, проследив взгляд Павла Ивановича, оборотились к Авросимову.

«Да что же это вы!» — кричали синие изумленные глаза нашего героя полковнику.

«Поздно, — ответил Павел Иванович в душе. — Теперь уже поздно, — и вздохнул. — Только бы не разжаловали в солдаты».

— Справедливым будет добавить к сему, — вдруг громко сказал он, — что в течение всего двадцать пятого года стал сей образ мыслей во мне уже ослабевать и я предметы видеть начал иначе, но поздно было совершить благополучный обратный путь...

Военный министр шумно вздохнул, генерал Чернышев обтер руки кремовым платочком.

«Ложь!» — вскричал про себя Авросимов, негодуя.

Неожиданное признание Павла Ивановича престранно подействовало на нашего героя, будто слабость полковника его оскорбила, будто самому Авросимову не этого хотелось. А чего же ему хотелось? Чего вообще могло хотеться нашему рыжему мученику, в воображении облачившему себя в полковничий мундир и сидящему в голубом потертом кресле?

Сумерки скрыли фигуру Настеньки на крепостном плацу.

«Ах, кабы не ушла, — заволновался он. — Кабы дождалася!»

В Следственную неслышно вошел изящный Павел Бутурлин и принялся докладывать что-то графу Татищеву, при этом успевая подмигивать нашему герою.

В этот момент генерал Чернышев спросил у Пестеля:

— Каким же образом революционные мысли укреплялись в умах?

«Да, действительно, — подумал наш герой, — каким же это образом?»

Стояла томительная тишина. Пальцы Пестеля поигрывали краем красной суконной скатерти. Полковник сидел в своем кресле ровно и неподвижно, но вот пальцы его...

— Политические книги у всех в руках, — сказал он тоном усталого наставника, и судьи оборотились к нему, как равнодушные ученики, — политические науки всюду преподаются, политические известия повсюду распространяются, история, а особливо происшествия недавней войны показали столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся и признанных и опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобствами их производить...

Ах, каналья!.. Ах, сукин сын!.. Да, да, милостивые государи, все сие и ознакомило с возможностями и удобствами...

— Кто из высокопоставленных лиц думал и желал другого устройства в государстве? — спросил генерал Чернышев.

— Ничей из них образ мыслей мне неизвестен, — отозвался Павел Иванович. — Это просто мы рассуждали, что когда революция возьмет свой ход и будет иметь хороший успех, тогда многие к ней присоединятся, даже и из высших чиновников.

— Ну как же так? — удивился граф Татищев.

Вдруг дикая мысль блеснула в голове нашего героя: женщина в сумерках очень просто могла бы выйти из крепости и никто бы ее не хватился. ...Она даже могла бы перейти ров, покрытый льдом, меж рavelином и крепостью. А ежели часовые при сем крепко бы спали, она могла бы просто пройти насквозь все коридоры рavelина и тоже выйти вон... Незаметные дровни с сеном в безлунную ночь неслышно пересекут Неву, лишь легкий скрип отдастся в морозном воздухе либо будет и вовсе заглушен свистом метели... О, ежели метель, так тут и вовсе ничего невозможно будет различить... Бабье лицо плац-майора Подушкина, освещенное тревожными факелами, будет мелькать на плацу под звон ключей и грохот набата, и его инвалидам придется попотеть на морозе да пострелять в ночную темень, проклиная судьбу и козни злодеев.

А сумерки тем временем сгущались плотнее, и лицо Пестеля, освещенное с одной стороны свечой, другой стороной растворялось во мраке. От этого он казался одноглазым, и этот глаз, отражая пламя, сверкал, стоило полковнику перевести взор с одного предмета на другой. Члены комитета сего не замечали, но Авросимов увидел в этом дурное предзнаменование, могущее отразиться на судьбе самого полковника либо его, Авросимова. Почему? А кто ж его знает. Ведь мы всегда лишь спустя много времени после всяких душевных переворотов спохватываемся и начинаем лихорадочно искать, с чего все началось, и тут вспоминаем всякие зловещие пустяки, которые, как мы полагаем, и играли ту самую роковую роль, и возводим сии пустяки в знаменья.

Сообразив это, Авросимов принялся пристальнее вглядываться в одноглазое лицо и вдруг понял, что глаз обращен в его сторону.

«Ну что ему от меня? — подумал наш герой. — Будто я что могу... Теперь никто-никто ничего не может... Один лишь государь».

— Государь чрезмерно удручен вашим участием в сем предприятии, — проговорил генерал Левашов. —

И дальнейшая ваша участь может зависеть всецело от вас. Вы здесь нарисовали отвратительную картину предполагаемых переустройств, замышленных вами лично в первую голову. Участие в заговоре других лиц не смягчает вашей вины...

Глаз полковника посверкивал, уставясь на Авросимова. Наш герой пребывал в смятении. Ничего нельзя было повернуть. Большая и тяжелая, словно гора, навалилась сия машина на злодея и перемальвала ему кости. А ежели безвинным пасть под нее?.. Вполне возможно. Вот ведь отчего пребываем мы в страхе, ибо всегда живем поблизости от каземата либо в его преддверии, милостивый государь, ибо не сами мы решаем, а она, наша фортуна. Так, может, прав этот чертов полковник, вознамерившийся избавить нас от вечного страха и от вечного предчувствия беды? Да, но при сем мерещилась ему кровь (вы помните?), без которой не мыслил он будущего благоденствия!.. Так что же лучше-то? Ах, что же лучше?..

— Вы все слишком много на себя взяли, — продолжал генерал Левашов. — Вы заботились о судьбах народов, а связали руки государю в его благих намерениях на целых пятьдесят лет...

«Каково ему возвращаться в каземат, — с ужасом подумал наш герой, — к прусачкам да крысам! Господи, за что ты меня-то помиловал? Вот он весь я, живу на свободе, как голубь лесной. Разве ж это не счастье?..»

И тут же подумал, что сам-то он — кто? Кто? Кабы жил бы он со своим счастьем в своей глуши прекрасной, а то ведь нет, взялся судить со всеми вместе и со всеми вместе навалился на одного лежачего, считая себя правым...

Послышались шорох, звон, скрип, шарканье. Единственный глаз полковника вдруг погас. Он уже стоял у своего кресла. Затем его фигура, сопровождаемая громадной черной тенью на стене, поплыла вон из Следственной, и наш герой успел заметить, как дежурный офицер ловко набросил повязку полковнику на лицо

Спустя несколько часов, торопясь к выходу, Авросимов вспомнил снова тот сверкающий глаз. К чему бы он? Уж не знак ли печального исхода?

Он торопился в своей шубе, пересекая крепостной плац, страдая, надеясь на встречу с Настенькой, но ее уже нигде не было. Плац был пуст. Редкие фонари мигали под ветром. Обгоняя Авросимова, пролетали черные экипажи, развозя по домам счастливых избранных государя, и комья снега из-под конских копыт хлестали нашего героя по лицу и груди.

Теперь бы миновать ночную беседу с графом! Вот что еще угнетало Авросимова. Но экипажи, к счастью, летели слишком быстро, так что была надежда спастись от ужасной этой возможности.

Наш герой миновал ворота, другие, перебежал мост и вдруг застыл в изумлении.

Прямо перед ним под тусклым фонарем, будто чужая в этом мире, но по-прежнему стройная, как молодая ель, проплывала вожделенная Настенька Заикина.

Сердце его забилося, заметалось, закричало от радости и безнадежности. Он приближался к ней. А она, будто нарочно, остановилась в задумчивости под самым фонарем и вдруг услышала его шаги.

Ну, вы понимаете, что тут она, натурально, испугалась, так как встреча с громадным незнакомцем в столь позднее время не могла сулить ничего приятного. Однако вид ее был совершенно спокоен, как она разглядывала нашего героя.

Он приближался так медленно, чтобы не потревожить ее, так вкрадчиво, так мягко, словно это был и не он, а некий добрый призрак бестелесный, явившийся непрошеным из февральской ночи. Она же ждала его приближения, стараясь понять, что нужно сему молчаливому великану.

— Сударыня, — выдохнул он едва слышно. — Вы не бойтесь меня... Вы меня помните? Мы на плацу с вами свиделись однажды... У меня к вам письмо от вашего брата, Николая Федоровича...

— Давайте же его, — приказала она без тени удивления или страха.

Письмо подпоручика, измятое в горячей ладони нашего героя, перепорхнуло, словно какая птичка, к ней в руки.

— Я вас пять дней тщился увидеть, — сказал Авросимов.

Она продолжала оставаться в неподвижности. Лицо ее было строго, даже несколько надменно, а он так надеялся увидеть в нем хоть искру благоволения. Он вдруг понял, что она сейчас повернется и уйдет, не подарив его больше ни словом. Господи, он же со всем сердцем! Или нет ему в сем мире счастья? Конечно, будь Бутурлин на его месте, он бы знал, что сказать!

— Сможете ли передать ему ответ? — вдруг спросила она вместо того, чтобы уйти.

— Сейчас? — поперхнулся он от счастья, что услышал ее голос.

— Сейчас? — в голосе ее не было ни тепла, ни сочувствия. Одно железо. — Вы смеетесь, любезный.

Он молчал. Слова, будто обьевшиися медом пчелки, не хотели вылетать. Хотя маленькая надежда теперь появилась, что она не сразу уйдет, то есть даже не то что не сразу уйдет, а ежели и уйдет, то позволит лицезреть ее снова, в другой раз. Разве этого мало?

— Когда вам будет угодно, — сказал он уже иным тоном, чувствуя себя в новехоньком мундире, и ему даже показалось, что шпоры звенят.

— Я извещу вас, — ответила она по-прежнему отчужденно, с недоверием, не слыша звона шпор, и пошла прочь.

И ведь ни слова о брате, то есть как он там, что с ним, не нужно ли чего, можно ли надеяться на великодушные судей, то есть попросту, со всем женским сердцем...

Он медленно двинулся за нею, гадая, оглянется или нет. Нет, милостивый государь, она не оглянулась. Едва лишь подошла к Каменноостровскому, как из-за угла

выползли легкие санки, в которые она молча же и усе-лась, а кучер, соскочив с облучка, принялся укутывать ее в медвежью полость, затем вскарабкался на свое место и они исчезли.

И все-таки Авросимов был полон ликования.

И так, ликуя, шествовал он обычной своей дорогой, не считая встречных фонарей, не заботясь, куда ступать, лелея в душе возгоревшийся образ суровой и неприступной Настеньки.

Февраль еще был в самом разгаре, но откуда-то, будто из подворотен, несло едва заметно острой влагой, предвестием весны, и редкие северные звезды, проглядывающие то здесь то там в разрывах облаков, казалось, вот-вот оттают и наконец прольются.

И словно это вот слабое предвестье нагнало волну новых забот, и к раздумьям о судьбе проклятого полковника прибавились новые — о подпоручике, томящемся в каземате, о его прелестной и недоступной сестре. Ведь появишься в нас хоть одно-единственное, хоть маленькое страдание, как оно тотчас влечет за собою другие, множество, и вот мы уже и не люди, а некие сосуды отчаяния, боли и надежд.

Все сие я и не стал бы вам повторять, ибо вам это и самому преотлично известно, но не могу избавиться от искушения поразглагольствовать о бурях, происходящих в нашем герое, ведь, согласитесь, не простая жизнь обступила его и не легкая доля ему досталась. Уж я и не имею в виду всего прочего, что с ним совершалось постоянно, по-крупному, но даже такой пустяк, как размолвка с ротмистром Слепцовым, ведь это тоже превратилось под рукой такого умелого мастера, как наша жизнь, в событие, полное значения и тайны.

Вообразите-ка, милостивый государь, себя на месте нашего героя хотя бы на минуту. Вообразите, что вы, истратив весь свой гнев, пыл, нервы на сведение счетов с презренным человеком, вдруг убедились, что он — образец порядочности и благородства и что его не то что по щекам бить или звать к барьеру, а следует лобызать

и ползать перед ним во прахе... Клянусь, сие повергло бы вас в сильнейшую душевную лихорадку и заставило бы еще раз подумать, что все не так-то просто на белом свете, как об том толкуют некоторые упрямые и лукавые себялюбцы.

Все трусы, милостивый государь, всегда и во всем трусы, да к тому же и подлецы (так принято считать), а что ротмистр струсил, в том Авросимов не сомневался и в первый же день после возвращения из поездки, столкнувшись с ним в комендантском доме, поглядел на него с презрением и насмешкой, однако Слепцов прошел мимо, даже вида не подав, что они знакомы. Тогда-то в сердце нашего героя угнездилась тревога, ибо ничего доброго не мог сулить этот неприступный вид подлого лейб-гусара: доложи он господину Боровкову о всяких разговорах, которые позволял себе наш герой, и жизнь Авросимова могла перемениться с прелестной легкостью. Тревога усилилась, когда нашего героя вдруг вызвали к правителю дел. Уж как он семенил туда, лучше об том не вспоминать. Но, представьте себе, бури не последовало.

Александр Дмитриевич распорядился относительно очередных дел и между прочим заметил, что донесение, составленное нашим героем, было весьма отменно и своевременно и что вообще ротмистр Слепцов отзывался о нем, Авросимове, столь лестно, что он, Александр Дмитриевич, весьма возможно, использует в скором времени нашего героя в более щепетильном деле, позабыв некоторые его просчеты, о которых уже они имели честь разговаривать.

Батюшки светы! Как же сие произошло? За что же ротмистр пощадил своего противника?

И хотя мысль об обидчике колупановском продолжала мучать Авросимова, однако новое происшествие на него весьма повлияло и он теперь был в еще большей растерянности от раскрывшегося перед ним многообразия человеческой души. Так переживал он, направляясь к дому, но слышался скрип полозьев, что вовсе не су-

лило ничего доброго, и, переполненный размышлениями и неистовством, Авросимов кинулся под родимый кров, который, ровно спасительный берег, предстал перед ним.

Ерофеич смотрел на Авросимова, подобно волку, которого вконец затравили, а охотники — вот они, рядом. И наш герой вообразил вдруг, что не иначе как Милодора ожидает его с жалобами, или сама Амалия Петровна подъехала душу вынимать, или, может, Дуняша разыскала его в столице каким-то чудом...

Оттолкнув старика, он ринулся в комнату. Дверь отлетела под ударом. Стены содрогнулись. Ерофеич за спиной всхлипнул или засмеялся, старый черт...

Посреди комнаты, упрятав лицо в ладони, в скорбной позе сидел Аркадий Иванович. Господи, что же еще-то стряслось?!

Тут капитан поднял лицо. Глаза его были влажны.

— Господин Ваня, — сказал он. — Вообразите, я должен искать у вас защиты. К дядюшке вашему, к прекрасному Артаману Михайловичу, идти я не могу, ибо он во мне видит героя, но меня все бьют по щекам, господин Ваня.

— Как же это?

— За верность мою был я определен в гвардию, — с горечью продолжал капитан, — но господа гвардейские офицеры чинят мне всяческие куры и нигде в полках не могу найти я себе пристанища. Что же делать мне, господин Ваня?..

— За что они? — спросил наш герой, обуреваемый сложными чувствами. С одной стороны, милостивый государь, ему, как человеку искреннему и полному всяческих благородств, было жаль капитана, который подвергался преследованиям со стороны самодовольных петербургских шалопаев, но с другой — цыганские глаза Аркадия Ивановича уже не возбуждали в нем прежнего расположения, да и смех его был холоден, и рыдания были не безутешны... — За что же они?

— Ах, не знаю, господин Ваня, — вздохнул капи-

тан. — Кто за что, по пустякам все, то будто поглядел не так, то словно должен что... Вот нынче, к примеру, в Павловских казармах, вы только вообразите, я уж о прежних случаях не говорю, нет, а вот нынче в Павловских казармах, свеженькое еще: собираются деньги по кругу, ну, знаете, для подарка дочери генерала, к свадьбе. Спрашиваю: «Кому деньги сдавать?» Норовлю самым первым, чтобы не подумали чего: мол, армейский нищенка, черная кость... Нет уж, увольте, господа... «Какие деньги?» — удивляется Штуб, этот прапорчишка, проклятый немец, бисова сука. — «Да на подарок генеральской дочери», — говорю я, а сам трясусь в лихорадке, господин Ваня. — «Ах, на подарок? — говорит он. — А деньги-то ваши? Кровные? Не ворованные?..» — Это опять, господин Ваня, презренный намек на ту историю, помните? Ну, с казенными суммами... Я же не могу с ним стреляться, черт! Я же только определен! По высшему соизволению! Или лицом я не вышел?.. Ну хорошо. Тут к вечеру, вообразите, квартирмейстер этот Чичагов спрашивает меня с расположением: «Как вы, господин штабс-капитан, о полковнике вашем о бывшем думаете? Жалуете его?» — «Жалею, — говорю я. — Я любил его и люблю, и боль разрывает мою душу...» — «Вот как? — усмехается он. — Любите государственного преступника и боль разрывает вам душу?..» — Представляете? Ставит меня в такое положение перед десятью парами нахальных глаз! Он, подлая лиса, сам небось по Галерной маршировал, я знаю, и хватал и вязал тогда, в декабре!.. Тут я, господин Ваня, натурально, смешался, потому что не могу понять, с добром он или напротив... — «То есть как это я его люблю?» — спрашиваю. Вижу улыбки на лицах. — «Это я вас спрашиваю, — говорит он, — вы любите государственного преступника?» — «Нет, — говорю я, — не люблю». — «Как же это вы его не любите? То любили, а теперь не любите, — говорит он, усмехаясь. — То любили, а теперь не любите... Какой вы, однако, непостоянный...» — И уходит прочь, и все они уходят с ним. Хоть бы

один мне сочувствие выразил... В полночь еду в один дом. Хочу развеяться маленько. Еще карты по рукам не пошли, а уже слышу: «Вы передергиваете!..» Помилуйте, какое тут может быть передергивание, когда карты еще по рукам не пошли?.. Тут всей колодой мне по щеке... «Стреляться!» — кричу я, потому что сил моих уже больше терпеть не осталось. — «С вами стреляться невозможно, — говорят они, — потому что вы на руку не чисты...» — Вы разве меня не знаете, господин Ваня? Вы же меня вот как знаете... Я плакал перед генералом: «Ваше превосходительство, это же невыносимо!» — «Голубчик, — сказал он мне, — вы новенький, это со всеми так...» — «Ваше превосходительство, а может, неродовитость моя тому причина? Да пусть я незнатен, разве я государю не честно служу?..» — «Что вы, Господь с вами, — сказал он. — Какой предрассудок!» — Вот вам и предрассудок.

— Вы же сами в гвардию мечтали, — сказал наш герой, вдруг пожалев капитана. — Нет, вам надобно стреляться, стреляться...

Тут он вспомнил собственную свою обиду и круглоглазое лицо ротмистра Слепцова возникло перед ним.

— А у пистолета вашего курок свернут, — сказал он Аркадию Ивановичу.

— Да это не беда, — ответил капитан равнодушно, не удивляясь, — он и со свернутым курком стреляет, я знаю...

— Да неужто вы всем так не угодили? — спросил Авросимов. — Вот ведь и полковник от всех терпит, и от врагов своих и от друзей...

И тут перед Авросимовым промелькнуло одно давнее воспоминание, как летом в деревне благословенной наблюдал он совершенно нелепую картину, говорящую о многих неизведанных тайнах природы. Брала курицу, клали ее на спину, прижимая к полу, и проводили мелом вокруг несчастной птицы, а затем отпускали ее. Она вскакивала, дурочка такая, пуча глаза, ноги ее выписывали кренделя, будто она с ночи до утра гуляла в трак-

тире у заставы. Так ковыляла она посреди изображенного круга, а выйти из него не смела. Отчего такое? Кто же это шепнул ей, что она не смеет? Все, натурально, вокруг надрывались смехом, глядячи на хмельную тварь, а кто-то вдруг возьми да крикни:

— Да вы сами в кругу, черти лопухие!

Может быть, и в кругу, милостивый государь, но ужель возможно сие понять тому, кто сам из круга этого не вырвался? Нет, невозможно. Вот, вообразите, провели вокруг нас круг, означающий, к примеру, что без казенной палаты жить, мол, нельзя, и мы с сим понятием существуем, а ежели и мелькнет сомнение, так сразу же его гоним прочь: да неужто все дураки, а я один — умник? Такого быть не может. Нужна казенная палата... Вот ведь беда какая. О казенной палате — это я к примеру, милостивый государь, а не потому, что я против. Пусть она себе процветает, Бог с нею. Но история жизни учит, что лишь немногим из нас удастся вырваться за сию линию, проведенную вокруг, и лишь они-то и могут понять, что сие просто линия, а не Божье установление... Да, лишь немногие...

«Что же я спросить его позабыл, — подумал наш герой о полковнике с тоскою, — что же не спросил, как это он-то смог? Не боязно теперь расплачиваться? А не придется ли в круг тот вернуться?»

— Господин Ваня, — сказал капитан, — есть горилка. Разделите со мною компанию, будьте милостивы.

— А «Русскую Правду» нашли, — сказал наш герой, ожидая, что капитан закричит от радости, но Аркадий Иванович, напротив, проявил полное безучастие к сему и неохотно так выдал из себя:

— А я знаю... Видите, как оно? А считали меня бесчестным человеком. А я с детства воспитан в правилах чести, хоть и незнатного рода...

И он принялся извлекать из кармана плоскую зеленую бутылку, в которой булькала жидкость, и тотчас откуда ни возьмись звякнул в руке его зеленый же ста-

канчик. Пробка отлетела, и полилось, полилось на славу.

В окно сильно постучали, но наш герой тому не удивился, не вздрогнул. Он поднялся во весь рост перед пьющим и плачущим капитаном. Громкий зов о помощи раздался в комнате. «Бегу, бегу! — крикнул Авросимов в душе. — Бегу!» Он и в самом деле бежал не то по снегу, не то по коридору, держа в руке злополучный пистолет со свернутым курком. Фигура в женском салопе метнулась через ров и, задыхаясь, упала в возок. Кони понесли. Авросимов на своих щеках ощущал неистовое жжение февральского ночного ветра. На крепостной стене замелькали фонари, послышались выстрелы. Забил набат. «Поздно! — подумал наш герой со злорадством. — Поздно, господа!» И выстрелил в преследователей.

Съезжившийся на стуле со стаканчиком в руке несчастный капитан ничего этого, натурально, не видел и не воображал. Вино помаленьку делало свое дело, и скоро его осталось в зеленой бутылки на доньшке. Допив остаток, капитан сказал:

— Ваше превосходительство... хоть я и не знатен, но честен. Хочу вам сделать презент... Эта маленькая сучка — суций бес... Возьмите, ваше превосходительство...

Это было смешно и печально, как человек, теряя свой облик, помнит, какую струнку щипнуть, чтобы раздался главный звон.

А меж тем фигура в женском салопе продолжала скакать в возке по Петербургу, путая следы, пугая случайных путников...

Капитан уже храпел на кровати нашего героя. Ерофеич вздыхал в своей кухне. А к Авросимову сон не шел. Разгоряченный фантазиями, с трудом дождался он утра и помчался в дом к Амалии Петровне, бросив спящего капитана на произвол судьбы.

Человек провел Авросимова в гостиную, отправился доложить, а воротившись, сказал, что барыня просили обождать.

Теперь при свете утра наш герой мог наконец с большими подробностями оглядеть гостиную, ту самую, в которой он уже бывал по неизъяснимым прихотям судьбы, где, словно в древней амфоре, так странно перемещались первое восхищение и первая горечь, надежда и отчаяние, гостиную, где все носило следы ее обитательницы, такой возвышенной и такой земной и хрупкой, что не приведи Господь.

Всю дорогу, покуда Авросимов мчался по просыпающемуся Петербургу сюда, на Загородный, в дом господина Тычинкина, невыносимый зов о помощи раздавался в его голове, то усиливаясь, то затухая, и от сего наш герой испытывал дрожь в руках, будто больной лихорадкой. И здесь, в этой гостиной с красными покойными креслами, раскорячившимися на золотом скользком паркете, здесь, под потолками, с которых вожделенно глядели амуры, здесь, среди стен, обтянутых бледно-зеленым китайским ситцем, этот зов загудел в полную силу, отвергая приличия, не давая погрузиться в ровное течение повседневных забот. А уж тонкий аромат печений, витающий среди этого изыска, тех самых печений, сдобренных корицею, которые так хороши к утреннему кофию, и подавно был бессилен погасить этот зов, который, натурально, ежели через весь Петербург летел на своих скорбных крыльях, то что ему была сия легкая преграда...

И шумный вздох вырвался из груди нашего героя, и он понял, что зов этот — не случайность какая-нибудь, не блажь природы, а прямое указание, идущее, может

быть, свыше, требующее его, Авросимова, вмешаться в судьбу несчастного, оставленного в одиночестве полковника.

«Да бегу, бегу же! — крикнул он в душе. — Вот он я. Сейчас, сейчас!»

Внезапно, скрипнув по-кошачьи, поддалась и приоткрылась дверь, ведущая в следующую комнату. То ли ветер ее приоткрыл, то ли Бог, неизвестно, но до Авросимова долетел голос Амалии Петровны и мужской незнакомый, и он услышал совершенно явственно:

Незнакомец. Да что же теперь об том говорить. Судьбе было неугодно. Но я всегда знал, что вы достойны любви и преклонения. Об одном остается жалеть, что не его удостоили вы своей милостью.

Амалия Петровна. Уж не видите ли вы в том ошибки?

Незнакомец. Какие уж тут ошибки, любезная Амалия Петровна? Простое сожаление, хотя и пустое, ибо он был человеком железных правил и ничего, кроме собственных идей, в расчет не брал. Это общеизвестно.

Амалия Петровна. Но вы хоть цените это в нем? Вы не отворотились от него в своем сердце?

Незнакомец. Помилуйте, Господь с вами!

Амалия Петровна. Ведь бывает же так, что за внешней холодностью страшатся различать суть. Вы будете о нем помнить?..

Незнакомец. У меня вызывает слезы ваша преданность ему и ваша непоколебимость. Как вы это умеете, когда все, почти все отворотились, так молиться о нем!

Амалия Петровна. К сожалению, молиться — это единственное, что мне позволено.

«О, нет, не единственное! — воскликнул наш герой, ощущая за спиной крылья. — Как вы закричите с радостью и страхом, когда узнаете, что есть еще надежда».

Незнакомец. Слухи о милосердии государя меня мало утешают. Я в них просто не верю.

Амалия Петровна. Вы и не можете в них верить. Вы не можете...

Незнакомец. Я бы хотел признаться вам, что укору совести нещадно мучают меня последнее время. Ах, не потому, что мы с ним врозь, сему есть множество логических причин да к тому же давних; и все же то, что я не с ним, это, согласитесь, печально. У меня был разговор с великим князем, ну... так разговор... вполне приличный. Что с меня взять?

Амалия Петровна. Не касались ли Владимира Ивановича?

Незнакомец. Нет, нет, что вы...

Амалия Петровна. Ну да, естественно... это бы ни к чему.

Ах, кабы знала она, что на следующий же день после страшной экзекуции пожалуют Владимиру Ивановичу флигель-адъютанта, она бы тотчас утешилась; да вот не знала, ибо не дано нам предугадать капризы судьбы. И потому, словно малая беззащитная птичка, суетилась она вокруг своего гнезда, оберегая его от несчастий и не задумываясь: а для чего все это?

Незнакомец. Но каково было мне-то сознавать, что я, будучи все тем же, по-прежнему любя вашего несчастного деверя, исповедуя образ его мыслей, благодаря давней оборвавшейся связи беседую с великим князем почти на равных вместо того, чтобы томиться в каземате...

Амалия Петровна. Ах, оставьте, полноте! К чему эта сентиментальность? Я понимаю вас, но слава Богу, слава Богу, что вас сие минуло! Поверьте женскому сердцу.

Незнакомец. Амалия Петровна, я приехал утешать вас, но вижу, как вы мужественны и сильны духом. Вы даже улыбаетесь... Это добрый знак.

Амалия Петровна. Я надеюсь, что ваши друзья будут знать об этом. Даже самые суровые испытания не могут сокрушить сердце, когда оно — любит.

Незнакомец. Да, да...

Слыша все это, наш герой представлял себе ее вдохновенное лицо, ее тонкие белые руки, простертые к незнакомцу, ее прекрасные глаза, в которых, как всегда, тонуло что-то самое важное, тайное, проклятое.

Наконец голоса смолкли. Видимо, Амалия Петровна проводила своего гостя через другую дверь. Прошло несколько мгновений, и она появилась. На лице ее не было ни радости, ни удивления при виде нашего героя, словно они каждый день встречались, словно она ждала его.

Он стремительно шагнул к ней навстречу.

— Что вам угодно? — спросила она.

— Я пришел обрадовать вас, — ответствовал он не очень уверенно.

— Чем же вы можете обрадовать меня? Вам что-нибудь стало известно?

— Амалия Петровна, сударыня, когда бы вы соблаговолили только, а я знаю, как вы заинтересованы в судьбе Павла Ивановича...

— Что такое? — брови у нее взлетели.

— ...мы смогли бы попытаться счастья с вами...

— О чем это вы?

— Медлить нельзя... Ему грозит жестокая участь... Ежели вы готовы помочь мне... Я там все выходы знаю... Я уже все решил, любезная Амалия Петровна... ежели вы только...

Тут лицо ее стало бледным, и Авросимов в первый миг даже испугался. Он испугался, что ей станет худо, что это он своей торопливостью причинил ей боль, хотя можно ведь было говорить обо всем мягче, а не рубить сплеча. Но эти сожаления и страх тотчас рассеялись, ибо лихорадка его все усиливалась и никаким другим чувствам уже не оставалось места. Однако она справилась с волнением.

— Вы сами сие надумали? — спросила она.

Он кивнул.

— Ах, вот как... — какие-то таинственные бури бу-

шевали в ней, в самой глубине, но на поверхности было лишь легкое волнение. — А последствия?..

— Сударыня, я все обдумал... ежели вы согласны...

— Да? — рассеянно сказала она. — Да, да, это так неожиданно...

Вдруг солнце ударило в окна, и китайский ситец на стенах зашевелился, зацвел, послышалось пение птиц. Амалия Петровна, бережно прикасаясь пальцами к прекрасной своей родинке, уходила сквозь густую траву, которая достигала до ее груди.

— Вы не поняли меня! — крикнул он. — Вы поняли? Его хотят убить!.. В острастку нам... Вы поняли?

— Ах да, я поняла вас, поняла, — с ужасом произнесла она, и слезы хлынули из ее прекрасных глаз. — И вы решились?!

...Он торопился по улице. Полетел влажный и крупный снег, и, пробираясь в нем, Авросимов с трудом различал редкие расплывчатые фигуры прохожих, втягивавших головы в плечи, вскинувших воротники, скрючившихся и крадущихся, словно за ними охотились. Даже богатые экипажи, пролетавшие мимо, торопились все как-то боком. Ваньки, дремлющие на углах, распадались в зыбком тумане.

Крепостной плац был пустынен. Пистолет терся о ребра в неистовом каком-то предчувствии. Встретившийся в коридоре Александр Дмитриевич Боровков на поклон не откликнулся, а, вытянув острый подбородок, пролетел мимо, отчего у нашего героя в сердце что-то отвратительно щелкнуло.

На мгновение мелькнул в его сознании бледный и неустойчивый образ Настеньки, но тут же погас и рассеялся.

Где-то за сырой крепостной стеной, совсем рядом, ловил прусачков мятежный полковник, не подозревая о возможном своем и скором освобождении. Где-то тоже рядом, насупотив полковника, лил слезы бедный мальчик Заикин, разуверившись в людях и жалея ротмистра Слепцова, с легкостью выдающего ложь за правду, и

завидуя рыжему писарю, верящему в собственное благородство.

Даже получая от Александра Дмитриевича работу, а именно — перебелить набросанные начерно мнения пленных друзей полковника о своем предводителе, он и тут не удостоился его взгляда, ровно это был и не он, Авросимов, баловень и удачник, а некий неопределенный предмет, на который и глядеть-то не стоило. И все это благодаря душевной чуткости нашего героя пребольно его задело и встревожило, потому что как ни обольщайся милостивым к себе отношением, а ухо держи остро, ибо никто не знает, где и какие грозные силы шевельнулись, как по-новому расположились звезды, кто руку вознес для удара.

«Мешкать нельзя, — подумал наш герой, нацеливая перо на бумагу, — не ровен час, все переменится, а переменится — прощай, полковник несчастный, не жди добра!»

И он сам не заметил, как перо повело по чистому листу какую-то свою линию, рядом — другую, и постепенно нарисовался треугольный коридор ужасного разелина, от дверей упал через ров мостик, потянулась крепостная стена с куртинами, ворота, комендантский дом, похожий на пустую птичью клетку, вторые ворота, кружок несколько поодаль, знаменующий некоего ваньку, мерзнущего в своем тулупе в февральскую ночь.

План крепости со всеми подходами и углами неожиданно получился весьма верно. Затем наш герой, прикусив от напряжения кончик языка, вывел в треугольном коридоре несколько крестиков, которые должны были означать солдат-инвалидов и караульных офицеров, и другой крестик побольше — очевидно, плац-майора Подушкина.

Осуществить готовый план он решил нынче же, в среду, в полночь, ибо в молчании Боровкова почудились ему весьма недобрые, даже грозные предзнаменования. Оставалось договориться с каким-нибудь возницею, что

труда не представляло, ежели на рубли не скупиться. Глубоко вздохнув, он намеревался было, тщательно сложив, упрятать свою тайную работу куда подальше от посторонних взоров, но принялся напоследок подсчитывать крестики. Солдат получилось двенадцать да три офицера, не считая плац-майора. Это обстоятельство сильно смешало его намерения. Он торопливо еще раз пересчитал крестики — солдат не уменьшилось. Крестики изгибались под пером, ровно живые, перебежали с места на место, прятались за углами, а когда он начал радоваться, что их все-таки меньше, внезапно высовывались и корчили рожи. По широкому лбу нашего героя струился пот, рыжие прекрасные его волосы торчали во все стороны, тревожимые нервной пятерней.

Постепенно комендантский дом начал наполняться людьми. Захлопали двери, раздались голоса и шаги, замелькали головы, спины, эполеты. Авросимов упрятал план поглубже и удрученно перенес его осуществление на завтра, то есть на четверг, на полночь же, надеясь что-нибудь придумать с злосчастными инвалидами, которых развелось, ровно прусачков, великое множество.

Тем не менее следовало заняться делом, которое ждать не могло, и Авросимов, продолжая метаться душою, углубился, как ему показалось, в чтение черновика и снова нацелил перо на чистый лист.

И тут он увидел себя синеглазым поручиком, легко взбежавшим по дрогнувшим ступеням на малороссийское крыльцо, и шпоры его зазвенели, словно это и в самом деле было, да, было летом, прошлым, запрошлым, когда-то, когда он ехал через Малороссию и по странному незадуманному крюку докатился до Линец, где проживал тогда полковник, впрочем, он именно туда и ехал и никакого крюка, собственно, и не было.

Они сидели в белой комнате Павла Ивановича, в точности описанной капитаном Майбородой, и Павел Иванович, будучи в расположении, сказал доверительно:

— Вот вы скачете, скачете, пот у вас струится, и

щеки у вас пунцовеют, как у барышен, а в глазах — одно дилетантство. Заранее предвижу каждый ваш жест... Вам боязно, да стыдно признаться...

— Хитрец вы, Павел Иванович, — засмеялся Авросимов и погрозил полковнику пальцем. — Вы меня поддеть хотите, да я не дамся. Вы отменный соблазнитель. А у вас щечки-то, глядите, какие пунцовые у самого-то...

— Это на деревенском воздухе, — вдруг смутился Пестель. — Здесь не то, что у вас, в гнилом вашем Петербурге. Или не так? Видели вы мою матушку? Что она?

— Видел, — сказал наш герой. — Она имела со мною откровенную беседу...

— Вот как?

— ...в том смысле, что ваше предприятие... наше предприятие (Пестель засмеялся) обречено...

— Вот как?

— ...неоднократные попытки свергнуть тиранию приводили к новой же... Какая разница?

— Надеюсь, — сказал Пестель, — что вы говорили tête a tête? Экая страсть сбивать юнцов с толку!

— Полноте, — обиделся Авросимов, — мне двадцать два, и я намерен жениться на Настеньке Заикиной.

Милостивый государь, не удивляйтесь, ради Бога, фантазиям нашего героя, не взирайте с пристрастием и осуждением на сей вымысел, ибо, оборотившись на самого себя, вы с легкостью можете убедиться, что и вы, милостивый государь, в юные-то годы, когда душа ваша бывала возбуждена, воображали себя Бог знает чем.

— Мне всегда любопытно было знать вас ближе, — сказал Павел Иванович. — Скажите откровенно: вы шибко голодны? Только не стесняйтесь... Савенко!

Тут появился знаменитый денщик. Наш герой тотчас узнал его. Однако ничего отвратительного, песьего, как утверждал бедный капитан Майборода, в солдате не было. Передвигался он бесшумно. Стол накрыл мгновенно. Вина не поставил.

— Это мешает общаться, — усмехнулся полковник.

— Естественно, — в тон ему ответил Авросимов.

— Скажите мне, господин поручик, насколько верите вы в успех нашего предприятия?

— Верю, верю, — слишком поспешно откликнулся наш герой, словно от его ответа все и зависело.

— Отлично. И все элементы его вам понятны и дороги?

— Да.

— И у вас нет мыслей о корыстности моих намерений?..

— Господь с вами!

— ...Как у некоторых моих единомышленников?

— То есть?..

— Ну в том смысле, что я, мол, склонен к диктаторству и, ежели все свершится, то...

— Да полноте, зачем так-то?

— Минуточку... Вы проглядывали «Русскую Правду»? Значит, вы согласны, что после того, как все свершится, необходима будет диктатура власти? Согласны?

— Да, — сказал наш герой, и сердце его похолодело. Небольшие пронзительные немецкие глаза Пестеля устались прямо в него.

Полковник легким движением расстегнул мундир и вздохнул.

Авросимов тем временем ринулся с облаков на землю, очутился в комендантском доме перед исписанными листами и снова принялся за них. Ах, они были горячи! И горьки, неся в себе следы прикосновений страждущих душ. Вообразите, как бы живые вставали пред его взором их странные силуэты, в которых не угасли еще искорки надежды, но на которых лежали скорбные тени казематов, и стрелы недоумения, отчаяния и поздней горечи крест-накрест сходились на них. И он слышал их голоса, звонкие и глухие, но все страдающие и все отрешенные... И он вел перо по бумаге, и перо плясало в его руке...

«...крайние взгляды Пестеля... и надо было противо-

поставить ему, ну, скажем, Михайлу Орлова, имевшего большое влияние во 2-ой Армии... требовал, чтобы общества слепо и беспрекословно повиновались одному лицу, подразумевая себя... Петербургское общество боялось ввериться сему диктатору... Северные члены отвергали «Русскую Правду», потому что замечали честолюбивые взгляды и диктаторство Пестеля...»

Господи, а где же слова о благоденствии?! О счастье народа? О солдатских поселениях? О мраке и хаосе, повергшем Россию на колени не в пример Европе?.. Где эти высокопарные мечтания полковника, которые он, Авросимов, сам слышал и сам записывал дрожащею рукою, с тоской и страхом?

Понятия времени и места перемешались, и уже нельзя было решить, то ли Авросимов воистину пребывает в гостях у страшного предводителя заговора, то ли Павел Иванович с отменным тщанием, согнувшись над черновиками вместе с нашим героем, помогает ему перебеливать сии печальные документы.

— Что же вынуждало вас отказываться от роли главы государства? — вдруг спросил Авросимов. — Что же такое могло препятствовать?

— Фамилия, — очень строго, не замечая лукавства, ответил полковник. — Моя фамилия. Человек с моей фамилией не может быть во главе Российского государства, — и снова вздохнул. — Вы верите, что все сложится удачно?

— Да, — сказал Авросимов, не веря, то есть не то что не веря, а уже зная о сем...

— Ежели все сложится удачно, — проговорил Павел Иванович, стараясь выговаривать твердо, — и я закончу все дела сии, что, вы думаете, намерен я сделать?.. Удаюсь в Киевскую лавру и сделаюсь схимником...

— Вздор какой!

— Не вздор. Вы этого не поймете.

— Отчего же не пойму? Все равно вздор...

— Точный расчет и последовательность воспринимаются как безумство честолюбия, — он вдруг засмеялся не без удовольствия. — Разве я похож на диктатора?

— На Буонапарте...

— Бонапарт? — удивился Пестель, — Вы говорите о внешности? Фу, да у него живот до колен был!

Они снова углубились в протоколы.

«На одном из совещаний в Киеве в 1823, в квартире князя Волконского в первый раз было говорено об уничтожении императорской фамилии... Пестель настаивал на уничтожении всех особ...»

«...Пестель уговорил большую часть членов на истребление императорской фамилии... Ежели останутся великие князья, не избежать междоусобия...»

«...Никто более Пестеля не стремился к исполнению преступных замыслов общества... Он предлагал истребление всей императорской фамилии...»

Как обычно, молодой государь император, на сей раз в мундире бригадного генерала и красивый, что не приведи Господь, вышел из дальнего угла и остановился перед Авросимовым. Но прекрасное его лицо с чертами древнеримского героя не было привлекательно. В то время как губы слегка змеились в усмешке, глаза словно утопали под тяжелыми бровями, и были эти глаза неподвижны, и вселяли повиновение...

«...предлагал истребить императорскую фамилию...»

И из сего повиновения слепого родилось безумство подлых черновиков, похожих на донос, производимый сильным на слабого.

«...истребить императорскую фамилию...»

Он будет милостив, но не по сердцу, а по расчету, и угодливые его холопы произведут тот расчет с отменным усердием, ибо неспроста запомнилась нашему герою фраза, оброненная как-то генералом Чернышевым вскользь, где-то, на ходу, будто птица, не имеющая названия, взлетевшая под потолок комендантского дома: «Полагаю, что государь не унизится до помилования главных преступников...»

«...истребить...»

Господи, а где же слова о благоденствии России, о вольности? Почему они не вписаны в черновики?!

— Ложь! — шепотом закричал Авросимов, ломая перо. — Обман!

Обида за несчастного полковника подкатила к горлу. Поверьте, он был страшен в это мгновение, наш рыжий великан, и, кто его знает, может, очутись пред ним сам великий князь, пришлось бы его императорскому высочеству худо, да, видно, Господь уберет.

Лихорадочно и, не в пример другим разам, небрежно наш герой справился с отвратительной его сердцу работой и, услышав гром полуденной пушки, выбежал из крепости, вновь положив произвести операцию нынче же, в среду, а не в какой-то там четверг, не откладывая, словно опять ворвался в его душу пронзительный зов о помощи, от которого не было спасения.

«Так, так, — твердил он про себя, торопясь к дому, — каковы каналы! Значит, ничего и не было? Одно лишь истребление?.. Каналы!»

Так он бежал по Петербургу, бормоча про себя проклятия, словно хворосту подкидывая в огонь, который мог затухнуть на сырой погоде, однако и тут здоровый организм старательно, как верный молчаливый слуга, начал прибираться к рукам отчаяние нашего героя, да еще морозец и ветер делали исподволь свое дело, не в силах глядеть, как разрывается его сердце от всяческих мук, и уже на полпути к дому, на середине Большого проспекта, легкое умиротворение вдруг потекло по жилочкам, разрастаясь, позволяя вновь увидеть все вокруг.

Что же увидел он?

Он увидел дома, черные окна, провалы ворот. Вон ванька ждет своего ездока, вон крендельщик стоит на пороге крендельной, разглядывая проходящих мимо, вон чья-то легкая карета, покрытая коричневым лаком, пронеслась вихрем в сторону залива, так что ее беспре-

станно заносило, несмотря на тонкие, острые полозья саней.

Что же еще он увидел?

Он увидел гуляющего молодого человека с тихой улыбкой на лице, словно сейчас у него должна была свершиться самая главная радость. Он увидел двух молодых дам, болтающих о чем-то меж собой; они мельком оглядели нашего героя, прежде чем усесться в удобный возок, отворотились и опять принялись за разговоры. Он впервые заметил, что проспект похож на Неву, а дома — на гранитные берега, и сам он, подхваченный ровным, неторопливым течением, медленно уносится куда-то вдаль, откуда не захочется воротиться. Угас пронизительный крик о помощи, растаял. Но ванька, дремлющий на углу, вдруг напомнил ему о плане, и не очень торопливо наш герой подошел поближе.

— Милости просим, ваше благородие...

— Недосуг мне сейчас, — откликнулся Авросимов.

— Вот бы ночью... ну, скажем, часа в два...

— Ночью?.. Это зачем же, ваше благородие?

— Ты не разговаривай... Я хорошо заплачу... Согласен?

— Может, чего против закону?

— Да почему же против закону? — ужаснулся Авросимов.

— А коли нет, так ладно...

«А ведь и в самом деле против закону!» — подумал наш герой и побежал прочь, и вскоре достиг дома.

«Дурень какой, господи, — подумал он, взбираясь по лестнице. — Да я живо другого найду... Уж не с тобой, увальнем, связываться, черт... Еще заснешь на полпути, прощельга. Найду другого, мордастого такого, с разбойными глазами, да и чтоб лошадь как лошадь чтоб... Ну не нынче, так завтра уж непременно найду... В четверг...»

Рассуждая так с самим собой, он прошел через кухню, не замечая Ерофеича, остолбенело вытянувшегося

перед ним, вошел в комнату и остановился пораженный.

Перед ним, откинув шубу с одного плеча так, что обнажился роскошный гусарский эполет, вполоборота к окну, подставляя под серый февральский полуденный свет круглоглазое лицо, неподвижный, подобный грозному каменному изваянию, стоял ротмистр Слепцов, адъютант генерала Чернышева, недавний спутник, искуситель, обидчик и благодетель.

— Ну-с, так вот, господин Авросимов, — промолвил ротмистр, вдоволь насладившись растерянностью нашего героя. — Вы, конечно, изволили позабыть обо мне, сударь, а я — вот он. Надеюсь, однако, что не забыли оскорблений, которые вы мне нанесли. Вы слышите меня? В те поры мне было недосуг заниматься с вами, нынче я к вашим услугам. Покорнейше прошу прислать ваших секундантов нынче же к господину N, чтобы иметь время договориться об условиях на завтра. Вы слышите? На завтра, сударь.

Кровь ударила Авросимову в голову, ибо, пока он слушал высокопарный вызов ротмистра, тонкая ниточка размышлений, цепляя одно за другое, привела его к образу Дуняши. Воспоминание об этой далекой женщине, недоступной, словно эхо, едва мелькнувшей перед ним в колупановской глуши, окруженной таинственными событиями, воспоминание сие возбудило в нем гнев, однако спешу вас уверить, что внешне сие состояние выразилось едва заметно, и наш герой оставался стоять, неподвижен, с вызовом в синих глазах.

— Полагаю, вам нет оснований отказывать мне, — усмехнулся проклятый гусар.

Где-то далеко, в самой глубине сознания Авросимова, вспыхнула мысль о намеченном на завтра, на четверг, плане, вспомнилось вдруг странное великодушие Слепцова и лестные его рапорты об участии Авросимова в поездке, но вид ротмистра был так вызывающ, держался он так дерзко, да в довершение всего коварный поступок ротмистра там, в поездке, был так ярок перед

глазами, что лишь чудо удержало руку Авросимова, чтобы разом не покончить с наглецом.

— Я к вашим услугам, сударь, — спокойно поклонился он и в свою очередь тоже с усмешкою глянул в глаза ротмистру.

Брови гусара удивленно взлетели, едва он увидел сию усмешку, но делать было нечего.

И вдруг издалека, сквозь стены и стекла, из февральского полдня пробился и долетел знакомый скорбный зов, отчего наш герой едва не вздрогнул... Мыслимое ли это дело сознавать, что ты, будучи причастен к высокой тайне, готовясь к благороднейшему поступку, в то же время стоишь пред тем, кто, лишь узнай он, станет твоим преследователем и судьей?

«А как же с тем?.. — тоскливо подумал наш герой, хотя почувствовал, как некое странное облегчение коснулось его сердца. — Да не вымаливать же отсрочек у вздорного сего негодяя! Стреляться!..»

И он положил перенести свой замысел на пятницу же, на послезавтра, но уж не откладывая более ни на минуту.

Ротмистр давно покинул дом, а Авросимов все еще стоял посреди комнаты в странном оцепенении.

Нет, мысль о возможной гибели не терзала его, да собственной смерти для него и не было, словно он ежедневно выходил к барьеру и от пули был заговорен. Все это я склонен объяснять опять его молодостью и отсутствием опыта, а в таком возрасте, вы сами знаете, и море по колено.

Нет, не о смерти думал он. Воображение рисовало ему картины, одну достойнее другой, и распростертое хладное тело ротмистра Слепцова было из них лучшей.

Не буду, милостивый государь, утруждать вашего внимания подробным рассказом о том, как метался наш герой по прекрасному Санкт-Петербургу в поисках Бутурлина, которому он решил доверить секундантство, как разыскал его наконец и как договорились они по-

встречаться вновь поздним вечером в знакомом вам флигеле у Враницкого, чтобы уж окончательно все обговорить. Не буду утруждать вашего внимания сими недостойными подробностями, и позволю себе на самое короткое время отвлечься, чтобы, может быть, в последний раз заглянуть к Павлу Ивановичу, в треугольный его равелин.

Павел Иванович был, должно быть, счастлив, что не знал о буре, поднятой им в душе нашего героя, и о жарких приготовлениях и метаниях сего последнего. Когда б он знал об сем, ему бы, верно, пришлось несладко: ждать, томиться да утопать в сомнениях.

Он даже смирился с возможностью угодить в солдаты, хотя всякий раз горестно морщился, думая об этом. Пастор Рейнбот, посетивший его вчера, тщетно пытался смягчить полковника. Оба были вежливы и расстались холодно.

Пестель насмеялся над самим собою с величайшей злостью, вспоминая, как за несколько дней до ареста, находясь в полном неведении относительно того, как повернется дело, больше всего переживал не о том, что все рухнуло, а о том, как бы подальше упрятать «Русскую Правду» — великовозрастное свое дитя. И в суете и поспешности предарестных дней какие-то многочисленные руки передавали друг другу сие собрание идей и размышлений, чтобы предать земле, сохранить, уберечь, чтобы потом, в скором времени, как только рассеются наветы и раскроются двери гауптвахты (не тюрьмы — гауптвахты, милостивый государь!), тотчас извлечь схороненное дитя на свет Божий.

И все виделось так, как может видеться в ослеплении самоуверенности: все только на равных, только по высшему счету, только в блеске словесных поединков.

Однако тяжелый взгляд молодого императора выдавал не удивление, а непримиримость, и стадо старых разнузданных судей уже само по себе говорило о пол-

ном пренебрежении к идеям схваченного полковника.

Все это было так внезапно и потому так ужасно, что приученный к точным расчетам и неумолимой логике мозг Павла Ивановича взбунтовался и ударился в панику. Вдруг стало ясно, что блестящих поединков идей и мнений не будет, а будет нанковый халат, крепость и прусачки, да еще будут мрак и безвестность. И вожделенная свобода, словно коварная разлюбившая женщина, вдруг ушла прочь к живым и счастливым, оставив полковника в полном недоумении. Тогда-то и возникла перед ним его печальная фортуна в образе немолодого солдата, шагающего под веселую и непрерывную дробь полкового барабана.

Да, милостивый государь, именно солдата.

Вот что навалилось на полковника и что мучало его. Ах, когда б он только мог знать, что предстоит ему на самом-то деле, он, милостивый государь, воспринял бы солдатчину как благо, а не то что как наказание, и он бы не сидел, согнувшись над столом, колдуя над листом бумаги, и не писал бы торопливо грустных слов генералу Левашову в тайной надежде, что письмо попадет к государю, и не обещал бы искупить свою дерзость отменным служением на благо отечества... Когда бы знал... Но он сего знать не мог...

Кстати, о дерзости.

Ведь дерзость — словно, может быть, и удобное в письме на имя государя, но весьма неточное. Вы только вообразите себе тех самых судей, которые вдруг услышали сие слово... Да они смеялись бы над ним, ибо с их точки зрения, с их, как говорится, колокольни, с высоты их страха и содрогания поступки полковника — не дерзость никакая, а преступление. А что касается народа российского, так ведь он ни об чем таком не имеет понятия, ибо занят своей землей, своей наковальной, своим хлебушком насущным и бюллетеней всяких не читает, а ежели и читает кое-когда, ничего в том не смыслит, а ежели и смыслит, так кроме того, что сии

поступки есть преступление, ничего другого не узнает.

Возьмите-ка, милостивый государь, бюллетени тех лет, почитайте-ка их (а я читал-с, и премного), и вы ничего, кроме понятия п р е с т у п л е н и е, и не вычитаете. Ни о том, что Павел Иванович делал свой расчет освободить крестьян, и ни о том, что он предполагал положить конец казнокрадству, дать солдатам облегчение и множество другого всякого, не вычитаете тоже, а лишь одно: вор, разбойник, цареубийца... Вот как... Так что Павел Иванович, брошенный в сырость и мрак, к прусачкам, натурально, оцепенел от такой несправедливости, но по собственному неведению не понял еще, что он в глазах государя — преступник, что он преступление совершил, а не дерзость. Потому-то судьи и не всплеснули руками, прочитав его «Русскую Правду», а отложили ее в сторону, а сами забубнили свое про цареубийство, ибо за это легко карать, а за справедливые слова — совестно. Ах, полковник, бедная голова!..

Письмо было закончено, и лист сложен вдвое. И без того темный полдень угасал окончательно. Светильник коптил нещадно. Пахло копотью. Не дай вам Бог услышать запах копоти в сыром месте! Лети, письмо! Ежели судьбе угодно и государь прочтет его, он не сможет не побороть в себе ожесточения, и тогда все поворотится. Натурально, полка не будет, даже батальона. Может быть, и вовсе выпадет оставка, и тогда осуществится желание тамап видеть сына в тишине и покое. А ежели — нет? Ежели прочтет и ожесточится более? Тогда — солдатчина?.. А ежели (о, Господи!) выпадет сидеть в сем каземате год, два, много!.. И будет капать вода, греметь железо, будут плясать прусачки при свете коптилки, будут крысы делить меж собою его арестантский хлеб...

Он поднял голову. Серое лицо его было спокойно. Буря бушевала в сердце, под ребрами, да на листе бумаги, сложенном вдвое.

Теперь, милостивый государь, извольте-ка заметить, что слово дерзость и со стороны полковничьей,

так сказать, тоже не раскрывало сути дела, ибо не дерзостью питались умы мятежников, а расчетом и мыслями о добре. Стало быть, дерзость — вздор, милостивый государь, и те, в ком она будто бы горела ярким огнем, вполне могли оказаться людьми, может, и прекрасными, да ненадежными. Павла же Ивановича в сем грехе упрекнуть было невозможно, а словечко это, промелькнувшее в письме, промелькнуло, я полагаю, по причине того, что сильным сего мира оно нравится своей туманностью и безопасностью. Так что простите полковнику эту маленькую хитрость поверженного, но не потерявшего надежд человека. Он каялся, но механизм его мозга был устроен так, что виновным себя признавать он не мог, а это душа его металась с криком и билась о стены и решетки треугольного равелина... Ах, полковник, бедная голова!..

— Ежели вы получите свободу, будете ли вы упорствовать в своих замыслах? Будете ли стремиться восстановить разрушенное? — спросил он самого себя.

И ответил себе же тюремным шепотом:

— Нет, никогда.

— Но почему? Почему? Почему же, о Господи?!

— Не знаю... Сие свыше сил...

— Значит, отрекаешься?

— Да нет же, Боже мой, нет!

Самый крупный и упрямый прусачок медленно и достойно танцевал на столе в свете лампадки.

«Ежели он испугается, — подумал Павел Иванович о танцоре, — стало быть, царь проявит великодушие», — и протянул к прусачку ладонь. Насекомое продолжало танец. Полковник пощелкал пальцами — таракан метнулся в тень. Это несколько приободрило Павла Ивановича.

Тем временем, покуда Пестель пребывал в невеселых своих раздумьях, наш герой разрывался на части. С одной стороны — план, бушующий в сердце, требовал пищи. Это легко себе представить, ежели вспомнить об

огне. С другой стороны — завтрашний бой так напрягал все тело, что оно ныло, словно по нему прошлись кнутом. Что касается плана, то тут опять не было ни возницы еще, ни решения, как справиться с двенадцатью инвалидами и офицерами караула, а время шло. Наконец он махнул рукою, положив выполнить сперва свой кавалерский долг на поединке, а уж после, проучив Слепцова, заняться приготовлениями к страшному предприятию.

Как ни уговаривал его Ерофеич откушать, пугая матушкиным горем и отчаянием, Авросимов за стол не садился, а старика гнал. Стоял в одиночестве, глядел в окно, как там вечерело, не слыша ни слов, ни прочих звуков. Вдруг что-то заставило его оборотиться.

На пороге стоял незнакомый господин неопределенного возраста. В одной руке держал он узелок, будто освященный кулич, а другою старательно прикрывал дверь.

— Филимонов, — представился он негромко.

Авросимов поклонился.

— Ежели вам нужна моя помощь в известном вам деле, — шепотом сказал человек, — не побрезгуйте.

— В каком таком деле? — спросил наш герой.

— Вы же намерены спасти узника, — очень просто шепнул Филимонов. — Так я могу взять на себя заботы...

— Что за вздор? — крикнул Авросимов.

— Денег я не возьму, — сказал Филимонов, — так, от души. Вы только прикажите...

Сердце нашего героя было готово выскочить наружу. Филимонов стоял уже рядом. Он оказался ростом с Авросимова, только невероятно тощ и черен, и под черными свисающими усами нельзя было разглядеть, улыбка это у него там или гримаса. Однако грустные черные глаза глядели прямо, доверительно, без лукавства.

— Значит, в четверг, к полночи, — спокойно ска-

зал он. — Вы не беспокойтесь. Возок где поставим: у ворот али за стеной, на Неве?

— Сударь, — возмолился наш герой. — Об чем вы толкуете? Какой узник? Как вы можете врыватья к честному человеку с таковыми предложениями?

— Да вы не беспокойтесь, — сказал Филимонов. — Я свое дело знаю. Вы, господин Авросимов, можете даже из дому не выходить, мы все сделаем преотлично. Не впервой, сударь.

— Кто это мы?! — крикнул наш герой, отталкивая в грудь наседающего на него Филимонова.

— Граждане, — пояснил тот, — Стародубцев, к примеру, Мешков, поручик Гордон... Вы можете не беспокоиться, мы все сделаем и доставим куда прикажете...

— Какой еще Гордон? Кого доставите?

— Узника-с...

— Да я ничего не хочу! — крикнул Авросимов. — Я никого ни об чем не просил!

— Да мы сами об этом узнали, — сказал Филимонов спокойно. — Все об этом знают. Вам и просить не нужно... — и он зашептал в самое ухо нашего героя: — Только уж вы, сударь, Брыкину не доверяйте. Это ни к чему, сударь. У него все не как у людей. Ежели прикажете, так я скажу Семену, чтобы он Брыкина и близко не подпускал, уж он справится, — вдруг он улыбнулся: — Вы ни об чем не беспокойтесь. А уж я пойду, а то ведь дело делать — не зерно клевать-с. До свиданьица...

— Погодите! — крикнул Авросимов.

Но Филимонов уже просеменил через кухню, да и был таков.

— Вздор какой, — пробормотал наш герой, измученный собственной фантазией. — К черту Филимонова...

— Ты что это бездельников всяких пускаешь? — спросил он у Ерофеича со строгостью.

— Вы лучше покушайте, а я никого не пускаю, —

смело отвечивал старик. — Узнает матушка, будет вам на орехи.

— Пошел прочь, — приказал наш герой.

Он попытался вновь сосредоточиться на своих многочисленных заботах, но мысли заработали в другом направлении, и тут же дверь в комнату приоткрылась и молодой бравый офицер, крепко сбитый, с чарующей улыбкой, танцуя, подскочил к нему.

— Филимонов был? — спросил он. — Я лишь на одну минутку, господин Авросимов. Моя фамилия Гордон.

— Вы-то еще откуда? — теряя силы, выдавил Авросимов. — Что вам надо?..

Поручик не обиделся на столь холодный прием.

— Господин Авросимов, — шепнул он. — Получается неувязка. Данные не сходятся. Видите ли, сударь, у меня по списку числятся десять караульных, а у вас в списке — их двенадцать. Позвольте-ка ваш списочек...

Не удивляйтесь, милостивый государь, и не смейтесь. Наверное все так и было. Во всяком случае — в голове Авросимова. Может, это февральские погоды тому вину или знамение какое, однако нашему герою приходилось туго и он уже даже гнева не испытывал, а только ужас да бессилие.

— Значит, так, — сказал поручик, познакомившись с планом, — вот здесь у вас ошибка, сударь. Я так и знал. Этого вот солдата вообще нет, а этот вот не здесь располагается... Этот и вовсе офицер, сударь, а не солдат, как у вас обозначено, так? Стало быть, ему тут не место, не место... Пусть вистом займется, так?.. Теперь я побегу, а Филимонов все вам будет докладывать, что да как. Честь имею...

И он исчез, ровно привидение, лишь пламя недавно зажженной свечи заколебалось, зазмеилось, заколобродило...

«К черту, — решил Авросимов, борясь с лихорадкой. — Надо поскорее к Бутурлину. А эти, кто они та-

кие? Откуда они? Почему им все известно? Да эдак и до самого графа дойдет... Да кто им позволил?!»

Ему вдруг захотелось бросить все, нанять кибитку и укатить в деревню, и чтобы февральская вьюга замела следы, и чтобы лица всех стерлись в памяти, исчезли с первым тающим снегом. Весны! Весны! Весны не хватало, зеленой травы, голубой воды, покоя... Ну их всех к черту, пусть передают друг друга, злодеи, упыри, все-все: и Филимонов этот со своей шайкой, и Слепцов, и Боровков, и граф, и государь, черт их всех раздери, псы!.. А полковник-то, злодей, злодей! Из-за него, злодея, такая чертова кутерьма, грех, раздор, плач, да и сам ведь — в железах, в каземате, дурень чертов! Зачем? Зачем?.. Матушка, протяни белую свою рученьку, помоги великодушно рыжему своему дитяти...

Стемнело. Вошел Ерофеич, с жалостью поглядел на молодого барина.

— К вам человек господский, батюшка, с письмом.

— Какой еще человек! — заорал наш герой, бросаясь в кухню.

Мужик самого подлого вида топтался возле дверей.

— А-а-а, филимоновское отродье! — крикнул Авросимов, поднимая кулаки. — Филимонов прислал?!

— Никак нет-с, — прохрипел мужик с ужасом. — Мы заикинские.

— Какие такие заикинские? Ты тоже небось про все прознал, да? Тоже помогать пришел?!

— Никак нет-с. Барышня передать велели, — и протянул розовый конверт.

Тут все оборвалось. Схлынуло. Шум затих. Вдалеке словно песня раздалась. От розового конверта пахнуло духами, умиrotворяя, пригибая к полу, к земле, к траве... Круглоглазое лицо Настеньки, окруженное сиянием, возникло перед нашим героем.

— Велели ответ принести, — сказал мужик.

Настенька, ангел, богиня, вся выточенная из стекла, из хрусталя, так что сквозь нее проглянуло пламя све-

чи... Что-то булькнуло в горле у Авросимова, и он, прижимая к сердцу конверт, громадными прыжками устремился в комнату.

«Любезный господин Авросимов, несчастный Николай Федорович много лестного написал про вас, как вы его опекали и спасали, и какой вы благородный человек, почему мы вас с маменькой ждем в пятницу вечером непременно, и не подумайте, сударь, обмануть наших ожиданий. Напишите ответ и успокойте два бедных сердца. Настасья Заикина».

Он рухнул на стул, приготовил бумагу, очинил перо (да скорее же, черт!), привычно изогнулся над столом, подвинул свечу поближе и, глядя Настеньке прямо в глаза, спасительнице — в глаза, повел перо по бумаге:

«Милостивая государыня Настасья Федоровна, кабы не моя жалость к Вашему горемычному братцу да не мое перед Вами восхищение, да разве я посмел бы с Вами заговаривать там, на плацу, да возле моста, когда Вы изволили ночью одна со своей печалью возвращаться домой?

Вы, такая великодушная, простили мою дерзость и желаете вместе с Вашей матушкой меня видеть, на что я очень радуюсь и спешу Вам сообщить, что буду у Вас в пятницу вечером всенепременно.

За сим кланяюсь Вашей матушке
Высочайшего Следственного комитета
писарь и кавалер
Иван Авросимов».

Почему кавалер — сие осталось тайной даже для него самого, ибо кавалер — носитель ордена, а ордена наш герой не имел, но рука бодро и так вдохновенно вывела высокопарное словцо, что ему захотелось тот-

час же броситься перед Настенькой на колени и губами приложиться к самому краешку ее подола.

В пятницу!

Но, передав письмо мужику, он ощутил, как ликование в нем задрожало и начало гаснуть, ибо в сознании вновь всплыло страшное замышляемое им дело, которое тоже ведь имело быть в пятницу. Ах, Настенька, судьбе не угодно было свести их, и вождеденное свидение должно было уже разрушиться, но в последнюю минуту Авросимов, преодолевая отчаяние, решил перенести освобождение узника на субботу!

Не успел он все это решить и взвесить, как снова какой-то неведомый господин в добротной шубе, распространяя аромат спиртного, шагнул к нему с порога.

— Стародубцев, — представился он. — Филимонов в отчаянии.

— Знать не хочу никакого Филимонова, — заявил наш герой, опираясь о Настенькино плечо.

— Дело в том, — как ни в чем не бывало продолжал Стародубцев, — что, отказавшись в разговоре с вами от вознаграждения, он понял, что допустил ошибку... Дело в том, господин Авросимов, что за два дня сие приготовить невозможно, согласитесь. А уж ежели готовить, так надо дать туда-сюда ради скорости... За скорость, сударь.

— Ну и что? — спросил наш герой, чувствуя, что сейчас рассмеется, ибо лицо Стародубцева выражало такую гамму переживаний, словно это он томился в каземате и все предпринимаемые лихорадочные действия направлены на его одного спасение.

— А то, — сказал он, — что извольте деньги, сударь. Без денег Филимонов отказывается.

— Сколько же вам требуется? — засмеялся наш герой.

Но Стародубцев смехом пренебрег, пошевелил пальцами, поглядел в потолок.

— Пятьсот ассигнациями, сударь, — твердо сообщил он.

— А было бы на субботу?..

— Было бы на субботу, и без денег обошлись бы, — сказал Стародубцев. — Не было бы срочности... А сейчас извольте деньги.

— Переносу на субботу, — сказал, смеясь, наш герой, видя, что и Настенька смеется. — Каково-то теперь Филимонову?

Стародубцев стоял как громом пораженный. Лицо его исказилось, глаза полезли из орбит. Он задыхался. Авросимова же сие нисколько не волновало, и он терпеливо ждал, когда наконец очнется нахальный этот господин.

Наконец все стало на свои места. Буря миновала.

— Нехорошо-с, — промолвил Стародубцев. — Узник надеется, а вы меняете сроки. Нехорошо-с. Ладно, я Филимонову передам, но это неблагородно-с... — и он удалился, пятясь и глядя на нашего героя с укоризною.

Уход его был как нельзя кстати, ибо образ Настеньки вторгся в душу нашего героя, требуя к себе внимания, и вторжение сие было Авросимову сладко.

Дивные картины замаячили пред ним: то будто бы он медленно и бездумно идет с Настенькой по зеленому лугу и пчелы гудят, то вот опять же они вместе спешат к усадьбе, где матушка уже их ждет, то будто Настенька глядит на него круглыми своими глазами и таинственная многообещающая улыбка шевелится на ее губках... Вдруг он увидел, как обнял ее и тонкое, горячее ее тело задрожало, забилося, голова запрокинулась, и открылась белая шея, и голубая жилка шевельнулась на ней. «Ах! — вскрикнула она, слабая. — Оставьте!..» — а сама прижалась к нему, цалуя в щеки, в губы, в лоб быстро-быстро, с отчаянием и любовью.

Эти сцены, увиденные им и прочувствованные, так разгорячили его воображение, но в то же время так

смягчили сердце, что он наконец позволил Ерофеичу покормить себя, чем старика осчастливил.

Поев, он заторопился, упрятал поглубже, поближе к сердцу розовый конверт и пошел из дому.

Но едва ступил он на мостовую, как тотчас несколько ванек ринулись к нему, окружили, заприглашали прокатиться. Это обстоятельство показалось ему весьма странным, и он, с трудом от них отделавшись, пошел по морозцу пешком. Однако ваньки как привязанные тянулись следом, делая какие-то намеки, подъезжая вплотную и даже пытаясь схватить за рукав.

Тут из темени вынырнул неизвестный Авросимову человек и, поравнявшись, шепнул в ухо:

— Филимонов велел кланяться... Ни об чем не беспокойтесь.

Сказав это, он исчез, оставив нашего героя самого во всем разбираться.

«Да что же это такое! — рассердился Авросимов. — Что они, взбесились?!»

— Барин, — окликнул его ближайший из возниц. — Ты в нем не сумлевайся... Правая рука у Филимонова...

Тут Авросимов не выдержал и кинулся бежать. Свернул в проходной двор, несколько раз упал, запутавшись в длиннополой шубе, и, выбежав на Большой проспект, вздохнул наконец с облегчением. Ванек нигде не было видно, да они теперь не скоро смогли бы его разыскать. Освещенная дверь немецкой кондитерской привлекала его внимание, и он вошел. Пришествие было в самом разгаре. Едва прозвенела дверь, как все тотчас же на него уставились, а хозяин в оранжевом колпаке поклонился. Наступила тишина.

«Все про все уже знают!» — с ужасом подумал Авросимов.

— Чашечку кофе? — спросил хозяин.

— Благодарствуйте, — с трудом выдавил наш герой.

— Нынче ветер, — сказал хозяин, многозначительно подмигивая. — А господин Мешков тоже здесь. Прикажете позвать?

— Я не знаю никакого господина Мешкова, — едва не плача, проговорил Авросимов. — Как это можно так бесчестно врать!..

Весь Санкт-Петербург будто не спал, а занимался делом, хлопоча вокруг известного вам предприятия. Везде Авросимов видел обращенные к нему лица, полные тайны глаза. Какие-то незнакомые люди его останавливали, хватали за рукава, уверяли, что все, мол, движется преотлично, чтобы он не волновался и чтобы во всем полагался на гений Филимонова. Наконец терпение его лопнуло, и он вскочил на первого же вывернувшего из-за угла ваньку и велел гнать что есть мочи к флигелю, решив про себя, что ежели возница заговорит о Филимонове, стрелять ему в спину, разбойнику! Он извлек пистолет из тайника, но возница, к счастью, молчал, не будучи, видимо, посвященным в тайну треугольного равелина.

Кони понесли. Ветерок задул, заморозил, сани вылетели на Петровскую площадь, на ту самую, с которой, ежели вы помните, началась необыкновенная карьера нашего молодого человека.

Вид площади многое ему напомнил, и он тотчас поворотил голову и сквозь темень на фоне чуть светлеющего к северу неба разглядел шпиль крепостного собора. И сейчас же знакомый зов о помощи раздался над пустынной площадью, словно его принесло ветром, и прежнее мужество вдруг пробудилось в нашем герое, все тело его напряглось, мысли заработали четко, не перегоняя одна другую.

Заспанный будочник был крайне удивлен, увидев, как какой-то полоумный ванька стремительно, взметая снежные вихри, пронесся по площади, сделав круг и едва не разбившись о гранитные глыбы, во множестве нагроможденные одна на другую, и помчался обратно

тем же путем, и скрылся из глаз, будто его и не было.

Чем ближе подлетали сани к крепости, тем сильнее и призывнее раздавался зов, так что даже кучер стал подергивать плечами, словно от нетерпения. Сразу же померкло Настенькино лицо и стал казаться нелепым завтрашний поединок, потому что в треугольном равелине метался злодей, несчастный человек, пророк, разбойник, переворотивший всю душу, достойный самой лютой казни и самого возвышенного благоговения, убийца и сеятель добра, один, один из племени людского, вышедший за круг, покинутый всеми и всем необходимым: и государю, и графу, и ему, Авросимову, проклинающему его и плачущему над ним. И эти проклятия и плач были так сильны, что Филимонов тотчас же вмешался, словно и без того забот ему не хватало.

Вот она, страшная стена, примолкшая, подкарауливающая новые жертвы, запорошенная снежком, пугающая людей.

«Господи, — с содроганием подумал наш герой, — не обойден я Тобою, не обойден! Я жив, на воле, счастье-то какое!»

Сани остановились. Он велел кучеру ждать, а сам двинулся к стене. Страх охватил его. Отсюда, снаружи, была она ужаснее. Казалось, что она дышит, что она живая, что вот-вот — и утянет в свою глубину, в сырость, к прусачкам.

Он прошел вдоль стены порядочно далеко, ваньки уже не было видно. Ветер усилился. Снег понесло пуще.

Как же все это должно свершиться? Как же будет он уходить от сих стен, сквозь решетки, через штыки инвалидов? Где она, где та счастливая лазейка, которая снилась ночами? Или действительно есть Филимонов, которому все нипочем? Или воистину весь Петербург только этим и дышит, вздымая свою больную грудь, и будет так, что все, крича и ликуя, хлынут на эту стену, так что она рухнет, и полковник, пожелтевший от раз-

думий и боли, выкарабкается из-под развалин, чтобы упасть людям на руки?

Пистолет шевельнулся в своем тайничке, английская диковинка со свернутым курком. Может, тоже от страха пред этой стеною шевельнулся? Что он может, маленький дурачок?..

В этот момент громадный черный экипаж, взвизгнув полозьями, остановился неподалеку и какие-то фигуры засуетились возле. Зафыркали лошади.

— Да подите вы прочь! — услышал он хриплый голос графа. — Дайте покоя!..

«Пропал, — подумал Авросимов. — Сейчас жилы тянуть начнет!»

Заслонившись рукавом, он попятился к стене, в темь, и тут военный министр его узнал.

— Ох-хо-хо! — радостно закричал он. — Да иди же сюда, иди! Чего боишься?.. Вот ты какой, гуляк!.. — сказал он, когда наш герой приблизился. — Ну, какую даму подкарауливаешь? — и захохотал. Молоденький офицер, высунувшись из-за экипажа, скалил зубы в улыбке. Слава богу, граф был в расположении. — Рассказывай, рассказывай, ну...

— О чем же, ваше сиятельство? — с трудом выговорил Авросимов.

— Я теперь моциону без тебя и не мыслю, — сказал граф. — Каков ты! Весь в тайне... Ну почему это я тебя встречаю?.. А я-то думал, ну, перепутает рыжий этот, где добро, где зло... вяжи его тогда.

— За что ж меня вязать? Я, ваше сиятельство, стараюсь, всегда все, что ни прикажут, в точности, чтобы угодить...

Господи, спаси и защити!

— А вязать, вязать тебя, злодея! — засмеялся Татищев. — Да не вязать, а в железа! Хочешь?.. Не хочешь? То-то, любезный. А скажи-ка мне, любезный, почему это в глазах твоих не вижу дерзости? Притворяешься? Или смиренный ты?..

— Не знаю, — протянул Авросимов с удивлением, но без прежнего ужаса.

— Где же дама твоя? Нашел местечко для рандеву...

— Не пришла-с, — облегченно выдохнул наш герой, впервые видя такое настроение у графа и радуясь, что разговор складывается легкий, почти приятельский. — Напрасно жду-с...

Граф снова засмеялся, молоденький офицер с почтением вторил ему из темноты, у Авросимова совсем отлегло.

«Не боюсь, не боюсь! — подумал он, ликуя. — Не боюсь, да и все тут!»

— А что это, ваше сиятельство, места для моциону какие ищете? Тоже небось дама? — спросил он, осмелев.

— Цыц, — сказал граф. — Всякий сверчок... знаешь?

— Знаю, — сказал Авросимов покорно.

«Бог милостив ко мне, — подумал он. — Честь это али что другое?»

— Отчего же все-таки, — сказал граф, — именно ты мне встречаешься, а не кто другой?

— Оттого, ваше сиятельство, — с почтением ответил наш герой, — что природа, верно, так определила, не иначе. Я и сам этому удивляюсь, а понять не могу...

— Вот мы сейчас с тобой возле крепости. Чего нам надобно в сем зловещем месте? — граф засмеялся. — Уж не подкоп ли ты умышляешь?

Матушка, ваш рыжий сын с самим военным министром так запросто беседует, и ничего. Вон свитский офицер из-за кареты выйти боится, а ваш сын под высокой куртиной отвечает без промедления на все вопросы графа. Нет, ваше сиятельство, не подкоп, ничего такого... Ничего, никогда, никому, ни такового... Уж ежели чего — так это все Филимонов!

— Хорош, хорош, — сказал граф милостиво. — Я за тобой, любезный, посматриваю. Хорош. Исполните-

лен. Смирен. От тебя польза... Я ведь читал твое донесение. Доволен...

— Да что вы, ваше сиятельство! — воскликнул Авросимов, захлебываясь. — Так, мелочь какая-то, сущие пустяки-с...

Вся февральская ночь в эту минуту начала опускаться на Авросимова, мягкая и душистая, словно елей. Ветер утих. Будто соловьи ударили с разных сторон свои восторженные гимны. Граф погрозил ему пальцем шутливо и сказал на прощание:

— Чаю я, не миновать тебе Владимира носить, любезный...

Наш герой почувствовал головокружение при сих словах. Тем временем граф удалился, и вскоре черный экипаж исчез во мраке.

Пение соловьев продолжалось. От реки запахло водорослями. Крепость стояла притихшая. Видимо, полковник-злодей спал на жесткой своей кровати, потеряв всякую надежду.

У знакомых ворот на Мойке наш герой, полный ликования, нежданно столкнулся с господином в богатой шубе.

— Я от Филимонова, — сказал тот вполголоса. — Суббота остается?

Авросимов засмеялся.

— А вы ступайте к Филимонову, — сказал он, отстраняя господина, — да у него и спрашивайте.

— Извольте задаток, — не унимался тот. — Без денег какая же работа? Филимонов велел передать, мол, давать приходится туда-сюда... Вы же об том сами знать должны... Пожалуйте задаток... Нет уж, позвольте... Уж вы сначала дайте...

— Да не дам я! — крикнул наш герой, оглядываясь, ибо граф мог вполне очутиться и здесь... И не позволю!..

— Да я Филимонову буду жаловаться! — предупредил господин. — А вы неблагоприятно поступаете, еже-

ли хотите знать! Так нельзя, чтобы договориться, а после...

Но Авросимов уже не слушал. Господин, натурально, исчез. Впереди горел фонарь над входом в вожденный флигель, знаменуя начало новых событий.

Теперь давайте-ка отвлечемся от нашего героя, как он входил в тепло и сытость, а полюбопытствуем на неугомонную родственницу пленного полковника, не знающую покоя ни днем ни ночью, ибо она в эту самую минуту, дождавшись возвращения графа Татищева из ночной прогулки, была звана молоденьким адъютантом в кабинет к военному министру. Просидев в ожидании больше двух часов, она никак не верила, что граф так просто ее примет, однако вошла к нему, сохраняя достоинство, с высоко поднятой головой, поигрывая родинкой, и только чрезвычайная бледность выдавала ее состояние, что не укрылось от пронизательного взора графа.

Не желая придавать своему визиту характера сугубо личного, она с первых же минут разговора поделилась с графом своими опасениями насчет возможных страшных бедствий, грозивших и следствию и самому его сиятельству, на что военный министр, натурально, тут же поинтересовался, откуда сие стало ей известно, хотя серьезной тревоги и не проявил. Тут она напомнила ему о молодом рыжем дворянине, что вызвало у графа улыбку, ибо он тотчас вспомнил свое с ним случайное нынешнее рандеву. Так между «покорнейше прошу», «не извольте беспокоиться», «чему обязан», «не придаю значения пустякам» и «ваше благородное волнение» проявилось вдруг краснощекое, какое оно им запомнилось обоим, лицо Авросимова с удивленными глазами, и граф вдруг различил страх в голосе несчастной дамы...

— Я боюсь за него, — сказала она, ломая пальцы. — Весь этот вздор может стать достоянием... Ваше сиятельство, я уверена, что это вздор, но вздор, поселив-

шись в юном сердце, может привести к несчастьям... Мы с Владимиром Ивановичем твердо решили спасти молодого человека, и я не преминула обратиться к вам...

— То есть вы утверждаете, что сей вздор может породить преступные действия? — спросил граф, мрачней.

— Нет, — заторопилась она. — Это фантазии... Я не утверждаю, но вполне возможны подобные намерения со стороны каких-то там лиц...

— Сударыня, — улыбнулся Татищев, — это невозможно. Пустое... — однако присел к столу и, все так же с улыбкой, написал на листке несколько слов, аккуратно сложил листок и позвонил. И тотчас влетел в кабинет молоденький офицер и пухленьким ртом выкрикнул о своей готовности... на что военный министр, вручив ему листок, велел немедленно отыскать «хоть из-под земли» поручика Бутурлина и передать ему сие послание.

Когда офицер улетел, словно молодой воробей, они стали прощаться, раскланиваться и дарить друг друга всяческими необязательными словами, выражая надежду на благоприятный исход дела, ибо «Владимир Иванович будет сильно удручен наказанием молодого писаря, ежели вдруг он невиновен, потому что разговор ведь идет о принципах, а не о конкретных людях...», «Натурально, сударыня... Кто бы мог подумать!.. Примите уверения...».

А во флигеле тем временем был все тот же восхитительный полумрак, в котором, словно в заросшем пруду, лениво колыхались призрачные фигуры, и слышался легкий шелест карт, похожий на редкие всплески воды, да приглушенные неразборчивые слова, тихий смех, вздохи.

Как всегда, никто не обратил на нашего героя внимания, но он вошел в сей густой и ленивый мир уже кавалером, и из тьмы гостиной залы глядел на него

багряный крест святого Владимира, окаймленный золотом и чернью, так что дух захватывало.

Все были разделены на группы, на пары, и никому не было до Авросимова ровно никакого дела. На ковре желтели апельсины. Бутурлин держал банк. Враницкий в неизменном своем халате возлежал на тахте. Гренадерский поручик Крупников одиноко пил перед самым камином, и от увядающего пламени лицо его казалось медным. Остальные были люди незнакомые.

В мыслях нашего героя мелькнул и исчез растерзанный образ Милодоры, но только мелькнул. Теперь, после всего, что кружило Авросимова последнюю неделю, память о несчастной дворовой не беспокоила его. Да, наверное, ей там, у новых господ, было не хуже, а даже лучше, чем в сем флигеле, прибежище холостого распутства.

Наш герой повалился на ковер недалеко от ног Бутурлина, ожидая окончания игры. Все вокруг было, как в первое посещение, однако чего-то все-таки не хватало. И вдруг, обедая медленным взором всю залу, он понял: не хватало тайны, той самой, которая раньше парила среди людей. Теперь ее не было: либо она еще не прилетела, либо уже померла и лежала где-нибудь бездыханна. Авросимова потянуло выпить вина, дабы охладить разгоряченное тело, и именно выпить, а не так, как тогда, когда вино, словно нектар, вливалось без спросу, словно оно было во всем — в мебели, в стенах, в каминном пламени, в воздухе, в табачном дыму.

За круглым столом зашумели. Вист кончился. Бутурлин сполз со стула и улегся на ковре, подперев голову тонкою рукою.

— Не боишься завтрашнего утра? — спросил у Авросимова.

Тут наш герой снова вспомнил о поединке.

— Вы оба прекрасны, — сказал Бутурлин. — Будет худо, ежели один из вас растянется.

«Действительно, — подумал Авросимов, — помирять неохота».

— У меня счеты с ним, — сказал он. — Примирение невозможно.

— Возможно, — сказал Бутурлин. — Все возможно. Обнимитесь...

— Да нет же! — воскликнул наш герой без энтузиазма. — Где же это будет?

— За Новой деревней.

«Не время теперь стреляться, — подумал Авросимов с тоской. — Кабы я был свободен... Ах Боже мой!»

— Да обнимитесь вы, и все...

— Нет, — сказал Авросимов. — Это невозможно.

— Ну и черт с вами, — вяло отвечивал кавалергард. — Ну, давай.

И он приподнял бокал.

Авросимов выпил. Бутурлин усмехнулся. Бокал в его руке закачался, поплыл и опрокинулся, и меж тонких губ кавалергарда медленно потекло вино.

— Ах, Ванюша, ты стрелять-то умеешь?

— А ты, Бутурлин, крепостных прусачков боишься?.. Почему ты, Бутурлин, там не оказался, а здесь вино пьешь?

— Это дело не по мне, Ванюша, — засмеялся кавалергард. — Видишь, какие у меня руки тонкие?.. Да чем здесь-то лучше, философ?.. Ты хоть стрелять умеешь?

«Уж ежели я со свернутым курком в унтера угодил, — подумал Авросимов, — так уж из нового пистолета подстрелю Слепцова непременно...»

Тут ему сделалось грустно, и желание убивать ротмистра пропало.

— Если в тебя пулю влечь, — сказал Бутурлин, — ничего тебе не сделается: вон ты здоровенный какой и щеки у тебя налились, ровно яблочки. Тебе бы, Ванюша, в деревню, там жить...

А время меж тем шло, и поединок приближался, и

Авросимов только об нем и думал, то есть страдал, потому что, милостивый государь, вообразите-ка, что это вам завтра стреляться предстоит, а у вас уже ни злости, ни благородного порыва, а лишь одна истома да сожаление, после коих обычно пора течь слезам... И вот в таком состоянии он вспоминал, а вспомнить не мог, что же, собственно, вынуждало его тогда, в Брацлавле этом распроклятом, бить ротмистра по щеке? Ну, история с Заикиным, натурально. А что в сей истории было такого, что ротмистра следовало оскорбить? Этот мальчик, подпоручик этот, сам лгал и ввел в обман других, сам плакал... Уж постыдился бы плакать! Плакал бы тогда, когда, ручки потираючи, предвкушал легкую победу, когда соблазнам верил и, речами полковника опьяненный, видел себя генералом, что ли... А ротмистр? А он при исполнении служебных обязанностей, разве он мог быть другим? И в дом свой привез, поил, кормил... Так за что же его?.. Хотя, с другой стороны, Дуняша... Да мое ли это дело?..

Опять начиналась лихорадка. Мысли скакали в голове. Вино не успокаивало, даже не ощущалось, лилось и лилось, подобно воде. И все вокруг казались не живыми, а так — сизыми призраками без глаз и без слов, размахивающими длинными руками. И призраки играли в вист, а над круглым столом висела тишина. Враницкий исчез, а на тахте спал Крупников, раскинув руки.

Наш герой тоже незаметно и счастливо уснул, как это с ним не раз бывало, но громкие голоса заставили его пробудиться.

Теперь все находились в странном возбуждении. Дрова в камине трещали, и пламя буйствовало. Враницкий стоял в шубе посреди залы. Остальные его окружали.

— Это невозможно, — сказал Крупников. — Быть не может. Этого не может быть... Вздор.

— Ну, хочешь пари? — спокойно предложил Вра-

ницкий. — Я ставлю своих девок, а ты, ежели проиграешь, обосс... ворота строгановского дома. Согласен?

Тут все зашумели.

— Перестаньте, Враницкий, — вмешался незнакомый павловец. — Вы не лжете? А?.. Это же страшно, что вы говорите... Это правда? Клянитесь.

— Чем надоедать с подозрениями, — обиделся Враницкий, — сходите к Зимнему, поглядите, что творится.

— Как же это случилось? — сказал Крупников. — Нужно идти, господа...

— А не сходить ли, в самом деле? — сказал Бутурлин. — Это даже любопытно.

— Как это вышло? — зашумели все. — Да тише! Дайте ему рассказать!

— Господа, — сказал Враницкий, сбрасывая шубу к ногам. — Рассказывают, будто нынче ночью, ну, часа два назад...

— Что случилось? — спросил наш герой.

— Тише!

— Пестель бежал! — глухо промолвил Бутурлин. — Да он лжец, этот толстяк...

Большое мощное тело нашего героя вдруг обмякло, голова закружилась, он взмахнул руками, словно ребенок на неровном месте, но сего, к счастью, никто не заметил, ибо взоры всех были устремлены на рассказчика.

— Надо идти, — сказал Крупников. — Какая неожиданность.

— Тише!

— ...Пока солдаты спали, опоенные каким-то зельем, — продолжал Враницкий, — он с помощью караульного офицера (черт знает, кто там нынче караулил) выбрался...

— Ага, — воскликнул павловец, — сукин сын!

— Самое удивительное, господа, — сказал Враницкий, — что платье свое он оставил в номере. Очевидно,

переоделся. Предполагают, что он отправился в Малороссию, где его ждут в армии...

— Вздор, — сказал Бутурлин. — А как же государь?

— Государь уехал в Царское... Говорят, множество людей принимало участие в сем деле.

— Не может быть! — крикнул Крупников. Черные усы его стояли торчком, вызываяще.

— Очень может быть, — вздохнул павловец. — Отчего же не может?

— У Авросимова перед глазами тотчас возникли подлые и таинственные физиономии Филимонова и его сообщников.

— Филимонова не упоминали? — спросил он ослабевшим голосом.

— Упоминали, — быстро повернулся к нему Враницкий. — А что?

— Так, — сказал наш герой, — темный человек. Враницкий засмеялся.

— А может, это и к лучшему, что он бежал, — тихо заметил кто-то. — Его бы не помиловали... Его одного не помиловали бы...

— Вы с ума сошли! — рассердился Крупников. — Опять все сначала?

«Действительно, — подумал наш герой, — неужто все сначала? Никто, никогда, никому, ничего... Теперь уже не до награды...»

— Господа, прощайте, мне следует быть там, — решительно произнес Крупников, направляясь к выходу. В дверях он остановился. — Хотя все это похоже на дурной сон. Вы должны понять, сударь, — сказал он, неизвестно к кому обращаясь, — что сия история печально отразится на вас же самом да на мне... На нас на всех... Мы ответчики, сударь... Он едет в Малороссию, а мы с вами... Видите, как он об нас не подумал...

— Полагают, что и вы о нем не думали, когда пре-

проводжали его в Петербург, — усмехнулся Бутурлин.
— Каждый думает об себе...

«Надо уезжать! — подумал Авросимов, теряя силы.
— Скорей, скорей от этих перемен, к черту от этих бурь! Скорее, скорее! Надо бы Настеньку... Ах, Настенька, ваше душистое письмо не укрепило меня! Я не в себе нынче... — он налил большой бокал вина и с жадностью его осушил. — Ах, чертов полковник, как все теперь переверотилось... Об нас-то он и не подумал».

— Да и вы, Бутурлин, с вашим графом о полковнике не очень заботились, надеюсь, — отрезал Крупников, смеясь. — Вы его хорошо в оборот взяли, очень умело...

— Послушайте, — вмешался Враницкий, — перестаньте считаться, ну что за счеты?

Авросимов снова выпил до дна.

— Что же будет? Что же будет? — спросил он у Бутурлина.

Кавалергард не ответил.

— Представляю, как граф рвет и мечет, — сказал бледный павловец.

— А я, — вмешался Авросимов, — нынче графа встретил у крепости... Нынче ночью... — все уставились на него. — Он меня спрашивал, уж не подкоп ли я веду...

— Не мелите вздора! — сказал Враницкий. — Вы пьяны...

— Ей-богу... Он посулил мне Владимира...

В этот момент Враницкий захлопал в ладоши и поднял обе руки.

— Господа, — торжественно произнес он. Все затихли. — Простите меня великодушно... Будьте снисходительны к старому жеребцу...

— Я так и знал, — равнодушно сказал Бутурлин.
— Какая свинья...

— Что? Что такое? — понеслось по зале.

— Он соврал. Я предполагал это.

Авросимов зарыдал, уткнувшись лицом в тахту.

— Да, господа, я соврал, — засмеялся Враницкий, очень довольный произведенным эффектом. — То есть не то чтобы соврал...

— Скотина ты, Враницкий!

— Ах, не то чтобы скотина, — смеялся толстяк, — но попал в самую точку... Жаль, Крупников, что ты не спорил... Получил бы сейчас Дельфинию, дурак...

Кто-то засмеялся тоже, однако общего веселья не последовало. Все разбрелись по своим углам, бокалы зазвенели пуще, со злостью.

Нашему герою стало совсем нехорошо. Шатаясь, он выбрался из залы и, спотыкаясь о брошенные шубы, распахнул входную дверь. Свежий ветер ударил в лицо, наполнил грудь, остудил, привел в чувство. Авросимов шагнул за порог и вздрогнул от изумления: на ступеньках крыльца, под входным фонарем, в желтом кругу света сидел, пригорюнившись, капитан Майборода.

— Господин Ваня, — всхлипнул он, — какая несправедливость. Вы там в тепле и веселье, а я один на морозе. Хиба же це справедливо?

— Да чего это вы тут-то сидите? — изумился наш герой, трезвея.

— Не пускают. Велено не пускать...

— Ну домой идите, Бог с ними... Замерзнете.

Нет, — упрямо сказал капитан. — Пусть это им укор будет... Я скоро из Петербурга уеду, а пока пусть им укор будет...

Авросимов вспомнил, как тонкая ладонь Бутурлина хлестала капитана по щеке, махнул рукой и воротился в залу.

Толстяк Враницкий был в восторге от своей выходки, похлопывал друзей по плечам, подносил вина каждому, смеялся, и постепенно черные тучи поднялись к потолку и рассеялись, и снова пламя камина,

как единственное их ночное солнце, бушевало, посылая тепло и свет.

И наш герой, устроившись поудобнее в креслах, предался размышлениям о жизни, и багровый крест Святого Владимира, отороченный золотом и чернью, снова выплыл из тьмы и засиял перед ним. Однако в высокопарном его сиянии чего-то уже не было, словно камень не до конца свалился с души, в которой продолжался коварный поединок беды и славы. Ах, полковник, он ведь рыдал, наш молодой человек, проклиная ложь Враницкого, твое злодейство и жалея об тебе! Ах, ротмистр, он рыдал не из страха за свою жизнь, а потому что судьбе угодно было ставить его к барьеру, забыв, что сердце-то отходчиво. Ах, Настенька, и об тебе он рыдал, рыжий наш великан, не веря своим фантазиям и проклиная их. Но тут же перед ним возникла синяя полоса лесного тракта, по которому весело летит его кибитка, в которой он — один, один, один, совсем один, черт вас всех подери! И не слышится жуткий этот зов, и нет на белом свете ротмистра Слепцова, и Настенькины душистые конверты — вздор, несбыточная мечта, которая развеялась, подобно праху...

В этот момент неслышно, на одних носках появился в зале молоденький адъютант графа Татищева, с пунцовыми от февральского ветра щеками, со счастливой улыбкой ребенка на устах, полный надежд на близкое счастье, которому ничто не помеха. Он легко поклонился, кивнул эдак всем и, увидев Бутурлина, еще более засиял, засветился.

— Вот вы где! — воскликнул он звонко. — А уж я-то ищу вас, я-то вас ищу!.. Я уже и надежду потерял... Как дымно у вас, господа, — и с загадочной улыбкой: — Господин Бутурлин, вам письмецо от одной нашей общей знакомой... Ежели вам будет угодно, у меня возок...

— Ага, — сказал Крупников, — от дамы. Стало быть, жизнь продолжается, господа...

Бутурлин покинул игру и легко, как бы танцуя, подбежал к молодому человеку, и белый листок перепорхнул с ладони на ладонь.

— Вот так...

Все это происходило в противоположном от Авросимова конце залы, но молоденький адъютант, покуда Бутурлин пробегал листок, разглядел нашего героя и радостно закивал ему.

— Ах, судар, и вы здесь?! Граф очень лестно говорил об вас! Я крайне рад видеть вас и сказать вам об этом.

В сей момент Бутурлин поднял голову и поглядел через зал на Авросимова. Затем вновь пробежал листок и снова глянул, и решительно направился в его сторону, и белый листок в отведенной руке послушно махал крылышками и летел следом. Авросимов увидел глаза кавалергарда, и сердце его шевельнулось.

— Прости, брат, — сказал Бутурлин и пожал плечами. — Я должен тебя арестовать...

Услыхав сии страшные слова, наш герой вскочил с кресел так, что проклятый подарок капитана, вырвавшись из ненадежных своих петель, пребольно ударил его по коленке и распластался на ковре. Проворнее ястреба наклонился за ним Бутурлин. За круглым столом шла игра. Никто ничего не слышал, слава Богу, и не видел. Незаметно они покинули сей гостеприимный кров, и сквозь шум ветра и фыркание лошадей то ли воистину сказанное «Прости брат», то ли придуманное в слабости донеслось до слуха нашего героя.

ЭПИЛОГ

В разговоре с графом Авросимов все начисто отрицал. Граф слезам его верил. О Филимонове вопросов не было, ибо в чем в чем, а уж в фантазиях собственных мы вольны и нет нас вольнее. Знатнейшие специалисты проверяли английский пистолет неоднократно, но проклятая игрушка упрямо отказывалась стрелять. Остаток ночи, проведенный нашим героем взаперти на гауптвахте, вызвал в нем такую бурю отчаяния, а случайный прусачок, редкий гость в сем сухом месте, так его возбудил, что граф не стал продолжать разговора, а махнул рукой, дабы избавили его от вида сего зарванного лица.

Однако вышло повеление Авросимову крепости не посещать, а в двадцать четыре часа покинуть столицу и торопиться в свою деревню, что он, сотрясаемый лихорадкой, и исполнил за очень короткое время.

Наступила весна, лето. Как произошла жестокая экзекуция, наш герой, натурально, видеть не мог, пребывая в счастливом неведении и оправляясь от зимней своей болезни. Уже значительно позже, когда печальная весть пробралась в их медвежий угол, в самую осеннюю пору, сквозь запах липового меда, грибов, опадающей антоновки, она, как ни была печальна, все же не смогла уже его поразить. Видимо, где-то в глубине души таилось все-таки предчувствие неминуемой жестокой расправы над несчастным полковником, не ко времени родившимся.

Тут, не омраченная ничем, в разгаре осени свершилась свадьба, внезапная, как первый снег, и наш герой совсем закружился, завертелся, зараспоряжался, ибо никаких новых печальных известий не возникало боль-

ше, а уж слух об том, что прекрасный капитан Майборода где-то в далекой Темир-хан-Шуре застрелился, слух об том, по малости своей, не дошел и вовсе.

Вот и все, милостивый государь. Простите великодушно. Что же касается меня, то я, представьте, даже рад за нашего героя, что так все у него устроилось, так сложилось, ко всеобщему ликованию.

Бог с ним совсем.

Фотограф Жора

Маленький роман

ГРАЖДАНИН ПУЗЫРЬКОВ И ДРУГИЕ

Жоре места на киностудии не нашлось. Обещали с осени. Кинооператоров было много. А он и не унывал.

— Если бы семья, дети там... А одному — много ли надо?

И он устроился в фотоателье: все-таки зарплата, и место, и разные люди...

Уже в первый день Павел Петрович Пузырьков предупредил его:

— Смотри, только не чуди... не надо. Вы человек молодой, горячий, знаем вас... Хотите — работайте, не хочешь — иди, куда хочешь... У нас надо гореть... Гори. Приступай.

Жора улыбнулся. Посмотрел на Пузырькова синими своими глазами. Смолчал.

— Симпатично улыбаетесь, — сказал Пузырьков. — Женщины косяком пойдут.

Но женщины косяком не шли. Место было не бойкое.

Однажды в ателье ввалилось большое семейство, чтобы сфотографироваться.

Пузырьков сказал Жоре:

— Смотри, учитесь...

Он развернул перед семейством пухлый альбом с образцами. Это были семейные фото. У всех были одинаковые глаза, одинаковые застывшие лица, словно они выслушивают приговор.

— Ну, — сказал Пузырьков, — как сниматься будем?

— Вот так, сказал отец семейства и ткнул в первый снимок.

— Вы думаешь? — презрительно улыбнулся Пузырьков.

— Может, вот так? — спросила мать.

— Вы думаешь? — спросил Пузырьков.

Он быстро перелистал альбом.

— Пять лет, — сказал он, — я собирал главное...

Это понятно? Позы, положения, выражение, жестикуляция... Здоровая семья, кинокартина, вечность...

И он сказал отцу семейства:

— Возьми подругу под руку. Возьмите покрепче...

Вот так. Вы идете по дороге жизни... Впереди — малыши: ваша радость, сбоку — взрослые: ваша опора... Я научу вас...

Он забежал вперед, вытянул желтую ладонь.

— Смотрите все сюда.

Все посмотрели на ладонь.

— Это будет художественно, — сказал Пузырьков.

— А не хотите так — можно и обычным способом.

И лицо его стало скучным.

— Давайте уж художественно, — сказал отец семейства, — не каждый ведь день...

Кассирша Люся сидела за конторкой и зевала. Длинный нос ее морщился. Она похлопывала ладонью по губам, чтобы прикрыть зевоту.

— Люся, — сказал Пузырьков, — оформите товарища. И учти, что консультация... Вы поняла?

Люся зевнула и похлопала ладонью по губам.

Жора с интересом наблюдал эту комедию.

Отец семейства заплатил за снимок. Потом он заплатил за консультацию. Деньги за консультацию Люся положила в сумочку.

— Поняли? — сказал Пузырьков Жоре. — Картина... искусство.

Жора засмеялся.

— Иди-ка сюда, — поманил Пузырьков Жору за перегородку. За перегородкой на его широком лице обозначилась гримаса, назначения которой Жора не угадал.

— Ну что вы уставился? — спросил Пузырьков. — Я же смеюсь. Это нервное у меня, видишь? Это даже не

смех... я плачу. И ты будешь плакать — вот увидите... Как они стояли, заметил?.. Монументы!..

Жора смеялся. Люся тоже смеялась, глядя на него. Потом она сказала:

— Все женщины, наверное, от вас без ума.

— От меня? — стремительно повернулся к ней Пузырьков.

— От него, — кивнула Люся на Жору.

— Вы занимайтесь своим делом, — сказал Пузырьков обиженно, — поняла?

Люся похлопала ладонью по губам.

— Я вам хлеб даю, — сказал Пузырьков, — монументы...

— А вы по вечерам в кино ходите? — спросила Люся.

— Хожу, — сказал Жора.

— Какие у вас глаза синие.

Но Жора смотрел сквозь стекло витрины. И Пузырьков смотрел туда же. Там, перед витриной фотографье стояла молодая женщина. Она была прекрасна — вот что увидел Жора в первое мгновение. Потом он разглядел, что она — в брюках из какой-то тонкой блестящей материи, в светло-серых брюках. Потом он увидел ее черную, мужского покроя сорочку с распахнутым воротом и, наконец, — немного усталое лицо, обрамленное дымкой выгоревших на солнце русых волос. Сорочка была навывпуск. Из-под закатанных рукавов тянулись руки, слегка покрытые загаром, длинные, тонкие.

— Красотка, — сказал Люся.

— Длиннонога-то, а? — сказал Пузырьков. — Как борзая...

— Теперь в Москве это не редкость, — сказала Люся, — у меня у самой брюки есть синие... шевиот.

— Зайдет? — спросил Пузырьков и лизнул пересохшие губы.

Женщина перебросила белую сумку из руки в руку и толкнула дверь ателье.

Она вошла. И тут в полутьме и полупрохладе вспыхнули и заблестели капельки пота на ее высоком лбу.

— У нас прохладно, — сказал Пузырьков.

Она почти бросила свою белую тяжелую сумку на пол.

— Я посижу немного... Просто сил нет, какая жара!..

— Посидите, — сказала Люся и похлопала ладонью по губам.

— Будем сниматься? — спросил Пузырьков.

— Будем, — сказала она. — Только немного погодя.

Отдышусь немного.

Пузырьков завел Жору за перегородку.

— Учись. Запоминайте всё, — сказал шепотом. — Сейчас будет пляж... Видите полотно? Это море. Похоже?.. Сейчас будет монумент на пляже... Зачем ехать к морю?.. А?.. Легкая консультация — шикарный банкет на узкий круг. Живем только раз... Вы понял? Иди туда. Сейчас всё произойдет.

Жора вышел из-за перегородки. Она посмотрела на него. Это был холодный взгляд, и Жоре стало не по себе.

— Я готова, — сказала она и встала.

— Пляж? — улыбнулся Пузырьков.

— Какой пляж? — спросила она.

— Пляж, море, зной, — сказал Пузырьков и ткнул пальцем в раскрашенное полотно.

— А если пляж?.. — спросила она. — Если пляж, мне надо раздеться?..

Пузырьков швырнул к ее ногам желтый коврик.

— Песок... — сказал он. — Золотой песок... Евпатория...

— Нет, — засмеялась она. — Это не для меня.

— Что же? — спросил Пузырьков печально.

— Паспорт...

Пузырьков быстро и мрачно сфотографировал ее.

— Удачно? — спросила она.

— Фирма гарантирует, — пробубнил он.

На следующий день Люся сказала Жоре:

— Приходила та, длинноногая, в которую вы влюбились...

— Что?!

— Конечно, я же видела, как вы на нее смотрели... А на фото она самая обыкновенная.

Шли дни. И перед Жорой неторопливо проплывала случайная и пестрая клиентура ателье. Ему даже казалось, что это он идет по длинному полутемному прохладному залу, где по стенам выстроились все эти люди: одиночки и семейные. Они выстроились в позах, и в тех, которые продиктовал им Пузырьков, и в тех, которые они придумали себе сами...

Как хочется запечатлеть себя таким, каким ты смог бы быть, если бы не... Или таким, каким тебя желают видеть. Но всё это лучше, лучше, чем ты есть на самом деле. И уж тут всё зависит от вкуса, и от твоей скромности, и от твоего тщеславия, и от твоего эгоизма... Не так ли? Ведь ты приводишь же себя в порядок прежде, чем щелкнет затвор? И тебе ведь не безразлично, как посмотреть в объектив, или на ладонь фотографа, или в окно, чтобы свет падал на левую сторону твоего лица?.. Зачем тебе фотографировать, скажем, колено? Ты хочешь — глаза. Ты хочешь что-то там сказать, выразить, донести... До кого?.. Вот, в самом деле, как это странно. Ты что, позируешь перед будущим? Ты хочешь обмануть его? Или ты обманываешь женщину, которая задумалась: полюбить — не полюбить?.. Или себя самого? Обманываешь?.. Успокаиваешь?..

— Фамилия ее Трубникова, — сказала Люся. — Зовут Татьяной.

...Ты так выразительно смотришь, ты так задумчив, грустен даже. Ты много пережил, да? Ты это хочешь сказать?.. И ты стараешься из последних сил. И когда говорят, что снимок удачен — это что? Это ты выразил лучшее или сфальшивил?..

— Отчество ее Викентьевна, — сказала Люся. — У нее кольцо обручальное, тоненькое такое.

...А руки не врут. И они тоже выразительные. И они не тщеславны: что им? И лишь кулак иногда кладут на колено, но ведь это очень мужское. Женщина кулак на колено не положит. А вот мужчина — да. Но это и не страшно. Если он, к примеру, шахтер, так отчего бы и нет? Отчего бы и не положить? Пусть показывает свой кулак...

Через три дня явилась она, эта Трубникова, и вручила Жоре две старых измятых фотографии, и попросила:

— Увеличить хотелось бы... А у меня нет знакомых специалистов... А уж с вами, поскольку я знакома... — и улыбнулась полными губами, и уютно провела ладонью по своему плечу.

И Жора смотрел на ее руки, на длинные пальцы, которые хоть и были слегка согнуты, но выглядели надменно.

— Хорошо, — сказал он, — давайте я посмотрю, что там у вас такое...

На одной Жора увидел девочку лет семи. Она стояла у обгоревшей печки деревенского дома. Самого дома не было. У девочки смешно и трогательно торчали в разные стороны русые прядки. Маленькое злое старушечье лицо...

— Это на Смоленщине, — сказала Татьяна Трубникова. — Это я. Это в детдоме. Уехать не смогли... Это немцы фотографировали... Я хочу, чтобы очень крупно и чуть-чуть смазанно, как в тумане, как воспоминание... Я очень люблю эту девочку, — губы ее шевельнулись в улыбке, — видите, как она смотрит?.. А это — мой отец... Я его не помню... А это он еще на этой... на Гражданской... Видите, какая смешная шапка на нем?..

Викентий Трубников в расстегнутом полушубке, молодой и улыбающийся, стоял у пулеметной тачанки, прислонясь к ней плечом, нога за ногу, буденовка набекрень. Он смотрел на Жору пристально, в упор. И улыбался. Улыбался, как человек, который улыбается не для объектива. Это не было похоже на то, как приот-

крывают рот, обнажают зубы, просятся в объектив. Викентий Трубников улыбался чему-то своему так, словно его и не фотографируют, а просто перед ним вдруг из тумана, из пепла возникла та самая волшебная роцца, к которой он ехал на вот этой самой тачанке. В общем, он был сам по себе, а аппарат — сам. И никакой связи. И он, конечно, еще не мог знать, что там случится в его прекрасном далеке.

— Вот если бы в натуральную величину! — пожелала Татьяна.

— Это что, шрам?

— Не знаю, — сказала Таня. — Других фотографий не осталось. Не знаю. Когда произошло... это... все фотографии у нас взяли...

Запястье у Трубникова было по-девичьи тонкое — не для пыток.

— Мама рассказывала, что он был очень мужественный...

Ее руки походили на руки отца. То же тонкое запястье и длинные беспокойные пальцы.

— А вы всегда так и фотограф? — спросила она, уходя.

— Всегда, — сказал он с удивлением.

В парадном его дома пахло луком и картофельной пылью. В комнате стоял полумрак. Жора распахнул окно, присел на край кровати, и тотчас перед ним возникла она. Она сидела напротив и молчала, и разглядывала Жору. Одна ее рука была откинута на спинку кресла, другая покоилась на колене. Глаза были внимательны и спокойны. Полные губы слегка шевелились.

За стеной, в комнате токаря Сытова, раздался стук. И она исчезла.

— Ты чего шумишь? — спросил Жора.

— Я брюки глажу, — сказал Андрей Сытов. — Наши все уехали на травку...

Жора лежал на спине и смотрел на противоположную стену. Она вся была покрыта крупными фотогра-

фиями, сделанными им. И всё это были руки. Вот руки Андрея Сытова, играющего на гитаре. Гитары не видно. Жора сделал так, чтобы ее не было видно. Руки начинаются откуда-то из темной пустоты. Вот левая скользит по невидимому грифу. Она напряжена, и только пальцы, изогнутые и не похожие один на другой, делают свое дело, как люди... словно прикладываются щеками к прохладной земле. А правая — спокойнее, расслабленней, чуть-чуть с истомой прикасается к невидимым струнам.

Когда однажды Андрей Сытов увидел свои руки, он долго и с удивлением их рассматривал.

— Ну ладно, — сказал он, — меня не изобразил, ладно... Лицо у меня, наверное, не то... А вот инструмент, это ты напрасно... Эта гитара — краснощековская..

А справа висела фотография самого начальника Жориного, Павла Петровича Пузырькова, то есть это были руки Павла Петровича, а сам он терялся где-то в пространстве.

Когда Жора усаживал его фотографировать, Пузырьков предупредил:

— Только не чудить. Снимай в классической манере.

Жора попросил его вытянуть руки так, словно Пузырьков тянется обеими ладонями пожать руки дорогого друга: одна ладонь снизу, а другая вот-вот прихлопнет ее.

— Опять чудишь, Жора, — сказал Павел Петрович и сложил руки в замочек.

— Фу, — сказал Жора, — как купец.

— Ты купцов не видел, — сказал Пузырьков.

— Ну я прошу вас, — улыбнулся Жора.

— Когда мы форсировали Одер... — сказал Пузырьков, но замолчал перед блеснувшим объективом.

И тогда получилось так, как хотел Жора. И теперь эти руки тянулись к нему из пустоты стены. Но они тянулись не для дружеского пожатия, как предполагалось

первоначально, ибо Павел Петрович совмещал приверженность к классическим формам с любовью хорошо пожить...

— Когда мы форсировали Одер, — говорил Пузырьков.

— Вы?.. — смеялся Жора.

И Павел Петрович умолкал, почесывая затылок.

Жора заснул. Он погрузил в подушку худощавое лицо, а жесткий и черный его затылок выделялся на белой подушке пятном.

И сразу же он увидел руки. Сначала руки портного: цепкие, с подагрическими суставами. Пальцы их были искривлены и исколоты, и Жоре показалось, что они держат ножницы или иглу: что-то сверкнуло.

Потом он увидел непомерно широкие ладони, но это не были ладони землекопа. Они были тонки как лист. И тонкие злые пальцы торчали растопыренно, зловеще изогнувшись, требуя, выманивая...

Потом возникли руки солдата: грубая и шершавая кожа, пальцы темны от махры. Они, по-видимому, сжимали винтовку, но винтовки не было видно — одно только напряжение.

Затем закачались, поплыли руки танцовщицы, и слышалась музыка.

Затем — крепкие узловатые руки пилота. Они покоились на штурвале. Штурвала не было, но он угадывался. Руки лежали в пустоте, неподвижные, и сосредоточенные, и умные, и смуглая жилка пересекала каждую, как трасса полета, и смутная наколка юношеской поры стыдливо виднелась у большого пальца.

И вдруг две белых женских ладони закачались перед глазами Жоры. Они были нежны и неискушенны, и розовая линия судьбы пересекала их и терялась где-то вдаль, как след колеса в пустыне. Ладони кончались узким и слабым запястьем, и дешевенький браслетик охватывал левое из них.

— Как тебе не стыдно! — сказал Жора самому себе. — Ведь тебя обманывают... Разве не бывало так, что,

когда ты наводишь объектив, человек становится больным и слабым и уже не может владеть собой? Разве не бывало, что ему вдруг хотелось вскинуть голову и посмотреть на тебя свысока: вот так и запечатлейте?.. Опомнись...

Жора проснулся и сел в кровати. Была ночь.

— А может, все-таки уйти из ателье? — сказал он.
— Что это я?

— Перестань чудить, — сказал со стены Пузырьков. — Фирма гарантирует вам успех... Вы понял?

И Жора проснулся. Было утро. И снова — ателье.

— Какой вы странный, — сказала Люся, — чего вас сюда занесло?

— Здесь люди интересные, — засмеялся Жора, — вот вы, например, и всякие другие...

— Диплом пропадает, — сказала Люся.

— Не пропадет, — сказал Жора.

А Пузырьков сказал:

— Не обращайтесь внимания... Я тебя поднатаскаю... Такие денежки получать будете, ого!.. Вы понял, что не в должности счастье?.. Там всякие нос суют в ваши дела, а здесь — тихо... Я тебя поднатаскаю...

Потом он обернулся к Люсе и сказал:

— Не надо чудить, Люся... Вы же купили себе цигейку... За тобой же косяком пошел мужчина...

— Всё это прелестно, — сказал Жора, — но ведь надо же выдумывать что-нибудь... Ведь мертвое всё... Скучно ведь...

— Аа! — крикнул Пузырьков, — придумывать?.. Нет, нет, нет. Классика нужна, совершенство! Вам нужны переживания, а мне — монументы... Я изобретать не хочу... не смею... Вы понял?.. У меня — опыт.

— Вот все и получают друг на друга похожими, — сказал Жора.

Люся тоненько засмеялась и зевнула.

— А это что? — крикнул Пузырьков и швырнул на стол фотографии веером. — Один сидит, один лежит, другие обнялись... Похоже?.. Один — на коне, другой

— на пляже, третий — в шляпе... Похоже?.. А вот одень-ка шляпу тому, который на коне, знаете, что получится?.. Ни хрена не получится... Во всем тонкий расчет... опыт!

— А помните, комиссия сказала, что у всех глаза навывкат? И постно всё... — сказала Люся.

— Это была компания чудаков, — сказал Пузырьков. — Они хотят меня вытурить, а своего поставить... Не выйдет! — крикнул он тоненько, — у меня есть за что зацепиться... А глаза не я клиентам выкачиваю... Это они сами... Традиция...

— Так их учить надо, — сказал Жора.

Но Пузырьков ушел, прихрамывая.

— Вы его не злите, — сказала Люся. — Он хороший человек. Только он снимать не умеет. Вкуса у него нет... Он боится, что его выгонят... — А что ему тогда?..

— Нечего теории всякие выдумывать...

— А защищаться-то надо ведь, — сказала Люся. — Какой вы строгий... Никогда в кино меня не пригласите... А я сумочку красную купила... А вы всё про длинноногую думаете?..

...А в это время Александр Потехин, муж Тани Трубниковой, архитектор, вошел в свою квартиру. Еще проходя по двору, он взглянул на окна кухни, и чье-то лицо мелькнуло там и скрылось.

«Увидели, подумал он, сейчас предупредят».

Три года они живут вместе, и почти всё это время его встречает настороженная тишина.

Ах, ну не всё ли равно... Что он — мальчик?.. Но он и тогда знал, что ничего не получится. Он уже тогда всё предвидел. Но есть ведь что-то и поважнее!.. Ей тоже надоело скитаться по свету, и за эту комнату, и за него, и за постоянство она глотку кому угодно перегрызет... А ему эти штучки... тонкости эти не нужны... Он не мальчик...

— Ты пришел? — спросила Таня. Она одевалась перед зеркалом.

— А ты уходишь? — спросил он, не удивляясь.

Она резко повернулась к нему.

— Должна же я выйти в магазин!

— Разве я возражаю? — сказал он тихо.

Она ушла.

— Ничего не понимаю, — сказал Потехин Вере, хрупкой некрасивой соседке, глаза которой были всегда влажны, словно переполнены слезами.

Но Вера пожала плечами, потому что не хотела числиться в свидетелях... И все-таки не удержалась и сказала:

— А может быть, вам лучше уйти?.. Вы же не любите друг друга.

И хотя Потехин слышал это от Веры не впервые, он нахмурился.

— ...портите жизнь... — говорила Вера откуда-то издалека, — обманываете... смотреть противно... Если бы вы ушли, она бы стала сильнее...

— Может, ты за меня пойдешь?! — крикнул он.

— Я — нет... — усмехнулась Вера. — Я страпать не умею.

ТАТЬЯНА ТРУБНИКОВА И ДРУГИЕ

— ...И вдруг, — продолжала Таня, — после всего, что было, после страха, после нищеты... Это же почти нищета была... После всяких там неурядиц мне говорят: «А ты красивая...» Я смотрю в зеркало. Неужели? Да, да, конечно. «Тебе надо бы приодеться». Это я как-нибудь осилю, а потом?.. «Потом тебе ничего не страшно». А все-таки? «Потом все упадут к твоим ногам». Ну и что же? И что же?.. «Ты выберешь одного». А дальше?.. «Что же еще? Это — главное. Подрастешь — поймешь». А я хочу быть специалистом, врачом, например. «Аа, врачом... ха-ха... носить белый халат и ставить клизмы?..» Что же мне делать?.. «Любить». Я тогда уже всё понимала. Я тогда посмеялась ему в лицо... Это неважно, кто он... Он тогда еще ладонью по лицу провел, словно в него плюнули. Но меня заметили. Знаете, как приятно, когда тебя замечают?..

— Да, — сказал Жора, — приятно.

— ...И я попала в дом. Ничего не помню. Помню только широкий диван, и бордовый свет откуда-то из угла, и тихая музыка. И на диване — в обнимку две пары в полумраке. И я сижу в другом конце, в кресле. И рядом он. И я дрожу от страха и любопытства, и еще от чего-то такого, что объяснить невозможно. И мне, в общем, хорошо: меня заметили, рядом со мной — хозяин дома — такой красивый парень в заграничном свитере...

— Что они там делают? — спрашиваю я шепотом.

— Они любят друг друга, — говорит он, — а ты что будешь пить: ром или коньяк?

Если бы он просто спросил: буду ли я пить, я бы отказалась, а тут — напрямик: что будешь пить — это или это?.. Мы пьем коньяк, потом ром, потом еще что-то... Ну, в общем, вы знаете, как это бывает... Потом он

предлагает пойти в другую комнату, он хочет подарить мне «одну забавную вещицу». Он идет передо мной, идет уверенно, даже не оборачивается, даже не поинтересуется: я иду или нет. А я, конечно, иду. Спотыкаюсь, но иду. А он впереди в своем заграничном свитере. А я думаю: «вот сейчас поцелует, вот сейчас...» И я очень хочу, чтобы он меня поцеловал. И не нужно мне никаких «забавных вещиц»... Утром я проснулась у него в комнате. Было солнце. Он стоял надо мной и смотрел внимательно. Он был очень красив, очень. Но глаза были равнодушны. Они были любопытны, но равнодушны. И тут я вспомнила всё. И мне не стало страшно.

— Послушай, сколько тебе лет? — спросил он.

— Семнадцать, — сказала я, — только не смотрите на меня, пожалуйста.

Он засмеялся.

— Теперь ты можешь называть меня на «ты». Вполне.

— Отвернитесь, я оденусь.

Он снова засмеялся.

— После всего, что было, это — дикость.

— Отвернись! — крикнула я. Он даже вздрогнул, так я крикнула. И сразу отвернулся. И сказал, не оборачиваясь:

— Поторопись. Скоро родители должны приехать.

И тут мне стало смешно. Всё. Я оделась и сказала ему:

— А если я не уйду? — и засмеялась.

— Уйдешь, — сказал он, но побледнел.

— Я не уйду, дождусь родителей и всё им расскажу, а?

Как он испугался тогда. Ой-ой-ой... И разозлился...

— А если я тебя выкину?

— Вы думаете, это вам поможет? — засмеялась я.

— Изобью...

— Я терпеливая...

Тогда он стал просить меня. Знаете, он так унижался, что было противно.

— Ладно, — сказала я, — пальто.

И он помчался как угорелый и принес мое пальтишко, и стал подавать мне его.

— Дверь, — сказала я.

— И он распахнул передо мной двери. И я пошла по коридору.

— Дверь...

Он всё делал очень быстро. Наверное, вот-вот родители должны были прийти. А я — медленно-медленно. И от этого он трусил сильнее и сильнее.

— А если я забеременею, мне к вам прийти или к вашей маме?

Ну, посмотрели бы вы на него! И я ушла. И мне было не себя жаль, а его. Очень красивый был парень.

— Что будете пить, — спросил Жора, — коньяк или ром?

— Ничего, — торопливо проговорила она. Улыбка пропала с лица. Жора засмеялся.

— Вы это серьезно? — спросила она.

— У меня, к сожалению, ничего дома нет. А я бы выпил с вами.

Она сидела перед ним, безвольно опустив руки. И пока рассказывала небрежным тоном, словно с неохотой, всё время смотрела ему в лицо.

«Пора кончать с ателье», почему-то подумал Жора.

— Вам интересно было? — спросила она, — вам не противно, что я разболталась?..

Потом они молчали.

— Дома у меня тарарам, — неожиданно сказала она, — ничего не хочется делать. Скорей бы уж новая квартира!.. Как на вокзале живу...

И она усмехнулась.

...Уже тогда, в то воскресенье, до двух часов ночи Жора провозился с фотографией Викентия Трубникова, и громадную ее, увеличенную до натуральных раз-

меров, наклеил на плотный картон и поставил к стене до утра. А утром даже вздрогнул, когда проснулся, потому что живой и улыбающийся Викентий Трубников смотрел почти прямо на Жору. И сильное утреннее солнце било комиссару в глаза, так что комиссар даже немного сощурился.

— Ладно, без мистики, — сказал Жора.

Но улыбка у комиссара была несколько иной, чем вчера на маленькой фотографии. И белая полоска на щеке стала почему-то темной и уже походила на шрам. И было заметно, что этот шрам чуть стягивает кожу на щеке. И, может быть, поэтому в улыбке комиссара появилось что-то ироническое. Однако лицо было по-прежнему открытым. И неизвестно почему, но Жора угадывал за спиной комиссара степь, жару, звон. По вечерам лицо Трубникова становилось сосредоточенней, суровой, по утрам оттаивало. А руки?.. Одной он распахивал полушубок, другою держался за металлическую дужку, приделанную к тачанке. Прямо из классической гимназии — в комиссары, это ж надо такому случиться! И он не позировал у своей тачанки, а просто сошел, ступил на сухую траву степи и сказал юношеским баском:

— Жарища!.. Семенов, где там моя кожанка?.. Прямо лето: такая жара. И звон стоит. Это птицы звенят или степь сама, а Семенов?..

Пока колесили по приволжским хуторам, от боя до боя, от короткого привала до долгой дороги, пока слушали грохот не очень совершенных колес, пока кричали хриплыми голосами друг другу то приказ, то просьбу, то последнее «прощай», разве можно было себе представить, как звенит степь, когда она в самом начале весеннего дня?..

— Это чудо, как вы это сделали, — сказала Таня. — Просто паразитально. Я никогда не думала, что такой у меня отец... Там, этой вот весной, он встретил на

одном из хуторов девчонку. Ей было семнадцать лет. Он вот так сошел однажды с тачанки и сказал:

— Жарица!.. Семенов, где там моя кожанка?.. Прямо лето: такая жара. И звон стоит. Это птицы звенят или степь сама, а Семенов?

А за калиткой стояла та самая девчонка и смотрела на него большими черными глазами, как на Бога... А он сказал:

— Семенов, нас сюда, кажется, приглашают.

А она ничего не сказала, покраснела, улыбнулась ему и пошла к дому... Как в песне, правда?.. А он — за ней. И — в дом. И как будто давно знакомы. Даже слова не сказали друг другу. И он скинул с себя кожанку и остался в выцветшем гимназическом мундире, скинул буденовку — и спутанные, потные его волосы смешно затопорщились на голове. И он пригладил их ладонью и сказал:

— Здравствуйте, меня зовут Викентием, Викентий Трубников. А вас?

И прищелкнул каблуками, как на гимназическом балу.

А ей это не было знакомо: мундир, щелк каблуков, учтивость, но смешным не показалось. Просто стоял перед ней белокурый Бог, смотрел на нее добрыми городскими глазами и ждал, что же она ответит. А ей было семнадцать лет. Она была красива, хотя этого не понимала... Там, на маленьком хуторе, не было ценителей ее красоты... Была она сирота и жила у родственника своего.

— Как же вас зовут? — спросил Трубников.

— Катерина, — тихо сказала она. И снова покраснела. И отвернулась, потому что в горницу вошел Семенов.

Потом пришел ее родственник. Он приехал из города: менял муку на тряпки. Он был очень недружелюбен с белокурый мальчишкой, а мальчишка посмеивался и всё поглядывал на Катерину.

— Что ж это вы с нами так грубо говорите? Мы же в гостях у вас... — сказал Трубников родственнику.

— А вот так, — сказал родственник, не глядя на комиссара.

А потом он пронюхал, что мальчишка этот — комиссар полка, и сразу переменялся, и извлек бутылочку с желтым самогоном, и улыбнулся.

— Надо бы выпить, а?.. Под огурчики хорошо...

— Не пью, спасибо, — сказал мальчишка.

— Что ж так? — грустно спросил родственник.

— А вот так, — сказал комиссар.

Потом родственник высосал потихоньку самогон сам и спросил Семенова, который зашивал дыру на гимнастерке:

— Что ж это комиссар ваш меня не уважает?

— Не за что... — усмехнулся Семенов.

— Я ведь — народ.

— Оно и видно, — сказал Семенов, — народ, как выйдешь из ворот...

— Все вы дырявые, — сказал родственник.

— Это мы зашьем, — сказал Семенов.

А Катерина сидела на крылечке и смотрела на степь, которая начала синеть к сумеркам. А Трубников стоял рядом и краем глаза поглядывал на ее загорелую шею. И он сказал, продолжая разговор:

— ...У нас в полку нет сестры милосердия... Мы бы вам сапоги выдали, хромовые достали бы... невесомые. Пойдете?

— Нет, — сказала она тихо, — мне нельзя.

Трубников вздохнул. А сумерки сгущались. Запахло рекой. Звон прекратился.

— ...Ездили бы на своей тачанке... Помогали бы героям. Раненных перевязывать некому...

— Я крови боюсь.

— А по вечерам, когда привал, у нас песни поют. Вы даже не представляете, как это хорошо!.. А захоти-

те — можете коня получить в собственное пользование, верхом ездить... Пойдете?

— Нет, — сказала она, — я коней боюсь. Сроду верхом не ездила...

А ранним утром полк уходил своим путем. Викентий Трубников сидел уже в тачанке и с ее высоты глядел на дом, всё ждал чего-то. Потом и Семенов устроился, а никого не было. Потом «Марш-марш!», и полк запыллил по степной дороге.

— Красивая девица была, — сказал Семенов, когда спускались к реке, — ее бы приодеть, да зонтик бы ей в руки...

И вдруг на повороте, у покосившегося кола, неизвестно для чего торчащего в степи, Трубников увидел Катерину. Она стояла, прислонившись к колу спиной, руки сложены на груди, босая.

Тачанка поравнялась с нею.

— Это вы? — обрадованно спросил Трубников и спрыгнул на землю.

Она только кивнула и ступила поближе.

— А я думал, больше не увижу... Как это хорошо что вы пришли!

— Проститься пришла, — сказала Катерина.

Так они стояли друг против друга. И молчали. А Семенов глядел на небо. Полк пылил где-то далеко за рекой. Катерина нагнула голову и медленно побрела к хутору...

«Вот и еще одна жизнь, подумал Жора, и еще одна судьба. И всё переплелось, перемешалось. Вот оно какое, начало. Начало всему... И это можно описать, рассказать, спеть, выкрикнуть, но это нужно увидеть... И тогда как это прекрасно! Всё, всё: и звон, и степь, и это «вы» прямо посередине войны и разрухи, и теплота глаз и слов, когда ничего не пропадает, и это всё, что проходит по всем векам... Человек несет в своей котомке так много доброго, что это невозможно растоптать, а

он несет, и даже не подозревает, и не думает об этом... И только дорога, пыль, звон...»

— Хорошо, что вы пришли, — сказал Жора. — Я думал о вас почему-то.

— Это он напомнил вам меня, — кивнула на фотографию Таня, — мы с ним похожи.

Желтые от химикалиев пальцы Жоры были сжаты в кулак. И этот большой кулак покоился на столе. Но было в нем что-то трогательное, теплое.

Таня смотрела куда-то мимо Жоры. Был вечер. Уходить всё же не хотелось. Там, в старом доме, ходит по комнате Александр Потехин, ее муж. Она почему-то всегда стеснялась этого слова.

...При чем же здесь я? — словно эхо откликнулся Александр Потехин, расхаживая по комнате и поглядывая в окно на вечерний переулочек. — При чем же я?.. Пятнадцать лет разницы? Это ерунда. Сколько угодно тому примеров... Или я был против семьи? Или не я, наконец, вытянул ее, девчонку, из болота, в котором она увязала обеими тонкими своими ножками?.. Или это не я махнул рукой на прошлое ее родных?.. Я два года нянчил ее провинциальную мать, и я мотался по лучшим врачам, когда старуха валялась в бреду и выкрикивала блатные словечки, и я первый шел за ее гробом, потому что хоть она и выглядела при жизни очень несовременной, но ведь не простую жизнь прожила и заслужила венки и траурные марши... При чем же здесь я? — спросил он у Таниной фотографии. А Таня смотрела на него без улыбки, немного грустно, точно такая, какой он увидел ее впервые.

Он хорошо помнил этот странный вечер. Компания молодых, ну совсем молодых. Он так нелепо выглядел там и всё боялся сказать что-нибудь не в тон, и потому старался молчать. А они пили чрезмерно много, и его раздражала собственная трезвость, но пить он боялся, чтобы не сказать чего-нибудь смешного. И эта девушка с прекрасными грустными глазами, немного

пьяная и не слишком словоохотливая... И какие-то ее обожатели (он успел позабыть их лица)... Они всё время старались уединиться с ней, сердились, просили и спорили друг с другом. А она немного лениво, но очень грациозно отмахивалась от них (и это ему запомнилось: ее жест и полные губы, которые чуть шевелились, когда она говорила слова). Может быть, потому, что он так не походил на остальных, она несколько раз со слабым любопытством взглянула на него. И вдруг он почувствовал, что ему хочется подсесть к ней. Но он не решился. Потом играла музыка, и все танцевали. И ее наперебой приглашали танцевать. И она не отказывала им, но когда танцевала, — Потехин очень жалел ее партнеров — так равнодушно и безучастно двигалась она в такт музыке. После очередного танца она очутилась в этом конце комнаты и уселась рядом с ним. А он набрался смелости, наклонился к ней и сказал, глядя в ее русский затылок:

— Мы с вами оба трезвы, и потому нам здесь не место.

Она обернулась, молча оглядела его. И все обожатели уставились на нее и ждали, что она скажет. А он понял, что она пьяна, не очень, но все-таки.

— А давайте удерем, — сказала она и вызывающе улыбнулась.

Он даже не поверил. Но тут же решил: будь, что будет...

Они вышли. Он поймал первое попавшееся такси. Сел рядом с ней. Она молчала.

— Куда? — спросил он у нее.

— Не знаю, — сказала она, и закрыла глаза, и, вероятно, почувствовав, что он вздрогнул, добавила: — голова очень кружится...

Она спала на его единственной тахте в маленькой восьмиметровой холостяцкой комнате, а он всю ночь просидел на стуле, и костюма так и не снял, и всё курил, курил...

Всю неделю после этого он ходил словно пришибленный. Молчал, отвечал односложно, а на седьмой день не выдержал и позвонил ей. И ему показалось, что она обрадовалась его звонку. Он долго бормотал случайные слова и никак не мог произнести главного, но она выручила его.

— Если вы свободны, давайте увидимся...

И они встретились.

...Уходя, Таня еще раз оглядела Жорину коллекцию.

— Не могу понять, но вы делаете что-то очень интересное. Я бы хотела бывать у вас почаще... (не истолкует ли он это превратно?.. А впрочем, может быть, так оно и есть?.. А может быть, не стоит скрывать?.. Ведь всё так понятно...)

— Конечно, приходите, — сказал Жора, — отчего бы вам ко мне не приходиться? — он помолчал, — конечно, приходите... — он словно испугался собственных слов, — ...а вам это ничем не... — он улыбнулся растерянно...

«Опять он улыбается, подумала она, я не смогу уйти... Я сама виновата... Навыдумывала...»

«Она волнуется, подумал он, волнуется. А может быть, это я волнуюсь. Вон как у нее пальцы дрожат, вон как сигарета дрожит...»

— Хотите, я провожу вас?

Быстрый протестующий жест. И какое-то подобие улыбки (как будто ничего не произошло).

— Я проводил бы вас до улицы...

Как он волнуется.

— А... Ну, ладно... Если до улицы.

— Фотография?

— Пусть останется... В следующий раз...

«Какую чушь я плету, подумала она, он же всё видит и смеется».

— Это хорошо, — сказал Жора, — значит, вы придете ко мне еще раз...

Она скрылась за углом внезапно. Еще стоял в вечернем воздухе тонкий запах ее духов, а самой ее уже не было. И какие-то незнакомые люди мелькали мимо.

— Теперь всё будет не так, — сказал Жора, — теперь всё будет иначе... — И он шел сквозь сумерки. Сумерки всегда сопровождали расставание. И он шел. И никому не было до него никакого дела. А для него, напротив, все были на виду. И все шли по течению и против, и даже не подозревали, что они у него на учете. И не только движение рук, взгляд, улыбка — всё, в чем они могли проявиться, запоминал Жора и лелеял надежду выбрать главное и запечатлеть... И пока ты торопишься, человечество, по своим делам, не понимая, кто ты, и пока ты идешь то с радостью, то грустно, и пока ты проносишь свои соломинки и веточки и складываешь их одну на другую, есть смысл говорить о тебе и запоминать твои поступки... Впрочем, человечество — это слишком громко. Нельзя ли потише? Тише, чем больше у тебя печалей. Тише, чем больше у тебя препятствий. Тише, чем меньше у тебя дешевых надежд. Тише, чем пренебрежительнее ты судишь о собственных заслугах...

...И когда Пузырьков осмотрел фотографии, висящие в комнате Жоры, он сказал:

— Вас засасывает формализм, вы поняли? Формалистические выкрутасы... Вы меня здорово подвел, истратил государственные химикаты на штучки...

— Химикаты я тратил свои, — усмехнулся Жора.

— ...всё равно нам это не нужно.

— Кому?

— Нам.

— Кому?

— ...Вот и меня вы сфотографировал... Что это значит? А где лицо? Почему мои руки делают этот жест? Что вы этим хотели сказать?..

Потом он немного успокоился. Лицо его выглядело усталым и добрым. Он посеменил, прихрамывая, по комнате. Снова остановился перед фотографией, с которой тянулись к нему его собственные руки.

— А я, по-вашему, ремесленник? Вы слишком ученый, да? Мне пора не пенсию?

— Вам виднее, — сказал Жора. — Я так умею. Я ведь вам не навязываю...

— А почему улыбаетесь?! — крикнул Пузырьков. — Кичишься?.. Слишком высоко себя ставишь?.. Я таких видал...

Через несколько дней после этого Пузырьков привел к Жоре пожилого человека в пенсне. Жоры дома не было. Дверь им открыл Сытов.

— А, — сказал Сытов, — начальство. А хозяина нету.

— Ничего, — сказал Пузырьков, — ты нас проведи фотографии посмотреть, — и шепнул Сытову, кивнув на пожилого в пенсне: — Большой знаток в области искусства... Карьера...

Сытов не понял, чью карьеру имел в виду Павел Петрович, но провел гостей в комнату Жоры.

Большой знаток долго рассматривал фотографии.

— Целая выставка будет, — пояснил Сытов. — Это еще только часть... О том, через что люди проходят... Это вот мои руки. Они будто бы на гитаре играют... Только гитару не видно, краснощековская. Жалко.

— Патология, — сказал большой знаток.

— Да, здорово. Ничего не скажешь, — сказал Сытов.

— Уймись, — сказал Пузырьков. — Нашел чего хвалить. Это штучки...

Но Сытов словно и не слышал.

— Скоро Жора знаменит будет, — сказал он, — это ж надо так показать сущность всему!..

— Уймись, — прошипел Пузырьков.

— ...а благодаря чего? — сказал Сытов, — благо-

даря того, что человек — не соломенный, и он через всё прошел... Вот вы можете наблюдать профиль. Глаз не видно? Нет. А шея? А пилотка? А краешек воротника? Он — с каемочкой от пота... Это солдат, конечно. А чего он думает? А он думает, как он в свой город вернется, или как он жену встретит, или какую сорочку оденет, когда в бане на гражданке попарится...

— Уймись, — сказал Пузырьков.

— Вы мне мешаєте, — сказал большой знаток.

— Вот сколько различных мыслей рождаются в голове, — обиженно сказал Сытов, — или вот, например, эти женские руки...

«...Пора кончать с ателье, подумал Жора, когда Сытов рассказал ему о визите, — там делать больше нечего...»

— Этот твой начальник злился всё, — сказал Сытов, — смехота.

В комнате стоял какой-то незнакомый запах. Жоре было неприятно это. Что им вдруг понадобилось?..

— Теперь всё будет иначе, — сказал Жора, когда Таня скрылась за углом. — Как она волновалась... В таком состоянии можно выкинуть всё, что угодно, всё, что угодно, всё, что угодно. И я волновался... Стыдно, Жора... А что я могу? Я могу пригласить ее в Парк культуры... днем. И она будет оглядываться, озираясь... Что я могу еще?.. Купить мороженое?.. А если я обниму ее?..

ВИКЕНТИЙ ТРУБНИКОВ И ДРУГИЕ

— Послушайте, Жорка, — сказала Птичкина, — это так интересно, что дух захватывает! Вы сами до этого додумались? Впрочем, есть небезызвестный американец... Но у вас свое, свое... — и она радостно засмеялась, и по ее круглому белому лицу прокатились разноцветные волны, во всяком случае, Жоре так показалось. — У вас свое... Как это грустно всё, что вы видите, но ведь и жизнь не слишком празднична... Но вам будет трудно, Жорка... Почему вас зовут Жоркой?

— Это вы меня зовете так... — сказал Жора. Он уже не улыбался.

— О, — протянула она удивленно, — тогда простите.

Она долго молча разглядывала его, словно только что увидела. Потом торопливо заговорила снова:

— У нас в музее можно было бы выставить всё это. Но я боюсь, что наши не пойдут на открытую выставку... Не согласятся...

— А я и не собираюсь выставлять это, — сказал Жора, борясь с раздражением. — Мне еще рано. Мне еще много лет нужно, чтобы это завершить. Я еще думаю поездить.

И вдруг он понял, что так раздражало его в этой круглолицей женщине. Было три часа. Таня обещала прийти в три. Птичкина уходить не собиралась.

— Как это прекрасно все-таки! — сказала она. — Мне хочется сказать вам...

— Только, ради Бога, не говорите громких слов, — перебил Жора. — Я очень этого не люблю, — добавил смущенно, — когда я закончу, я позову вас.

— Да, да, — заулыбалась Птичкина. — И все-таки... вы...

«Смотрит на меня как на бутерброд», подумал Жора.

— А может быть, и есть резон в том, чтобы не выставляться? — спросила она.

— Не знаю.

— Ну когда же вы меня позовете?.. Вы не забудете?

— Нет, конечно.

— Вы же знаете, как я к вам отношусь... Жора. Поверьте, что лучшего друга вам не найти... я сразу чувствую настоящее... Я как только увидела эти вот две руки, и это лицо, и этот профиль...

— Я обязательно позову вас...

— ...и эти стоптанные сапоги...

Жора долго и демонстративно смотрел на часы.

— Вы торопитесь? — вдруг спросила она. И лицо ее приняло скорбное выражение.

Белый круглый грустный блин закачался перед Жорой. Маленькие глаза исчезли, рот напоминал щелочку, нос — едва заметный бугорок, был только белый круглый блин, и он покачивался перед Жорой.

— Я обязательно позову вас, как только что-нибудь появится новое, — сказал Жора. И ему показалось, что на улице наступила полная тишина, и в этой тишине он отчетливо услышал постукивание Таниных каблучков.

«Стук, стук, стук...»

— Я пойду, — сказала Птичкина, — но вы обещайте, что позовете.

— Обязательно.

— Нет, нет, не так... ну какой же вы, право... Поклонитесь. Ну поклонитесь... Мне кажется, что я вам надоела... Надоела, да? Нет, вы скажите прямо...

«Стук, стук, стук...»

— Вы такой талантливый!

— Ради Бога, — сказал Жора, — только...

— Ну хорошо, не буду, не буду... Но ведь это не громкие слова. Это правда.

— Не надо.

— Я бы посидела у вас, но вижу, что уже вам надоела.

Жора промолчал. Было очень неловко.

— Надоела? Ну отчего вы молчите?..

«Стук, стук, стук...»

Белый круглый блин поплыл вдоль стены. Сначала медленно, затем быстрее и быстрее.

Уже выходя на лестницу, Птичкина сказала:

— Может, дать вам мой телефон?

— Он есть у меня.

— Я все-таки дам. Тот вы, наверное, потеряли, — и она принялась копошиться в сумочке.

«Стук, стук, стук...»

— Не надо, — сказал Жора. Получилось резко.

Она торопливо захлопнула сумочку. Помахала ему и стремительно кинулась прочь.

В комнате стало просторней. После торопливого захлебывания Птичкиной наступила неловкая тишина. Фотографии с укоризной уставились на Жору. Было половина четвертого. Стук каблучков прекратился. Снова выбивали тонкую дробь оконные стекла. Жора откинул марлю с фотографии Викентия Трубникова. Комиссар вздохнул полной грудью. Лицо его было усталым. Он вглядывался в дорогу, по которой, наверное, уходила Катерина. Все куда-то идут. Всех куда-то влечет. И в этом движении жизнь двоих — короткое свидание на заре, и только. Оно иногда тягостно и потому мгновенно, иногда неминуемо и потому чуть дольше. А кто измерил, сколько оно должно быть на самом деле? И если бы движение друг к другу происходило по прямой, по самому короткому из отрезков между двумя точками, каких бы страданий удалось избежать, как много башмаков не было бы изношено!

Но Катерина уходила. Может быть, ей не свойственно было безрассудство. Но стук каблучков прекратился. Может быть, по той же причине. Может быть, усталость поколений, а может быть, их жестокий опыт, а может быть, вечная жажда покоя, которого никто никогда не знал, может быть, это всё и вырабатывало благоразумие? А может быть, это было не что иное, как желание испить всю чашу до дна? Но расстояние увеличивалось... Впрочем, и прямая между двумя точками — это ведь всего лишь теория. И словно в подтверждение этого, незнакомый мужчина с седеющими висками почти без стука вошел в комнату и уселся на стул и, не представившись, закурил сигарету, и только тогда Жора вдруг увидел, что мужчина волнуется. Губы его шевелились, и какое-то важное слово не могло слететь с них. И тогда Жора улыбнулся ему благожелательно и подбадривающе, но мужчина с укоризной смотрел в синие Жорины глаза.

— Я к вам, — наконец выдавил он. — Я — Потехин.

Он снова заглянул в два синих улыбающихся зеркала. Жора пожал плечами.

— Я муж Тани.

— А...

— Я пришел, чтобы всё прояснить... между нами...

— Я фотограф, — сказал Жора.

Потехин помахал в воздухе указательным пальцем.

— ...Но я фотографирую в ателье. Здесь мой дом.

— Она мечтала перебраться на новую квартиру, — сказал Потехин. — Всё было хорошо... Я уже и мебель заказал, какую она хотела...

«Притворяется», подумал Жора.

— Она приходила к вам?

«Дурак он, что ли?.. Но он красив... И у него право...» И Жора улыбнулся. Так. Про себя. «Ему, конечно,

больно... Он так любовно носил семейные кирпичи...»

— Она была у вас?

«...или он думает, что я захватчик? О, он ошибается. Да, у нее прекрасное лицо и руки, и улыбка, и голос, и... и ее нужно носить на руках... она этого заслужила... Но как он мог подумать! Да пусть он убирается к черту... в свою новую квартиру, пусть берет с собой свою жену, она ему досталась с боем... Пусть всё кончится, ведь еще ничего не началось... чтобы мне вдруг такое?!»

— Мне это стоило дорого, — сказал Потехин.

— Что?

— Всё это создать.

— А...

— Я буду бороться, хотя это и не совсем по-мужски.

«Это как раз и по-мужски... Только зачем бороться? Разве я покушаюсь на ваше счастье? Пожалуйста, не устраивайте трагедии, это ни к чему... Мы только знакомы... Какая чушь!..»

— А если я ее люблю? — сказал Жора.

Потехин вскочил. Указательный палец его замолтался перед Жориным носом.

— Что вы глупости порете!

И тут вдруг снова послышалось: «стук, стук, стук...» так, что оба вздрогнули и посмотрели на дверь.

— Там кто-то ходит, — сказал Потехин.

— Может быть, — сказал Жора.

— Но я не хочу, чтобы нас подслушивали.

— Кому это нужно.

— Это все, что вы могли сказать? — угрожающе спросил Потехин. — Вы ее любите... зазываете в холостяцкую квартиру...

Жора сделал шаг к нему.

— И?..

— Я не ссориться пришел, — устало сказал Поте-

хин, — надо же как-то договориться... до чего-то... У нее была тяжелая жизнь, у меня тоже... Нам надо поддерживать друг друга. Это очень страшно, когда что-то врывается со стороны...

— Я не врывался, — сказал Жора. — Просто не всё зависит от нас.

— А я? — спросил Потехин.

«Да, ему трудно... И ничего не получится... всё равно. И я не собирался. Надо сказать ему об этом. И пусть он живет себе спокойно, какое мне дело...»

— А если я люблю? — спросил Жора.

Потехин вдруг с размаху ударил кулаком по столу.

— Господи, как это стыдно! — сказал он. — Как всё это безобразно. И это я?

— Вы мне стол сломаете, — сказал Жора.

— ...Я унижаюсь. Выпрашиваю подаяние... Я... У кого?

— Мне пора уходить, — сказал Жора.

— Что же вы мне скажете на прощание? — Потехин попытался иронически усмехнуться, но получилось жалостно. Тогда он шагнул к двери и распахнул ее, и исчез. Только порыв ветра пронесся по комнате и колыхнул марлю на портрете, и откинул ее. И на глянце заиграло заходящее солнце, словно вспыхнул костер. И, сидя возле этого костра и щурясь от дыма, Викентий Трубников сказал:

— Может быть, я был неправ, Семенов, может быть это слабость, распущенность, но я не могу забыть Катерину. Стыдиться мне, Семенов, а? Как ты на это смотришь?

— Чего ж стыдиться, — сказал Семенов, — девица красивая, скромная.

— И все-таки это слабость. Вот ведь какая война кругом, кровь льется, голод... Интеллигенту захотелось любви... А, Семенов? Нелепость, да?

Семенов подбростил хворосту в костер. Полк спал.

У опушки леса паслись кони. Они походили на гигантских доисторических ящеров.

— А может быть, это всё — обыкновенная физиология? — сказал комиссар. — Как ты думаешь, Семенов? Может быть, это выше сознания, и ничего не поделаешь? Просто человек бессилён. Вот я вижу: с одной стороны, идеи, борьба, верность, мужество, мировая революция, с другой — женщина. И мы идем непреклонно вперед, а нет-нет да и оглянемся. «Эй, не оглядываться!» — кричат командиры. И мы снова идем вперед, но в темечке ноет, потому что она смотрит вслед, и нет от этого спасения.

— Женщина всегда человеку нужна, — сказал Семенов, — во-первых, хозяйка, во-вторых — жена...

Потом к костру подошли караульные и подвели женщину.

— Вот, товарищ комиссар, вас ищут.

— Катерина... — всхлипнул Викентий Трубников от неожиданности.

— Вот тебе и мировая революция, — усмехнулся Семенов и пошел от костра прочь.

Она была во всем черном, даже платок на голове был черным. В руке она держала узелок. Он походил на букет белых роз.

— Чего это у вас в узелке? — сам не понимая почему, спросил Трубников.

— Вот я к вам пришла, — сказала она.

И она сняла с головы платок, и он упал на траву, распахнувшись. И села. Она сидела перед Трубниковым и смотрела на него, и не опускала глаз по-деревенски. И они молчали. И темные чудища шуршали травой на опушке.

— А ночка сыроватая, — сказал Викентий Трубников. — Скоро осень.

— Хотите, я вам кулеш варить буду?

— Мне? — удивился Трубников.

— Всем вам.

— Пшени нет, — сказал подошедший Семенов. — Без баранины можно, а вот без пшени никак.

— А у меня пшени с собой, — сказала Катерина. — На всех хватит.

И она ткнула рукой в белый узел. Семенов чмокнул губами от удовольствия. Комиссару захотелось погладить Катерину по голове, и правая рука его шевельнулась было.

— Спасибо, пригодится, — сказал он.

Вечером следующего дня командир полка, бывший шахтер Кружкин, отвел комиссара в сторону и сказал, глядя на свои новенькие офицерские сапоги:

— Скоро марш закончим. Дня на три осталось прогулочки... Потом опять пульки зацокают...

— Зацокают, — сказал комиссар.

— Зацокают, — повторил Кружкин. — А ты бабу завел?

— Какую бабу?

— Ты, комиссар, полюбовницу хочешь в обозе таскать?

— Чушь какая!

— А может, она жена тебе?

— Она ведь жена моя, — обрадовался Викентий Трубников.

— Она не жена тебе. Она трудовая сирота с хутора. Ты, комиссар, на манер царского поручика хочешь невинную бабу испортить?

— Ты что! — крикнул Трубников. — Я же люблю ее...

— Тогда женись законно при всем полку.

— А если она не захочет? Ты что, смеешься, Кружкин? Или полк повеселить хочешь?

— Захочет, — сказал Кружкин. — За красного-то комиссара... Ты ведь спал с ней?.. Захотела?..

Викентий Трубников торопливо застегнул ворот гимнастерки и тоненько крикнул:

— Товарищ командир полка, вы меня оскорбляете!

— Неужто не спал? — дружелюбно спросил Кружкин. — Вот чудак. Тогда и в самом деле спросить надо. Хочешь я спрошу?

— Позволь уж, Кружкин, мне самому устраивать свои дела, — примирительно сказал Викентий Трубников.

— Поженим перед всем полком.

— А мировая революция? — усмехнулся Трубников...

Через пять дней Матвей Кружкин лежал на траве, полуприкрытый красным знаменем полка. Волосатые жилистые его кулаки покоились на груди, тонкие губы были плотно стиснуты, словно командир полка отказывался принять горькое лекарство. Полк стоял полукругом. Свадьба была отложена. Викентий Трубников написал своему старому другу:

«...тем более, что ни она, ни кто-нибудь другой не знают об этом. Знали только я да Матвей. Теперь он погиб. Я подожду. Я ведь знаю, как это может быть. Я люблю ее, Зина, до головокружения. И она, конечно, чувствует это. По-моему, и она ко мне определенно равнодушна. Но ведь я стал таким разуменьким. Я всё время сдерживаю себя. Она неграмотная крестьянская девушка. Сможет ли она быть мне другом? Поймет ли она то, ради чего я подставляю себя под пули?.. Но самое страшное все-таки заключается в том, что я всё время думаю о ней, и нет никаких сил справиться с собой. Что это такое, Зина?..»

И Трубников смотрел вдаль, стоя рядом с тачанкой, словно ждал, что же такое ответит ему Зина. Становилось темнее. Во взгляде комиссара сквозила озабоченность.

... — Она не пришла, — усмехнулся Жора. — Началась семейная драма. Рушится новая квартира. Отпа-

дает необходимость в спальном гарнитуре. Боже, Ты такой всемогущий, как же Ты не смог учесть такого пустяка? Дай товарищу Потехину пожить в свое удовольствие. Ему нужна жена, которая его не любит. Сделай так, чтобы внешне всё было пристойно. Он числится в хороших архитекторах. Начальство им довольно. Пусть оно в нем не разочаруется. Жора, ты одинокий чудак. Не лезь ты к людям. Делай свою фотовыставку. Птичкина тебя оценит. Осчастливь человечество. Человечество посмотрит на себя со стороны, удивится и будет тебе благодарно. Ты, Жора, сделал всё, что мог. Больше ничего у тебя не получится. Мало уметь снимать, нужно уметь обобщать. У тебя в голове ералаш. Ты бросаешься от одной темы к другой. Форма не дает тебе покоя. Может быть, жизнь людей — это как Парк культуры? Они входят туда семьями, благоговейно. Покупают мороженое. А что там впереди? Ах, да это же площадка аттракционов. Вот бревно, по которому нужно пройти. И они идут всей семьей. И кто-то из них скользит на землю. Потеря. А дальше — трамплин. Ну-ка, давайте-ка попрыгаем — кто дальше. И они прыгают, все вместе, взявшись за руки. Можно было бы не прыгать, но ведь все прыгают, раз есть трамплин — нужно его испробовать. Хлоп — вывихнута нога. Хватит! За всеми не угонишься. Что-нибудь духовное. Ах, вам чтобы дух захватывало? Да, да, пожалуйста. Это пользуется спросом? Еще бы! Качели. Вся семья забирается в лодку качелей. Раз, раз, раз, раз... Ого! «Я хочу остановиться...» — говорит жена. — «Давай, давай!» — кричит сын. «Все же качаются, думает отец, чем же мы хуже?..» Трах!.. Жена выпадает из лодки. И это на полном ходу. Представляете? Ее поднимают на руки. Несут. Нужно уходить отсюда к черту. «Но ведь мы и половины всего не видели», — слабым голосом говорит она. Семья поредела. Лица мрачны. Есть еще колесо смеха. Все усаживаются в центре большой чечевицы. Она начинает вращаться. Центробежная сила выталки-

вают людей к бортам, сбрасывает их с чечевицы. Останется тот, кто в самом центре. Все стараются остаться. Но всех несет. Они отталкивают друг друга. Отец подбирается к центру, но кто-то мешает ему. Чечевица остановилась. В центре сидит победитель. Он смеется. «Это нечестно, вы меня столкнули», — говорит ему отец. Но кругом смеются. Победителей не судят. Они идут дальше. Комната смеха. «Очень хорошо», — бледнея, говорит жена. Там зеркала. В каждом из них они видят уродливые свои фигуры. «Как ты прекрасна!» — хохочет отец. «А ты настоящий Квазимодо», — говорит она, смеясь. «Ну и родители!» — заливается сын. И вокруг все смеются. Очень веселый аттракцион...

— Сытов, — сказал Жора, — пошли в Парк культуры.

— Нет, — сказал за стеной Сытов, — поздно.

Он вошел к Жоре.

— Ты бы женился, Жора. Время-то проходит.

— На ком это еще?

— А вот девица к тебе приходит. Смотрит на тебя волшебюно...

— Она чужая жена.

— Я знаю, — сказал Сытов. — Это по ошибке.

— А если и от меня уйдет?

— Значит, тоже ошибка была.

— Не много ли ошибок?

— А так ведь оно лучше, чтобы все ошибки побыстрее прошли...

— Ты-то сам, что?

— Меня женщины боятся. А благодаря чего? Благодаря того, что я очень сам их люблю. Они большой любви боятся. Непокойно им. Вот твой Пузырьков, он женщинам угоден. Он летать не умеет.

— Летать?

— Без полета он.

— А я?

— А ты нет, ненадежен ты, вот что. Одна неопре-

деленность с тобой. Кто ты? Куда ты? Зачем? Почему?.. Женщине покой нужен.

— Зачем же мне жениться, Сытов?

— Когда есть любовь, вопросы излишни. Тем не менее...

— Пойдем, Сытов, в Парк культуры.

— Мне в ночную смену заступать. И вообще, не люблю суеты. Возьму на неделю отгул — поеду с гитарой на Клязьму. Сяду над рекой... Вот тебе и культура. Прочищает мозги, тем не менее.

И он ушел.

— Легко тебе, Жора? — спросил Жора у самого себя.

Неумолимо надвигалась осень.

Отец написал из Иркутска:

«...Глупо вот так бить баклуши. Нужно делать что-то главное, а подобные замыслы должны осуществляться параллельно. Это прекрасно, то, что ты задумал, но для этого нужны знания и время. Ты живешь, как поэт из плохого романа восемнадцатого века. Мне даже кажется, что ты зарос волосами и уже давно не причесываешься...»

Тогда Жора подумал о самом банальном, что может прийти в голову вот в такую минуту, и, очевидно, под впечатлением строгого родительского письма, он подумал о деньгах. Их оставалось мало. Сбережения подходили к концу. Он не осуществил и сотой доли своего замысла. Чем дальше погружался он в раздумья, тем большее число тем волновало его, тем бессильней казался он самому себе.

— ...Вы что, с ума сошел? — сказал ему Пузырьков, — я останусь совсем без рук, если ты уйдешь...

— И все-таки я уйду, — сказал Жора, — потому что на эти денежки не проживешь.

— А, ты стяжатель! — крикнул Пузырьков, —

тебе денежки нужны... Для народа потрудиться не хотите...

— Скажите тоже, стяжатель, — зевнула Люся, — человек с дипломом в этой лавочке сидит.

— Вы дура, — тихо и назидательно сказал Пузырьков. — Ты должна понимать, что диплом — это украшение. У меня нет диплома, а я — крупный спец.

— Это я дура?

— ...и я тружусь на благо, потому что людям нужно, чтобы их увековечили...

— Это я дура?

— ...лучше бы вы не приставал ко мне с глупостями...

— Жора свидетель, что вы меня обозвали? Я в суд на вас подам...

— Подай, подай. И шубу нейлон первый сорт туда отнеси. И колечко...

— Как вам не стыдно, — сказал Жора, — жизнь и так сложна, а вы...

Но у Люси бежали слезы. Одна, прозрачная, повисла на кончике носа. Пузырьков выбежал из фототелье. Клиентов всё не было. Тогда Люся сказала, улыбнувшись:

— С ним круто нужно, а то он сразу докладную писать станет.

И тут произошло чудо. Зазвонил телефон, просили Пузырькова, Люся сбегала за ним. Он говорил долго, прикрываясь рукавом. И всё же был виден краешек его лица: щека, лоб, покрытые потом. Потом он аккуратно положил трубку. Сел.

— Вы понял? — сказал никому. — Теперь вы можете уходить. Я тоже ухожу. Я ухожу на повышение. Пока вы тут размахивал руками и кричал о всяких ракурсах, я ушел на повышение. На сорок рублей больше, и никаких консультаций.

— Поздравляю, — сказала Люся.

— Куда же это? — спросил Жора.

— Ооо, — сказал Пузырьков, — высота!

— Нас-то не забывайте, — сказала Люся.

— Не забуду, — сказал Пузырьков и забегал по ателье, — не забуду.

— Так закончилась эпоха Пузырькова, — сказал Жора.

— Шути, шути, — засмеялся Пузырьков, — мне сейчас не страшно. Мне сейчас песни нужны, смех и шутки.

Он действительно ушел, этот Пузырьков. Случилось то, что иногда случается. И двери известного Дворца культуры раскрылись перед ним, и кресло директора промялось слегка под его нетяжелым телом, и жизнь потекла своим чередом.

Потом Жора зашел к Пузырькову в гости. Ему было смешно идти туда и странно. И легкий озноб сопровождал его, пока он шел к директорскому кабинету.

Пузырьков стоял у окна, вцепившись в шторы обеими руками. Лицо его было испуганным.

— Случилось что? — спросил Жора.

— Высокий полет. Дух захватывает, — чистосердечно признался Пузырьков и спросил Жору: — Рожденный ползать летать может?

Жора засмеялся.

— Может?

— Может, может...

— Хочешь, я вас назначу главным администратором? — шепотом спросил Пузырьков.

— А искусство? — усмехнулся Жора.

— Искусство — ночью. Зато будешь получать... Три раза в неделю сможешь в «Арагви»... четыре раза... Хочешь?

— Нет.

— Свои люди нужны. Люся вот переходит руководить самодеятельностью...

— Она же не актриса, — сказал Жора.

— Руководить, — поморщился Пузырьков, — ру-

ководить. Объединять. А специалисты есть. Артисты там, танцоры, гитаристы.

И Пузырьков снова подскочил к окну и снова ухватился за шторы, и так молча смотрел на Жору, как на чужого. А Жора привычно нажал спуск аппарата.

— Запечатлел? — спросил Пузырьков. — Нашел ракурс?

Когда дома Жора глянул на проявленную фотографию, ему стало жаль Пузырькова. И тогда же, в тот вечер, он принялся увеличивать вторую фотографию, с которой смотрела на него маленькая девочка со злым старушечьим лицом. Он провозился с работой несколько дней. Дело шло к концу. Но вот этот сегодняшний приход Потехина! И Тани нет... А если она все-таки придет? Что теперь говорить? Теперь, когда всё уже проявилось? О чем говорить, когда и без слов всё ясно? И что можно сказать? Таня, если ты... вы... ты... Если ты понимаешь, за чем же дело стало? Вот я весь перед тобой, смешной, тридцатилетний. Вы не можете себе представить... Ты не можешь себе представить, как много для меня, когда ты сидишь рядом и смотришь на меня, и горькие складочки у твоих губ разглаживаются странно. Горькие складочки, которые ты носишь с самого дня рождения, а потом они становились всё глубже и глубже...

За стеной в комнате Сытова пробили часы. Десять раз. И одновременно раздался звонок в дверь. Жора кинулся открывать. Сначала он не узнал маленькую женщину, вставшую перед ним на пороге. Потом, когда она шагнула на свет, он вспомнил. Он увидел ее лицо и вспомнил: однажды в темном коридоре Таниной квартиры она мелькнула перед ним вся в белом и удивила его своими глазами, полными слез.

— Аа, это вы?

— Это вам, — сказала она, подавая сложенный листок бумаги. — Это Таня просила передать... — и при этом очаровательно улыбнулась. У нее была такая

улыбка, про которую Пузырьков говорил: «Судьба», а Жора считал ее признаком духовной расхлябанности. Она некрасива и хочет запретить думать об этом. А может быть, это от наглости? А может быть, от самоуверенности? Впрочем, какая самоуверенность?..

— Пригласите меня в комнату, — приказала она, — я подожду ответ.

И пошла к двери.

— У меня там черт знает что... — сказал Жора.

Но она уже ходила по его пятнадцати квадратным метрам, осматривая стены и мебель, словно должна была купить эту комнату.

— Стул почему-то посередине, — сказала она и отставила стул к стене.

— Вы читайте, читайте...

И она прикрыла одеялом разворошенную Жорину постель и при этом пожалала плечами.

«...Простите, что я не пришла, как обещала. Зато Он был. И Он, наверное, всё сказал. Всё это очень глупо и стыдно...»

— Вы можете пока посмотреть эти фото, — сказал Жора.

— Меня зовут Вера.

Жора кивнул.

«...Вера может передать мне ответ. Ей можно доверять. Она в курсе моей жизни...»

Курс жизни... О, как уже серьезно! Есть от чего заболеть сердцу... Курс жизни... Курс корабля... Курс любви... Курс акций...

— А вам самому это нравится? — спросила Вера.

Она разглядывала руки Пузырькова, и глаза ее были полны слез.

Неужели это так впечатляет? Вся эта придуманная, искусственная жизнь, запечатленная на клочках глянцевой бумаги, в которую он перестает верить — так она поверхностна и неподвижна.

— Вам самому нравится?

— Нет.

— Вы хотели всю жизнь изобразить с помощью вот этих штук?

— Я не с того начал, — сказал Жора, словно извиняясь, — теперь я знаю, что нужно делать...

— А Таня говорит, что вы гений...

И она продолжала вышагивать по комнате, уверенно переставляя тонкие стройные ножки. Когда она поворачивалась к Жоре, он видел на лице ее интерес, даже благоговение, но в профиль лицо ее выглядело насмешливым, и Жора никак не мог понять: смеется она или восхищается.

«...Мне все-таки необходимо с Вами увидеться. Если Вы согласны, подойдите к двенадцати к моему дому. Это безопасно...»

— Вы подруга Тани? — спросил Жора.

— Ну что вы, — усмехнулась Вера, — мы не можем быть подругами. Мы по-разному воспринимаем жизнь.

И она снова отвернулась к стене, и снова едва уловимая насмешка мелькнула в уголках ее рта.

— Я ее соседка, — сказала Вера. — Соседка по коммунальной квартире... Что это должно значить?

— Что?

— Вот эти сапоги.

— Обыкновенные солдатские сапоги.

— Для чего же вы их сфотографировали?

Жора вдруг почувствовал, что он и сам не может объяснить, для чего ему эти сапоги. Все вдруг вылетело из головы, стало маленьким и смутным... И эта маленькая женщина, неужели она не смеется? Она продолжает спокойно ступать по комнате, она кружится, как вечерняя бабочка, случайно залетевшая на огонек, и расстачает усмешечки как комплименты. Но странно, Жору не беспокоило это легкое покалывание, если это было покалывание, словно она говорила с ним его языком. И

всё померкло вдруг: и ателье, и замысел, и письмо отца, и сомнения...

— Это взяточник? — спросила Вера.

Руки Пузырькова тянулись к ней со стены.

— Это тоска, — пошутил Жора.

— Ну какая же это тоска, — спокойно не согласилась она, — это взяточник. Всё ясно... Только зачем это?

И Жоре стало внезапно легко и просто. Действительно, зачем это? Ей это не нужно, Пузырькову тоже, Птичкиной тоже...

— А вы любите Таню? — спросила Вера.

— Начинаются проклятые вопросы, — засмеялся Жора. — Она моя заказчица. Какая уж тут любовь...

И ему захотелось подраться с Потехиным, загнать его в угол, спросить, прищурившись, тяжело дыша: «Ну что?»

— А вам не жалко Потехина? — спросила Вера.

— Чего мне его жалеть? У меня с ним дел нету. Мы не знакомы. Таня заказала мне...

— Я-то его не жалею, — сказала Вера.

— Очевидно, что-то есть в нем, если Таня...

— Вы проводите меня?

Они вышли в коридор.

— Что передать Тане?

Жора замялся. Он никак не мог сформулировать свое согласие.

— Ну, что вы молчите?

Если сказать, что он согласен и рад, не прозвучит ли это слишком напыщенно? Снова увидеть, как мелькнула насмешечка?..

— Ну? Что же вы? Господи, как это невероятно... Скажите да или нет...

— Да, — сказал Жора.

— Да? — переспросила она, теперь уже явно усме-
хаясь.

— Да.

Она выходила спокойно, плавно переступила порог,
гордо, как аист. Глаза ее были полны слез.

АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН И ДРУГИЕ

— Ни с кем еще я не была так подобострастна, как с тобой, — сказала Таня. — Или я в самом деле влюбилась в тебя? И я всё тороплюсь, тороплюсь, как будто это должно исчезнуть... Всего лишь неделю, а кажется, что мы давно вместе... Он молчит. Он всё знает. Я не говорю, но он всё знает. Впрочем, это меня не заботит. Но ты, ты... Ты как? Ты что? Я нужна тебе, да? Господи, я ни с кем так не говорила...

— А как?

— Вот так.

И она изобразила на лице пренебрежение и высокомерие, и еще что-то, не имеющее названия, женское, защитное.

— Я нужна тебе?

— Мне хорошо с тобой.

— Ты думаешь, мне нравятся твои глаза?

— Я этого не думаю, — засмеялся Жора.

— ...А может, это не влюбленность, а любовь?

— Какая разница?

— ...и лень, какая-то чудесная лень... Больше ничего не нужно. Пусть всегда будет так. У меня ведь никогда не было т а к .

— А с ним?

— Нет, нет.

— А в первый день?

— Я была ему благодарна.

Она смотрела на него внимательно, словно впервые видела. А Жора сидел у окна, чуть сутулясь. И чувствовал этот взгляд. И слегка шевелил головой, плечами, словно подставляя под этот взгляд то щеки, то плечи, то руки.

...В тот вечер, точно в назначенное время он подбежал к ее подъезду. И слышал, как сказал Потехин:

— Пожалеешь, Таня.

Потом по деревянной лестничке застучали ее каблуки.

«Не пожалеет», подумал Жора...

— ...Все произошло слишком стремительно, — сказала она. — Тогда я бежала к тебе, а сама думала: « Попрошу ускорить увеличение фотографий. И всё должно быть в высшей степени пристойно... Я тороплюсь. Деньги я занесу завтра. Обстоятельства сложились так, что я должна торопиться...» А сама посмотрю в твои глаза, украдкой, чтобы ты ничего не заметил. Ты знаешь, а ведь я не такая уж взрослая. Я это сегодня обнаружила.

— Как ты смотрела на мужчин?

Она опустила уголки полных губ, глаза похолодели, голова откинулась.

— Вот так.

Жора засмеялся.

— А со мной тебе хорошо?

— Ты знаешь, мне хочется стать перед тобой на колени. Это, наверное, недопустимо в наш просвещенный век, но мне хочется... И мне совершенно не стыдно.

— Стань, — сказал Жора.

И она стала. Легко и стремительно. С радостью на лице. И вдруг застеснялась и уткнулась лицом в его колени.

— Как странно, — сказал Жора, — это ведь я должен был стать перед тобой. Всё перепуталось.

— А ты меж тем грустен, — сказала она, — и я не знаю, как тебе помочь, и это меня мучает... Послушай, давай выйдем из этой комнаты. Там солнце.

Они вышли. Улица была шумна и солнечна.

— А все-таки как стремительно приближается осень, — сказал Жора, — уже падают листья, подходит к концу мой смешной и нелепый отпуск.

— Разве можно так грустить? — удивилась она.

— ...Однажды я посмотрел на самого себя с большой высоты. Это случилось недавно. Оказывается, я такой маленький и тщедушный... ну что я могу?

— Просто ты испугался, — сказала Таня. — Не может ведь всё получаться сразу.

— А что, если я великий художник? Или — великий писатель? Только мне об этом неизвестно...

— Один мой знакомый собирает открытки. Он говорит, что это приятней, чем читать передовицы газет.

— А что, если в нем погиб великий математик?

— Или великий пекарь... — засмеялась она.

— Я чувствую себя жалким и робким, — сказал Жора, — кто научил меня этому искусству — не доверять самому себе? Просто я не оттуда начал, я не так пошел. Я понимаю теперь. Теперь я всё буду делать иначе.

...И в это же самое время Александр Потехин сажился впервые в персональный автомобиль.

— Надо бы обновить, — сказал он шоферу смущенно.

— Обновляйте, — не поворачивая головы, отозвался шофер, — куда поедем?

«Угрюмый какой, подумал Потехин, и грубый...»

— Пока прямо, — приказал он.

И тут же подумал о Тане. Она, наверное, с этим длинным своим любовником. Как волка ни корми... Но он, Потехин, спокоен. И откуда это спокойствие?

— Всё равно придет, — сказал вслух.

— Прямо? — спросил шофер.

Он только кивнул в ответ. И тут же увидел Таню. И даже обрадовался, что его предположения оправдались. И озорная мысль затрепыхалась, как воробей в кулаке. Он обогнал их. Остановил машину и вышел.

— Прощу, — сказал, улыбаясь. И тотчас ступешался. Но Таня приняла вызов.

— Может быть, действительно проедемся? — спросила Жору.

Жора пожал плечами. Говорить было трудно. Потехин заторопился. Он усадил Таню, сел рядом, предложил Жоре место рядом с водителем.

Машина тронулась в молчании.

«Как он благороден», про себя усмехнулся Жора.

«Глупая затея...» — недовольно поморщился Потехин.

«Теперь всё равно», подумала Таня.

Они ехали на Выставку, чтобы пообедать в рыбном ресторане. Молчание становилось тягостным.

— Вот мои дома, — сказал Потехин.

Он указал на ряд пятиэтажных новых домов стандартного типа.

— Да, таких домов много теперь, — сказал Жора, чтобы что-нибудь сказать.

Ведь ничего не произошло. Ровным счетом ничего. О чем печалиться?.. Взрослые серьезные люди...

— Говорят, в них жить неудобно, в этих домах, — сказал Жора.

— Неправда, — сказал Потехин.

— Говорят...

— Я в это не верю, — сказал Потехин.

«Глупая затея, подумал он, — глупый разговор, глупые физиономии. И она молчит. Что она в нем нашла?..»

— Людям нужна красота, — нехотя сказал Жора.

— А это и есть красота, — строгость, — сказал Потехин.

— Я точно в таком доме живу, — сказал шофер, — очень неудобный дом. Слышимость, — и подмигнул Жоре.

— Я в это не верю, — зло сказал Потехин.

— Есть хочется, — сказала Таня.

Жора пожал плечами. Потехин умолк. Рука его

лежала на спинке переднего сидения. Она даже побелела, так напряглась.

«Как он волнуется, подумала Таня, как ему тяжело. Зачем он всё это устроил? И разве он виноват, что ему поручают строить такие дома?..»

Потехину захотелось спросить: «Ну, ты пойдешь с ним или со мной?» Но не решился. Потом он подумал, что если даже она встанет и пойдет с ним, с этим долговязым фотографом, ведь такое может быть, от нее всего можно ждать... Так вот, если даже она пойдет с ним, он так возьмет себя в руки, так спокойно и учтиво раскланяется, так мило скажет им: «Заходите...», что это будет как оплеуха...

И он еще крепче вцепился в спинку сидения. И Танина рука мягко коснулась его руки, так, что он даже всхлипнул тихонечко.

Зачем, зачем всё это?.. Кому это нужно?..

...Какая сила заставила Жору доехать до ресторана, встать, пройти к столику как ни в чем не бывало, он не мог объяснить. Они сидели над самым прудом. Молча. Синеватые жирные карпы сновали под водой у самой поверхности. Когда им бросали хлеб, они почти выбрасывались из воды, гнались за ним, настигали, рвали друг у друга и при этом сопели и чавкали как свиньи, а Жоре слышался даже стон. Может ли рыба стонать? Господи, это та самая прекрасная рыба, которая так хороша жареная, так достойна в иллюстрациях «Мира животных»? И это она ворчит и чавкает? И если бы ей зубы и пошире пасть, она рвала бы глотки своим соплеменницам?..

Они сидели над самой водой. Молчали.

— Как долго не несут, — сказал, наконец, Потехин.

...Я сидел по соседству, и мне хорошо были видны их лица, но я сидел так, чтобы не выглядело бестактным мое внимание к ним. Я не слышал их слов, только видел лица да губы, нехотя шевелящиеся.

Потехин вертел в пальцах вилку и делал это до-вольно искусно. Таня скатывала хлебный шарик. Жора швырял корочки карпам и при этом поеживался. Вот так же, не переставая вертеть вилку, Потехин что-то произнес, и тотчас Жора забыл про карпов и попытался подняться. Танина рука лениво легла ему на плечо, и он сел снова. Синие глаза его словно потускнели, и лицо выражало растерянность, недоумение, неловкость. Затем принесли еду. Столик оказался тесным. Пока официант расставлял блюда, они молчали. Потехин разлил водку. Он улыбался и смотрел всё время на Таню. Так же молча они выпили. Затем еще. И еще. Потом Жора размахивал руками и что-то доказывал, Таня смеялась невесело, Потехин показал Жоре шиш и, протягивая руку, опрокинул графинчик. Таня ударила его по руке...

— Не верю, — очень явственно произнес Потехин.

— Да замолчи же, — сказала Таня.

— Ты думаешь, тебе всё можно? — спросил он у Жоры.

— Я фотограф, — засмеялся Жора.

— Не смей над ним смеяться! — прикрикнула на него Таня.

— Знаем мы вас, — сказал Потехин, — сами не дураки...

Жора поднялся со своего стула и чересчур аккуратно пошел меж столиками. Потехин качал головой и смотрел в свою тарелку. Таня пыталась его растормошить.

Жора шел пешком через весь город. Пока он шел, небезызвестная Птичкина входила в обширную приемную влиятельного лица.

Миловидная секретарша предложила подождать, а сама пошла докладывать. Птичкина села в кресло, развернула на коленях веер Жориных фотографий, стала набираться мужества. Это стоило ей немалых усилий. Ибо Птичкина была человеком честным, но мужеству было тесно в ее хрупком и небольшом сердце. Этот че-

ловец, к которому она вошла, был, как она слышала, немногословен, любил краткие формулировки, не терпел словесной воды... Она вошла к этому человеку, поджав губы, стараясь не опускать глаз. Он очень тепло приветствовал ее. Он уже знал, о чем пойдет речь. Ему нужно было посмотреть фотографии, чтобы кивнуть головой, и чтобы после этого гостеприимно раскрылись двери выставочного зала. И тогда неукротимая фантазия этого синеглазого мужчины...

Он рассматривал фотографии, а она, стараясь смотреть ему прямо в глаза, давала пояснения.

— ...так год за годом, сквозь муки и праздники... Не обычным путем, а как бы полутонами, психологической характеристикой. С этого начнется.

Она ткнула пальцем в фотографию Викентия Трубникова. Комиссар смотрел на этого человека не очень доброжелательно.

— ...потом война, — торопилась Птичкина, — потом мир, и снова война... и опять...

— Вам нравится это? — спросил он.

— У американцев... — начала было она.

— Ну, то у американцев, — сказал он.

— Но там человечество вообще, — возразила она, — а здесь мы, со всеми, так сказать...

— Неужели вам нравится это? — снова спросил он.

— Нет, — сказала оробев Птичкина, — не совсем... — и даже обрадовалась, что так быстро пришлось сдаться.

Он засмеялся.

— Если я покажу это товарищам, — сказал он дружелюбно, — они будут смеяться.

— Не надо, — попросила она и потянулась за фотографиями.

— Почему у вас всегда всё так мрачно? — спросил он.

— У кого? — не поняла она.

Он снова засмеялся.

...Было уже сумеречно, когда Жора добрался до своего дома. Хмель прошел. Осталось ощущение обиды. На лестничной площадке, у самой двери он увидел Таню. Она пошла к нему медленно, осторожно, не дыша.

«Теперь она будет просить прощения, подумал он, клясться, объяснять, как она несчастна...» Лицо ее было помято, от нее пахло водкой. Он захотел назвать ее предательницей, но потом раздумал.

Хоть бы только не каялась, хоть бы только не врала...

— Я жду тебя больше часа, — сказала она.

— И что же?

— Я хотела сказать тебе, что мы больше не увидимся. Всё это были одни глупости...

Ему даже показалось, что она смеется, но лицо ее по-прежнему было бледно и неподвижно, и даже печально.

— Я не могу сейчас ничего объяснить, но это свыше моих сил... Мне жалко его... Я ему многим обязана... Столько лет ради меня он добивался новой квартиры!.. И вдруг...

Ему захотелось обнять ее, поднять на руки, унести к себе и не отпускать.

Она стояла совсем вплотную к нему, так, что он даже ощущал тепло, легкое тепло, исходившее от нее. На верхнем этаже хлопнула дверь.

— Пойдем ко мне, — попросил он.

Она пожала плечами.

Тогда он открыл дверь.

— Пойдем...

Она покорно пошла в квартиру.

Он запер дверь комнаты. Света не зажег. Подошел к ней. Обнял ее судорожно. Ему хотелось крикнуть что-нибудь печальное, громкое...

— Пусти, — сказала она, — не надо.

И стала раздеваться.

— Я слабый человек... я не могу уйти от него... — сказала она, швыряя на стул одежду. — Он много мучается... это я во всем виновата...

Потом наступила тишина.

— Ну, где ты там? — спросила она как из колодца.

КАТЕРИНА ТРУБНИКОВА И ДРУГИЕ

После увеличения с лица девочки, стоящей на пепелище, исчезло злое старушечье выражение. Морщинки даже как-то разгладились, и глаза даже посветлели. И теперь в них была скорбь, не более. И лицо ее, в натуральную величину, казалось чуть расплывшимся. Но явственнее проступили слабые контуры детского, что и должно было быть в этом лице: ну там — ямочки на подбородке, если вообще могла быть ямочка на голодном теле, ну там — совсем детская нижняя губа и тонкие, словно выщипанные брови... Но уж во всяком случае она не плакала после того, как мордастый фашист, равнодушно сфотографировав ее, дал ей пинка... А может быть, он и не дотронулся до нее, а даже дал ей шоколадку, или даже приласкал и вспомнил своих девочек, и даже прослезился, а может быть, он вообще был прекрасен и добр, и лишь печальные обстоятельства увели его прочь от родного дома, туда, где ему предстояло жечь и давать пинки... Но у этой девочки так рано легла морщинка. И это уже потом она разгладилась. Но тут же проступила вторая. Потому что уж так ей повезло, что одно — за другим, одно — за другим...

Затем Жора поставил две фотографии рядом: фотографию комиссара Трубникова и эту. Но Викентий Трубников не узнал дочери. Он не думал, что у него такая дочь: маленькая голодная девочка среди пепелища. Он думал, что уж если будет дочь, то будет как праздник на зеленом лугу, и у нее — сачок в руке, и бабочка, и смех... А после — еще прекраснее, а после... Он думал, что будет так, если вообще будет. Так он думал, если вообще думал об этом, вглядываясь в степь.

Но в ту минуту дочери он не узнал, так как рядом

с ним, срезанная фотоаппаратом, стояла Катерина, и он сказал ей тихо:

— Прости меня, Катя... Я ведь не виноват, но ты прости.

Она ничего не сказала, только сделала рукой вот так, словно смахнула со лба волосы. Точно так она сделала накануне, когда всё это произошло.

После того, как полк ворвался в скучный волжский городок, уже не было надобности продолжать рубку. Но кони несли, клинки словно сами вращались над головами, и пулемет бил с тачанки куда-то вперед, без цели... И не было сил остановиться. И Викентий Трубников размахивал маузером и что-то кричал, а что — он не мог вспомнить. Это было что-то от страха, от неистовства, от жалости, от детства. И когда он видел погонны бегущих белогвардейцев и их спины, его рука сама собой вытягивалась вслед им, и палец нажимал на спуск... И уже после, на самой окраине городка, Семенов круто развернул тачанку, и по пустынной улице, отделившись от забора, вдруг побежал, прихрамывая, грузный невысокий штабс-капитан. И Трубников выстрелил ему вслед, но промахнулся. А штабс-капитан продолжал бежать, смешно подпрыгивая как заяц, и комиссар, не отдавая себе отчета, соскочил с тачанки и побежал за ним вслед, и стрелял на ходу, и не мог попасть, и всё больше и больше распалялся. Штабс-капитан был, вероятно, ранен. Он хромал всё больше и больше, и Трубников настигал его. Вот уже показался конец улочки, а за ним — ровное поле, а дальше — лес... И тут штабс-капитан споткнулся, и фуражка слетела с его головы. Трубников был уже совсем близко. Перед ним закачалась непокрытая голова с большой круглой лысиной, обрамленной седым нимбом. Потом случилось самое невероятное: штабс-капитан резко повернулся, взмахнул руками и упал на колени, и пополз к комиссару. Трубников стоял неподвижно, уставив маузер прямо в старческое лицо офицера. А тот всё полз и

полз. И Викентий Трубников закрыл глаза и тут же услышал, как кто-то крикнул: «Не надо!», и нажал спуск, и открыл глаза. Штабс-капитан ползал по земле, словно устраивался поудобнее, потом затих. Рядом стояла Катерина, прикрыв ладонью рот. Она словно и не бежала следом, она словно выросла из земли.

— Как же это?.. — тихо спросила.

Подъехал Семенов. Широко улыбнулся.

— Допрыгался, — сказал штабс-капитану. — Стар-стар, а туда же...

— За что ж вы его? — спросила Катерина.

Трубников махнул рукой и пошел прочь. И тогда-то вот Катерина откинула волосы со лба, вернее сделала похожее движение, а Семенов сказал:

— Чудная ты какая-то: восемь месяцев с нами, а понять не можешь.

И потом уже, вечером, Трубников сказал тихо:

— Прости меня, Катя... Я не виноват, но прости меня...

Она сидела у окна. Бледная, худенькая, деревенская.

— Ты ведь жена моя, Катя, — сказал комиссар и посмотрел на нее с недоумением, как-то по-журавлинному.

— Крови много, — сказала она.

— Разве это кровь? — сказал Трубников и понял, что сказал не то. И подумал, что вот в следующем бою его непременно убьют.

Он подошел, обнял ее, погладил смуглые цыганские руки.

— Зато любовь у нас какая, а?

— На крови-то?

— Ну не надо об этом...

— Сколько ее, крови-то...

— Это враги, Катя.

— А Зуева убили...

— А он врагам продался.

— Живоде́ры вы все, все... живоде́ры вы... — сказала она и заплакала.

— Катя, — говорил он и гладил ее по голове, — Катя, Катя... Война ведь какая происходит.

— Один раз понравится, еще раз захочется, — сказала она.

— Ты непротивленка какая-то, — сказал комиссар, сердясь.

...Теперь в комнате у Жоры не было ни одной фотографии, кроме этих двух. Но в этих была такая бездна всего, что трудно было к ним подступиться. И он никак не мог понять, какая связь между этими двумя пепелищами. На одном — один утверждал новое, и на другом — другой его оплакивал. И Жора подумал о том, что он поступил правильно, сняв всё остальное, ибо всё остальное брало начало здесь, в этом доме, где царит благополучие, пусть хоть внешнее, а это началось с пепелищ, с крови, с пинков... Вот почему так много непонятного было в лице комиссара, вот почему на юношеских щеках покоились беспокойные морщинки... Не без причин, не без причин. Он словно всматривался не просто в степь, где скакали враги или куда уходила Катерина, а в себя самого, в тот день, когда в нем загорелась первая искорка, и в тот день, когда в нем созрело первое решение, и в тот день, когда Катерина возникла как из-под земли над убитым штабс-капитаном и смотрела в глаза Викентию Трубникову, словно она и была-то его сомнением, которое тоже зародилось на крови.

— В этом и прелесть! — воскликнула однажды Птичкина, всплескивая руками. — Чем труднее, тем больше счастья...

«Почем тебе знать, что труднее», подумал Жора учтиво.

Пришло письмо от Тани. Он долго не вскрывал конверта. На нем был изображен летящий среди звезд спутник. Письмо просматривалось на свет. Оно было небольшое.

«...Я расписываюсь в собственной слабости... Я даже любила тебя, оказывается, банально. А ты так прекрасен и так ненадежен! Это не для меня, не для меня... Прощай, мой фотограф!.. Может быть, во мне и сентиментальности-то хватило лишь на это вот «прощай». Если бы я была сведуща во всем, как Вера, и так же как она холодна, может быть, мне бы и повезло идти с тобой хоть к черту на кулички... Что это во мне? Моих ли предков неустроенность или просто каприз? Или просто слабость? Или просто глупость?..»

— Ого, — сказал Жора, — долго ей, наверное, пришлось придумывать эти утонченные построения.

Но его «Ого» прозвучало печально в его устах. Был день, когда он, сгорая, запечатлевал руки своих соотечественников, пришел день, когда этого показалось мало и понадобилось увидеть глаза, и наступил день, когда и этого показалось мало.

«...Вы все мечетесь. Быстро-быстро. Мучаетесь и ничего не можете объяснить. А как же мне? И предложить вы ничего не можете... А как же мне?.. А он по крайней мере вот он весь как на ладони... И напрасно ты смеялся над ним. Он строит то, что ему приказывают... Он бы рад — другое, но ему приказывают...»

«А вдруг она придет сейчас?» подумал Жора. И он представил себе, как она войдет, и полные ее губы будут полны улыбки, и она скажет: «Ну стóит ли обращать внимание на эту писанину?» И вырвет письмо у него из рук и порвет его... А потом всё будет как прежде.

И он услышал стук. И вскочил. И тут же понял, что сам постукал по столу костяшками пальцев.

Тогда он встал уже медленней и решительней и засучил рукава. Работа — вот что должно занимать его голову, руки. Мало ли что случается на свете! Всему придавать значение?.. Таню ждет новая квартира. Пусть она собирает вещи. Он не винит ее. Жизнь складывалась так, что нельзя пренебрегать этим. Он это

понимает... Но если бы она пришла... Он теперь понял, чего ему не хватало. Он перестраивается. Довольно нам лили помои на голову... И все-таки как мало он умеет... Но если бы она пришла...

...А девочка на пепелище продолжала печально всматриваться в свое будущее. Откуда она могла знать, что там у нее за спиной? Маленькая сжавшаяся детдомовка, ждущая, что ее пнут, растерявшая своих сверстниц. Но если бы она могла взглядеться в прошлое, даже не в свое, а в прошлое давнее, она бы увидела, как Викентий Трубников вышел из вокзала и пошел по улице, запахивая прожженную шинель. И был дождь пополам со снегом. И Москва двадцать третьего года. И где-то на Арбате жила деревенская девушка Катерина и даже не предполагала, что у нее когда-нибудь родится дочь, и что ее назовут Татьяной.

Так пешком Трубников и прошел от Курского вокзала до четырехэтажного дома, в котором жила его жена, покинувшая комиссара по «принципиальным соображениям». И я не хочу сейчас вдаваться в подробности. В конце концов им жить вместе, им и выяснять отношения. Но я, во всяком случае, всегда был уверен, что размолвка эта — временная, ибо какой смысл мне было связывать их, если любовь должна была так скоро погаснуть. Э, нет. Есть ведь явления противоположные, а существуют рядом, даже вместе, и ничего, и даже больше того — процветают.

И Викентий Трубников взбежал по лестнице и позвонил, и Катерина вышла ему открыть. Она не ахнула, не всплескивала руками. Сказала: «Ну здравствуй же!..» и уткнулась ему в плечо.

О том, что произошло, они не говорили. Он сидел за столом, пил чай. Настоящий. И даже с овсяным печеньем. И старался держать печенье большим и указательным пальцами, а не в горсти.

— Что ж молчишь? — спросила она.

Но он молчал и пил чай. Она выходила, входила снова. Что-то приносила, уносила обратно на кухню. А он пил чай и ел овсяное печенье.

— Что ж не расскажешь ничего? — снова спросила она.

— Стесняюсь, — сказал он и улыбнулся. — Ты стала такая важная. Повзрослела, что ли?

— С вами повзрослеешь, — сказала она. И снова вышла.

Трубников знал, что выпало Катерине, когда они расстались. «Катя, Катя...» — твердил он ночами. И видел ее уже не девочкой с заброшенного хутора.

— Катерина-то, рассказывают, в Москве женщинами командует, комнату получила, — сказал однажды Семенов.

— Да? — удивился комиссар. Но это только внешне, а табак просыпал и новую самокрутку свернуть забыл.

— Откуда тебе известно?

— Рассказывают, — усмехнулся Семенов. — Женщинам воевать нельзя.

— Нравится тебе комната моя? — спросила Катерина.

— Нравится, — сказал Трубников.

— Останешься или кровь пойдешь проливать?

— Конечно, останусь. Куда же мне? Я ведь к тебе ехал.

Она принялась стелить постель на узенькой кушеточке у окна.

— Ты это кому стелишь? — спросил Трубников.

— Себе, — сказала она, не обернувшись.

— Да?..

— А тебе — на кровати...

— Да?..

— Четыре года — срок большой.

— Может быть, мне лучше в гостиницу? — обиделся Трубников.

— Как хочешь, — сказала она. И комиссар увидел, как дрогнули губы у нее.

— Ну ладно, — сказал он, — я ведь так, Катя... Я ведь к тебе ехал, не к кому-нибудь.

Он знал о ее делах. За четыре года она многое прошла. Но камешек, который кинул он когда-то, кинул-то он. И очень она, конечно, изменилась. Это Трубников видел. И может быть, лишь в походке угадывалась прежняя Катерина, да в плавном движении рук.

— А ты постарел, — сказала она. И потом говорила еще всякое, что говорят в таких случаях. А он слушал, кивал головой, ел овсяное печенье, улыбался, хмурился...

Однажды они возвращались вместе. Откуда, уж и не помню. Он — в своей прожженной шинели, она — в ватной стеганке. И маленькие ноги ее были в солдатских ботинках, так как в них было теплее. А была зима. Февраль. И мороз жёг. И они поравнялись с освещенным подъездом модного у непманов ресторана на Арбатской площади. И тогда Трубников по-мальчишечьи улыбнулся.

— А зайдём, посмотрим, как непманы веселятся?

И тогда Катерина согласно кивнула, хотя в кармане был рубль. И она вскинула голову перед носом оторопевшего швейцара, и они вошли в душный ароматный вестибюль.

Вот уж была потеха, когда гардеробщик оглядывал их. Но он и слова не посмел сказать: а вдруг чекисты... Пусть в ватничке, пусть в шинелишке... Хозяева... И они пошли в зал. Это был большой зал. Ярко освещенный. Просто удивительно, где успели раздобыть всё это добро. Было еще рано. Музыка не играла. Почти все столики были пусты.

Они уселись за угловой столик. И молодой официант бросился к ним. И в его стремительности не было ничего, кроме холуйского презрения к плохо одетым. И они это поняли. Викентий Трубников хотел было что-то

сказать, но Катерина мягко прикоснулась к нему ладонью. Тогда они заказали по кружке пива и горку соленых сушек.

— Пива не держим, — сказал холуй.

Трубников встал. Руки по швам. Как перед строем. И словно почувствовав недоброе в его движении, подскочил метр.

— Сейчас позвоню кое-куда, — отдельно сказал Трубников, постукивая пальцем по столу, — и всю вашу богадельню вместе с вами...

— Позвольте, товарищ, — сказал метр, — если что не так...

— Они пива просили, — сказал официант с испугом.

— Сейчас будет пиво, — сказал метр, поглядывая на выцветшие красные полосы на старой гимнастерке Трубникова, — для красного командира...

— Да поживей! — приказал комиссар.

Метр увел официанта. Через десять минут пиво было на столе. И соленые сушки.

Катерина смеялась грустно. Музыка не играла. Зал наполовину наполнился. Декольтированные дамы жаллись в противоположный угол. Да и кавалеры их тоже. И поглядывали оттуда на парочку полинялых комиссаров. Наконец, заиграла музыка. Но танцевать никто не шел.

— Пойдем отсюда, — сказала Катерина.

Но Викентий Трубников медленно пил пиво и всё ждал, когда же начнут танцевать. Потом он вдруг обратил внимание на руки жены. Они были красные, от морозов, что ли, или еще от чего-либо. И он сказал Катерине:

— Знаешь, есть мыло такое, от него руки белыми становятся. Я тебе достану...

Катерина снова засмеялась тихонечко, про себя почти.

— Пойдем, — сказал он решительно. И поставил

пустую кружку на стол. Так поставил, что в зале вздрогнули. Они долго одевались в гардеробе, как будто было что долго одевать. И через приоткрытую дверь смотрели, как жадно затапцевали застоявшиеся пары, как они прижимались животами друг к другу...

...Если бы эта маленькая детдомовка могла бы видеть то, что было у нее позади!.. Но она узнавала об этом впоследствии из рассказов и как всякую историю наделяла это услышанное материалом своей жизни и потому была к нему равнодушна.

А тут вошла Вера, вкрадчивая как всегда. Села рядом с Таней.

— Ты всё не знаешь, как тебе поступить?

— Это о чем?

— О нем.

И Таня вспомнила темную комнату, и шум полных машин за окнами, и нерешительные шаги Жоры.

— Нет, — сказала она, — я думаю о новой квартире. — И усмехнулась, — не могу же я не думать о ней: ведь это — моя жизнь...

И она вспомнила, как Жора медленно подошел к ней и коснулся ее плеч в темноте...

— Прости меня, Таня, — сказал он.

— Что ты, что ты, — прошептала она, — что ты... Я сама...

— Будет лучше, если ты уйдешь, — тихо, но жестко сказал он, — уйдешь...

— Он тебя прогнал? — спросила Вера.

И Таня вспомнила, как начала быстро одеваться. В темноте. Хватала вещи холодными влажными ладонями.

— Разве ты мужчина... — приговаривала, одеваясь, — ну и мужчина... ничего себе мужчина... — потом крикнула в темноту, надеясь, что это прямо в лицо ему: — Ах, какой гордый!.. Какой положительный!.. Черт...

— Он так и сказал «уходи»? — спросила Вера.

И Таня вспомнила, как она шла наощупь к двери.

— Прости меня... Прости меня... — говорил он и шел за нею.

— А ты всё на трамвайчике катаешься? — спросила Таня, словно ничего не произошло.

— Представляю, каково тебе было, — сказала Вера.

— Мы так давно с тобой не видались, — сказала Таня.

— Теперь осень ранняя. Листопад. Вожатому трудно. В глазах пестрота, рельс скользкий... Ты, по-моему, не любишь его, Татьяна, а?

— Как бы мне фотографии свои получить от него... Ведь не идти же самой за ними.

— Погляди-ка, какие у меня ладони... — сказала Вера, — сплошные мозоли...

— ...Если письмо послать... — сказала Таня, — вдруг что-нибудь подумает, а?

— Интеллигентка я или нет? — спросила Вера, прищурившись, и выскользнула из комнаты.

И Таня вспомнила, как она бежала по лестнице вниз, на ходу просовывая руки в рукава кофточки.

ВЕРА И ДРУГИЕ

Трамвай тряс красными боками. Маленький подъем взять было невмоготу. Колеса прокручивались. Пассажиры дивились. Кондукторша поругивалась. Вагоновожатая смеялась. Потом, подрожав еще немного, трамвай вскарабкался на подъем и остановился.

Внизу лежала Трубная площадь.

— Возле Трубной подъем трудный, — сказала Вера. Она выглянула из кабины. Пассажиры молча вываливались на остановку. Они проходили мимо нее, делая вид, что и не такое видали.

— Думала — не вытянем, — крикнула Вера кондукторше.

— Надо не думать, а учиться, — сказал старик с первой скамьи, — поручают семиклассницам людей возить...

Вера выглядела старше своих лет в форменной помятой курточке. Но старику в его возрасте было, очевидно, уже всё равно: четырнадцать или двадцать...

Из-под беретки у Веры выглядывали светлые колючие волоски, и губы были растянуты в очаровательную улыбку, но старику, видимо, было неприятно видеть это улыбающееся лицо, и он отвернулся в окно.

Трамвай побежал по бульвару к Кировским воротам.

Пестрые осенние листья летели навстречу. Они радостно хлопывали по красным бокам трамвая, влетали в распахнутые окна, ложились устало на колени пассажирам.

Пассажиры ахали, подхватывали листья, пристраивали в петлички, дурачились, млели, разглаживали,

поглядывали друг на друга улыбаясь. Было приятно как получить подарок.

И Вера смотрела на них, как на детей, резвящихся в свое удовольствие. И ей казалось, что они с сожалением покидают свои места, выходя на остановках. И она была горда за себя и за красную коробку трамвая, что они сумели потешить угрюмых пассажиров.

И Вера подумала о том, что она, как Бог, сидит на своем облаке. И всё, что происходит там, внизу, на земле, ей хорошо видно в маленькое ее зеркало. Вот так смотрит она, сама не видимая никем...

Потом, уже почти в конце пути, в трамвай вошел Жора. Вера узнала его сразу. И почему-то тут же подумала, что вот как хорошо, что ее смена подходит к концу...

А Жора стоял рядом с ее кабиной. И губы его были поджаты. И старенький черный свитер на нем был прежний. И он, видимо, разглядел ее и вспомнил, потому что просунул голову в кабину и сказал «здравствуйте».

— Я вас сразу узнал, — сказал Жора. — Потому и сел в этот вагон.

— Я счастлива, — сказала Вера и усмехнулась.

Потом они помолчали. Потом Вера спросила:

— А почему вы не приглашаете меня к себе домой?.. Посмотреть фотографии, например?..

Что было отвечать? Она может на смех поднять. Эта девица...

— Я теперь снова работаю, — сказал Жора. — Теперь я этим не занимаюсь.

— Не хватило терпения?

— Знаний, как говорят...

«Он кинооператор», вспомнила она. И снова усмехнулась.

— А почему бы вам не снять меня, например?

Жора ничего не ответил.

— Ну что, хорошо? — в первый день спросила

соседка. — Хорошо тебе?.. Другие в институты там идут, замуж выходят... Хорошо тебе?.. В трамвай пошла...

— На трамвай, — поправила Вера.

— Как же не стыдно-то тебе! — сказала соседка.

— Хочу везу, хочу высажу, — усмехнулась Вера.

— Командовать больно любишь, — сказала соседка. — Эх ты!

— Все любят командовать, — сказала Вера. — Не я одна такая...

— Трамвай ползет как черепаха... Помните, такая песенка была? — спросил Жора.

— Я могу и быстрее. Только не говорите под руку.

— А я раньше думал, что вы — математик или зоолог...

— Вы так внимательны.

— Хорошо на трамвае? — спросил он.

Она засмеялась, досадливо повела плечом, не ответила.

Потом оказалось, что Жора остался в вагоне один. Трамвай шел в парк.

— Куда вы меня завезли? — спросил он.

— Я думала, что вам приятно, — усмехнулась Вера.

— Мне же работать!

— Езжайте в такси... Это так модно.

Она остановила вагон...

— Мы снимаем недалеко отсюда, где новые дома... Приходите посмотреть, — сказал Жора.

«И приду», подумала она.

Потом, уже сдав смену, она завернула за угол и пошла к новым домам.

Но из-за поворота вышел Жора.

— Аа, — сказал он, — сегодня мы кончили. Погода. — И он ткнул пальцем вверх.

Они стояли на углу, когда Жору окликнули. Вера

увидела невысокого человека, который торопливо бежал к ним.

— Познакомьтесь, — сказал Жора. — Это товарищ Пузырьков, специалист по кино. Прислан поучать нас...

— Пузырьков, — выкрикнул человечек, протягивая руку Вере.

Вера подала ему два пальца.

— Вы делаешь совсем не то, Жора, — сказал Пузырьков. — Снимать надо как есть... Натура... Личность...

— Вот как? — удивился Жора. — А я хочу, как получше.

— Фокусы, — сказал Пузырьков.

Он все время смотрел на Веру. Лицо его было не без приятности и не слишком круглое, каким оно показалось сначала. И мохнатые резкие брови красиво висели над глазами, и полные губы были красны, понаторевшие, видимо, в любовных переделках.

Он все время смотрел на Веру. Она хмурилась.

— Ну ладно, Пузырьков, — сказал Жора, — идите налаживайте, учите... А мы будем учиться...

— Вечером «Арагви», — неожиданно сказал Пузырьков. — Угощаю. Табакá... — и к Вере: — Вы актриса?..

Она оглядела себя, свой будничный наряд, сказала сдержанно:

— Вагоновожатая...

— Ха-ха... Жора, что скажешь?

— Я трамвай вожу, — сказала Вера.

— Улыбка... зубы... манеры... — затараторил Пузырьков. — Меня не проведешь.

Он не мог стоять спокойно. Он подпрыгивал, дергал ногой, подмигивал загадочно.

— Ну ладно, ладно, — сказал Жора.

— Ладно, — сказал Пузырьков и захромал прочь, но тут же вернулся.

— Послушай, — сказал он уже Вере, — послушай, вы пойдете в «Арагви»?..

Вера посмотрела на Жору.

Жора смотрел в небо.

— Вы у него спроси, кто я такой, — кивнул Пузырьков на Жору.

— Ну ладно, — сказал Жора и уже без улыбки посмотрел на него.

— Аа, — сказал Пузырьков, — ваша дама... Понятно... Да вы будете сидеть с ней рядом... — и к Вере: — Пусть он скажет, какое я Люсе манто подарил!

— Ну ладно, ладно, — сказал Жора.

Пузырьков ускакал, все время оборачиваясь, пома- хивая белой ладонью.

— Черт, — сказала Вера.

— Личность, — засмеялся Жора.

— А Таня уже переехала, — сказала Вера.

Жора посмотрел в небо.

— В их комнату пока никто не въехал. Всякий хлам валяется.

Она внимательно посмотрела на него: что скажет? Как вздрогнет?.. Но Жора молчал.

— Хотите пепелище посмотреть? — спросила она. — Приходите.

— А зачем?

— Хотите, вместе пойдем туда, сейчас?.. Проводите меня, кстати...

Она сказала все это так просто... Глаза ее были полны слез. Губы чуть подрагивали. Некрасивое лицо ее было прекрасно.

— А вы не хотите поработать в кино? — спросил Жора.

— Хочу, — сказала она. — Все хочу. Я жадная.

Она наклонилась. Сорвала травинку, зеленую с желтой каймой. Протянула ему.

— Это вам, — сказала вдохновенно. — Это я вам дарю.

Он ничего не понял. Он попытался улыбнуться. Он подумал: уж не смеется ли она над ним по своему обыкновению... Но ее глаза были полны слез.

— Нравится?

Он взял травинку. Она была похожа на колпачок клоуна, да еще покачивалась в его руке.

— Она волшебная, — сказала Вера. — Видите, как она покачивается. Это для вас...

А Жоре захотелось вдруг убежать, потому что он не знал, что ему делать... Ему захотелось укрыться где-нибудь и подумать об этом. И он смотрел на травинку, а она покачивалась в его руке, зеленая, с желтой каймой. А Вера стояла рядом и, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Ее некрасивое лицо было похоже на лицо пианиста, только что оторвавшего пальцы от клавиш...

...Они дошли пешком до Арбата. Прошли по переулкам. И все это молча, заметьте. И у самого дома, в том самом старинном двореке, где Жора однажды придумал свою любовь, они остановились на минуту. И тут только Жора сообразил, что всю дорогу держал в руке травинку, зеленую с желтой каймой.

И Вера прошла чуть вперед и он увидел, какая у нее плавная походка.

Они вошли в комнату, где жили Таня и ее муж. Сначала было темно. Потом глаза привыкли. В окно бил свет дворового фонаря.

Белели на полу обрывки бумаг. Старый комод потрескивал в углу, умирая. Столик на трех ножках старался не упасть.

Жора шагнул вперед.

— Не страшно? — спросила Вера и взяла его под руку.

Они медленно прошли по комнате.

— Вы взволнованы? — спросила она насмешливо.

— Всякое пепелище волнуется, — сказал Жора.

И ему показалось, что за комодом белеет что-то.

— Зажечь свет? — спросила Вера.

Он шагнул туда, протянув вперед обе руки, как слепой.

— Свет, — сказал он, почти крикнул.

Она бросилась к выключателю.

И когда позабытая запыленная лампочка засветилась мутно, Жора увидел, как Викентий Трубников словно прикрыл ладонью глаза, прячась от резкого света.

— Ну вот, — сказала Вера. — Позабыли.

— Я пойду, — сказал Жора.

— Хотите, я вас чаем напою?.. Вы ведь холостяк... Чай... и варенье.

Они сидели в маленькой комнате Веры. Пили чай. Викентий Трубников сидел рядом. Тоже прихлебывал.

— А где ваши родители? — спросил Жора.

— Они еще во время войны... погибли, — сказала Вера.

— Что это такое, — удивился Жора, — у всех родителей нет...

— Не у всех, — сказала Вера.

— То на войне, то еще где-нибудь...

Ситцевая шторка колыхнулась на окне. Красные клубничины — по белому полю. Жора допил стакан и встал. И, наверное, потому, что комната была мала, он показался Вере особенно высоким и крепким. Но руки его уже не зависели от эффекта пространства. Они были сами по себе — крепкие и жилистые. И давно не стриженные волосы на шее переходили в косичку. И это было смешно у такого серьезного человека, как Жора.

Он стоял посередине комнаты и разводил руки, словно делал зарядку.

— Чего-то мне не хватает, — сказал он. — Хочется куда-то идти, слышать одобрение... Что то мучает меня... Может быть, подраться? А вы хитрая. Вы делаете вид, что вам хорошо. Да?..

— Вида я не делаю. И мне не хорошо, — сказала Вера.

Вдруг словно кто-то скребнул в дверь. Вера умолкла. За дверью была тишина.

— Так Таня ко мне стучалась, — сказала она.

Викентий Трубников тоже вставил слово в общий

глас. Он припомнил, как товарищи окружили его, когда он купил новое пальто, и как они смеялись над ним по-дружески, и как кто-то сказал:

— Не могу сказать, что ты, Трубников, обыватель... Но, что это нам угрожает, несомненно...

Почему?.. Из-за паршивого первого пальто?.. Первого в жизни бобрикового с собачьим мехом, подбитого черт знает чем?! Потому, что захотелось сменить шинель, пить ежедневно настоящий чай, читать газеты на белой бумаге и есть белый хлеб?.. В конце концов живот — вне классовых противоречий... Он хочет получать свое, кожа — свое, вообще тело...

— Ты красив в этом пальто!..

— Ты был красив в шинели!..

— Надо и пожить успеть...

— Жизнь есть борьба...

— Я люблю тебя, Катерина...

— Не хватает мне тебя... Не хватает...

...Вера выливали остатки чая. Жора ходил по комнате.

В дверь снова осторожно скребнулись.

— Мы снимаем кинокартину, — сказал Жора. — Жалкое банальное создание. Все заранее известно. Но большинство довольно...

— Почему это вы мне говорите? Вы там скажите, боритесь...

— Не надо громких фраз.

— Вот так все молчат, а Пузырьковы действуют...

Потом — «Арагви»...

— Маша Козлова, героиня нашего фильма, существо убогое... А актриса, которая играет ее, любит грильяж и туфли самой последней моды. Она очень счастлива, когда у нее есть туфли... такие. Она любит стоять перед вами, слегка покачиваясь на каблучках и медленно жевать грильяж...

Вера смеялась.

— ...Машу Козлову она терпеть не может, потому что та — дура и не носит таких туфель... Но эта по но-

чам плачет. Я знаю. Она плачет, сама не знает отчего. Что-то ее мучает... После каждой картины она ездит за границу с делегациями. Картины проваливаются. Она привозит оттуда керамику... Потом снова снимается... А настоящая Маша Козлова работает вагоновожатой...

— До поры, — сказала Вера, и брови у нее поднялись: кто-то опять скребнулся в дверь. Она вышла в коридор. Вернулась.

— А если бы хорошая роль? — спросил Жора.

— Хорошая?

— Хорошая...

— Хорошая?... — усмехнулась Вера.

И Жоре уже не захотелось ее убеждать. Он и сам был насмешлив, но такое...

— ...Вы и меня считаете душой? — спросила Вера.

— Вы думаете, что я пошла на трамвай, потому что было некуда идти?.. Да?..

— Можно было бы и получше что-нибудь, — буркнул Жора. — Все ведь куда-нибудь стремятся... Получше...

— А я не хочу, как все!.. Трамвай мне хорош. Он лучше, чем роль Маши Козловой, у которой на лбу написано, что она дура!..

— Жизнь-то ведь коротка...

— Мое от меня не уйдет... Я терпеливая.

Вера снова прислушалась. Потом снова пошла к дверям.

— Это я, — сказал Жора. — Я ногой вот так касаюсь пола... А вам кажется...

Вера вернулась на место.

— Ну ладно, — засмеялся Жора и сказал Трубникову: — Пора, комиссар. Пошли. — И он взял портрет и вышел, почти не простившись.

...Теперь Жора мог заниматься своими фантазиями лишь в редкие, свободные от съемок минуты.

Теперь он поставил портрет комиссара на самом видном месте, а рядом с ним — портрет девочки на пе-

пелище. Жизнь сложилась так, что они не знали друг друга, почти не знали. А Жора из своего прекрасного далека мог обозревать их обоих и раздумывать над их судьбами.

Собственная судьба его не очень занимала, хотя он и ее пытался объяснить себе самому.

Когда известный режиссер похвалил его работу в кино, Жора спросил наивно:

— Если это хорошо, почему меня берут только в плохие картины?

— Потому что каждый режиссер собирается снять лучшую, — сказал собеседник.

И Жора устыдился собственной слепоты.

Веру стали непрерывно приглашать на киностудию для проб в новые фильмы.

Жора пожимал плечами: это не его рук дело.

Пузырьков, когда появлялся, спрашивал:

— Как ваша дама поживает?.. Она не хочет сняться?..

Тогда Жора понял, кто печется о судьбе Веры.

— Зря вы это, — сказал он Пузырькову. — Ей это не нужно.

— Нет, нужно, — упрямо сказал Пузырьков. — Она ваша дама, да?.. Вы ее оберегаете?.. От меня?.. От друга?..

Жора засмеялся Пузырькову в лицо.

— Мы ни разу не были с вами в «Арагви», — сказал Пузырьков.

— Пригласите лучше Люсю, — посоветовал Жора.

— Пойдем... Вы не пожалейте...

— Я не пью, — сказал Жора.

— Кичишься! — крикнул Пузырьков шепотом.

— Я ведь не девушка, — сказал Жора.

— Почему я не нравлюсь женщинам, которые мне нравятся? — спросил Пузырьков зловецю. Но Жора не ответил. А Пузырьков сказал: — А помнишь, как вместе работали? Было спокойно... Искусство... — и совсем

вполголоса: — Ничего не знаю, что делать... Вы понял?.. Зачем я здесь?..

— Возвращайтесь обратно, — сказал Жора. — Возвращайтесь, пока не поздно.

— Номенклатура, — сказал Пузырьков и засеменял прочь.

И вот Жора расставил фотографии. Главные. Те, с которых ему следовало начинать. Они уже были привычны ему. Трубников жил в его доме полноправно. И по утрам входил в комнату, и из-под мохнатого полотенца:

— Когда б я знал!.. Когда б я ведал!..

А девочка со злым старушечьим лицом молчала. И Жоре иногда казалось, что она молча и напряженно следит за тем, как он хлеб нарезает, как маслом мажет, как отправляет кусочки в рот.

А где были живые?.. Люди с теплыми душами, возле которых можно согреться?.. Где они?..

И вновь, как в старые времена, не постучавшись, вошел Потехин. И кивнул как старому знакомцу, и сел.

— Ну что? — спросил Жора.

Потехин не был пьян. Он был трезв как стеклышко. Но что-то угнетало его, видимо. Слова, как бабочки ночные, кружились на его губах. И ни одно из них не слетало.

— Ну что? — спросил Жора. — Как Таня?

О чем можно было спрашивать? И почему он пришел?

— Вам, конечно, не понять, что человек может всем пренебречь, всем, — сказал Жора, — кроме главного.

— Послушай, — сказал Потехин, — она меня не любит, и тебя она не любит. Она хочет жить. Я знал об этом. Я думал — вытерплю...

— Ну?

— Не могу...

— А мне что?

— Ты понять должен. Ты ведь ее испортил.

«Ударить?..»

— Это, конечно, не совсем по-мужски... Но ведь ты затесался, и она уходит...

— Куда?!

— Да не куда... Просто так, уходит беспрерывно... просто так... Я уж просил... Знаешь, как я просил?..

«Что он хочет выпросить для себя?.. Почему не кричит, не топает ногами?..»

— Ты бы полз на коленях за ней! Ты бы хоть закричал! Ну что ты плачешь?..

— А я и полз, — неожиданно робко и словно смущаясь сказал Потехин и провел ладонью по коленкам (пыль, что ли, стяхнул?).

— Ну?

— ...ей-Богу, полз. Триста метров... по Кривоарбатскому...

— Пьян был, что ли?

— Что ты! Я ведь не пью. Просто так, не в себе. От отчаяния...

— Ну ладно, — сказал Жора жестко, — мне работать надо. Мне некогда тут с тобой.

Через минуту ему уже казалось, что Потехина вовсе и не было в этой комнате. Только продавленный старый стул поскрипывал недоброжелательно. А Викентий Трубников смотрел в окно и думал о своем. Это свое ведь тоже было того же сорта. Все ведь этот проклятый вопрос. Вечный... Ну, ладно. Он смотрел куда-то туда, в тридцатые годы, в тот самый туман, в котором покачивался дорогóй его сердцу силуэт Катерины. И он писал ей:

«...а здесь мороз, и тайга, и медведи. Мы живем пока что в бараках. Но уже в отдалении строятся двухэтажные корпуса стандартных домов. И цеха будущие обрели формы... Всякий раз спрашиваю: зачем я пишу тебе, а все равно пишу. Какая ты стала за эти семь лет?.. Когда остаюсь наедине с собой, удивляюсь: какие мы странные! Чего нам надо, людям?!. А когда в работе, удивляться некогда... Ведь это смешно: два любящих

друг друга человека не живут вместе, потому что точки зрения у них на предметы — разные. А может быть, это не смешно... Тут кругом — сосны да пихты. А ими всё равно любви не связать. А как бы много успели люди, если бы не приходилось личные трагедии свои гасить!.. И кто это выдумал?.. Вчера в меня стреляли. Три раза. Ночью. Когда возвращался с собрания... Я опять о том же: как быть с кровью, Катя? Раз уж на ней замешано, без нее не обойтись... А? Теперь могла быть моя кровь. Впрочем, ты человек мягкий. Тебя не переубедить... Одному я удивляюсь: как это ты, тихоня, успела высшее образование?.. Когда?.. Вот бы тебе здесь понравилось! А мой партийный заместитель, товарищ Коля Судаков, удивляется, что я кресло в кабинете не держу. Он говорит: если бы я был, обязательно поставил бы. Пусть они трепещут... А кто «они» — не сказал. Должен тебе признаться, что я, наверное, постарел: что-то мне в тепле приятно стало, мягкого хочется... Дома в валенках хожу, на огонь смотрю долго. Хочется романчик про любовь почитать... Ты не смейся, пожалуйста. Это я только тебе... Если сможешь когда-нибудь — пришли мне пачку настоящего чаю. Морковный надоел. Настоящего хочется...»

Потом он еще писал кое-какие слова. Потом отправил письмо. Потом он переобулся. Натянул сапоги. Пошел по уральской поздней осени в бобриковом пальто. Пришел в партком. Там жарко горели печки. Товарищ Коля Судаков сказал грустно:

— Там у них, в Москве, паровое отопление работает... Театры... балерины...

— Смеешься? — спросил Трубников.

— Смеюсь, — грустно сказал Коля Судаков. — Жизнь проходит... Когда я за Петлюрой гонялся, я думал, всё не так будет... Я глупый тогда был.

— Машины не было? — спросил Трубников. Ему надоело уже говорить о несовпадении юношеских предположений и будущего. Всё проще и суровее. Он уже это понял. И теперь предстояло ехать в тайгу и осмат-

ривать места будущего строительства. И он вытащил из ящика стола браунинг и сунул в карман брюк.

— Чудом ты вчера спасся, — сказал Судаков. — Это подкулачники.

Трубников ехал в машине, и в голове его вертелось сказанное некогда Судаковым там, в Москве, наверху: «Если бы я был вместо Трубникова, я бы из строительства конфетку сделал... Я когда за Петлюрой гонялся, я уже тогда это себе представлял... Я видел, какая земля наша будет!..»

— Ну как, — спросил Трубников шофера, — осилим мы эту тайгу?

— Вам видней, — сказал шофер. А потом спросил: — Говорят, хлебные карточки отменять будут?.. Правда?.. Надоело вполовину-то.

— ...Да, — сказал сам себе Жора, — не мешало бы съездить в тайгу.

И ему вдруг захотелось мучительно: сбросить с себя черный свитер и остричься по-весеннему, и всё такое дорогое — прочь, прочь привычное, теплое... Как будто только сейчас шар земной повернулся к нему своим неизвестным боком. А может быть, это простая ненормальность?!. «Все вы чего-то мечетесь... Непокойно с вами как-то...» — вспомнил он. А она?.. О, как мучителен и постоянен, как долг, этот поиск, как долг. И расплачиваться можно только нервами, только болью, только самим собой! Даже Пузырьков ищет свежей травки. Солому не хочет. Кто хочет?.. Даже Пузырьков... Даже Птичкина... Только у нее не хватает духу: ее кривым ружьем испугали однажды... Она себя боится... Даже Сытов... А Вера?.. Она посмеивается, а в глазах-то у нее — слезы. Не от лука, не от обиды, не по наущению. Все ищут. И никто не знает — что. А все равно ищут. И он, Жора, ищет. И Трубников искал. И Катерина...

И она тогда шла по Москве, и комкала в руке письмо Трубникова, и плакала, и не пыталась этого скрыть...

Слезы, они как первый гром, за которым — сразу легче дышать.

— Я понимаю, — сказал ее спутник, — я понимаю, как это больно, но ты должна понять, что есть что-то выше для человека...

— На земле живут люди, — сказала тогда Катерина вызывающе, — они живут по законам жизни... Для чего вы пытаетесь это нарушить?.. Они ведь все для себя делают, и все — для них... А вы?..

Но слезы не облегчили ее.

АНДРЕЙ СЫТОВ И ДРУГИЕ

— ...А потом, — сказала Вера, — они съехались. Кажется, так. Но это уже после письма, после этого письма... Уже через три года. Катерина приехала туда, на строительство. Кажется, так... Таня мне рассказывала, но я уже не помню... Она и сама-то понаслышке знает это всё... И ее это не очень интересует... Чужое ей это всё... А у них продолжалось... Потом Таня родилась... Они жили уже там, на Урале. Я ведь так ничего не знаю. Только несколько писем старых было у Тани. Она их берегла сначала — потом дала мне. «На, почитай». Потом — не знаю...

Жора взглянул в глаза девочки, стоящей на пепелище. Она-то должна знать продолжение. Она-то должна помнить. И вдруг Жора заметил, что злое старушечье выражение исчезло с ее лица. Она тянула худенькую шейку куда-то: наверное, на дребезжание звонка. Звонки были тревожными. И отец, которого она не помнила, торопливо одевался в передней, улыбаясь перекошенным ртом. Потом он ушел вместе с компанией молчаливых вежливых людей. Но этого она не помнила. Это отложилось где-то в глубинах ее души, чтобы через много лет проявиться, как старинная фотопленка.

И Жора видел, как внимательны были глаза девочки, словно она вслушивалась в себя. И голову чуть склонила набок. И оттуда, из глубины, вдруг раздалось:

— Ну вот, Трубникова... Расскажите, как вы помогали мужу...

— В чем? — спросила Катерина.

— В организации вредительства на стройке...

Катерина рассмеялась так, словно за ней неудачно ухаживали.

— Вы в своем уме? — спросила она смеясь.

Тот, что сидел перед ней, был русоволос, гладко причесан на пробор. Глаза у него были голубые. И подходил он на школьника, у которого ломается голос.

— Вы ведь читали его письма, — сказала Катерина, еще не веря молодому человеку.

— Мы много чего читали, — сказал молодой человек.

А Катерина подумала, что если эта чепуха будет продолжаться до вечера, а может быть, и до утра, то придется позвонить кому-нибудь, чтобы присмотрели за Таней...

— Мне нужно позвонить, — сказала она, — у меня дочь маленькая. У соседей осталась...

Он усмехнулся.

— Где у вас тут телефон? — спросила она.

— Так я жду, Трубникова.

— Чего?

— Когда вы расскажете о своей деятельности...

— Мне нужно позвонить...

Она подумала, что позвонит сначала о дочке, а потом начальнику НКВД об этом вот молоденьком прохвосте, и пусть ему всыплют.

— Ну? — сказал он нетерпеливо.

И чепуха потянулась сквозь дни, месяцы, годы...

— ...Теперь ты понял? — спросил Жора.

— Понял, — сказал Сытов из своей комнаты. — У нас на заводе тоже один с голубыми глазами есть. Он на Октябрьскую выпил однажды и мне говорит по-свойски: ты, мол, бежать не вздумай, всё равно поймаю... А благодаря того, что собака всегда след возьмет. А я ему говорю: чего?! А он говорит: ничего, мол, это я так... А я говорю: ты, голубь, не туда летишь... Он мне, значит, потом всё вне очереди путевку всучивал... А я говорю: пусть сначала Степанов едет, его черед...

Всё становится дорогим, во что вложен труд. Среди удач и неудач только пот, кровь, вдохновение — главная ценность, а то, что ими освящено — главная любовь,

а те, кому это дорого — главные друзья. Пусть это дом, или иголка, или кисет фронтовой, или первая борозда, или капля воды, которую добыли для умирающего от жажды...

— Давай твою пол-литровку, Сытов, — сказал Жора. — Давай мы ее разопьем. Пусть и комиссар с нами посидит...

— Забросил ты искусство, Жора, — сказал Сытов после первой. — Как у тебя вся история на стене хорошо висела.

— Давай еще по одной, — сказал Жора.

— А у меня любовь, — вдруг сказал Сытов. — Сменщица моя у станка. Поет — заплачешь... Дети у нас будут...

Жора молчал.

— Ты не боишься, что дети у меня будут?

— А что мне бояться?

— Шум, — сказал Сытов. Потом он достал из кармана фотографию. Женщина молодая в скверике на скамейке. В белом платье. Жмурится от солнца.

Сытов сказал:

— Сидит, как белый лебедь... Я картину такую видел. И крылья откинула — руки, стало быть. Мне женщина постепенно нравится. Сначала нравится, а после дух захватывает, а благодаря того, что я терпение имею и уважение к ее мечтам...

И тут Жора улыбнулся.

— Улыбочку твою я понимаю, что слаб ты, — сказал Сытов, не смущаясь. — Я тебе даже вот как скажу: я уже через месяц женюсь... Я ее сюда привезу, потому что она нам обоим стряпать будет... Это чтоб тебе на зависть... — он засмеялся. — Ты думаешь, мне всё просто: харчит там, одежда, или, скажем, цирк?..

— Сытов, — сказал Жора, — можешь ли ты понять, что не все друг на друга похожи?

— Это я могу, — сказал Сытов. — Только в бане, наверное, когда пару много, а все голые... — и, пожевав сала: — Я тебя к этой, к длинноногой твоей, притереть

хотел, а она чего желает?.. Ей покой нужен. Она выключается... Ты на нее сердисься?.. А я — нет. А благодаря того, что каждому — свое. Она намаялась.

— Глупости ты всё говоришь, — сказал Жора, и встал, и покачнулся. — Хочешь, я стекло выбью?

— Убьешь кого-нибудь по голове, — спокойно сказал Сытов, — это мы тоже умеем... Делов-то... Сядь-ка...

— Ты ничего не понимаешь, — сказал Жора хрипло. — Я не любил ее. Я не ее любил, а вот девочку эту, одинокую эту... Эх ты, Сытов! Я судьбу ее любил... Хочешь, я стекло выбью?

— Делов-то — стекло... А зачем спал с нею?

— Да она ушла. Ушла! — крикнул Жора, размахивая руками. — Она не осталась у меня. А потому что я не захотел, чтобы она осталась... Ну хочешь, я стекло выбью?..

— А выбей, — сказал Сытов.

И Жора сел на свое место. И засмеялся.

— Выпил на копейку, а кружишься на рупь... — сказал Сытов, — а благодаря того, что ты понять себя не можешь... Кто ты и зачем ты. А я завтра на Клязьму поеду с гитарой. Сам себе скажу чего-нибудь.

— Что же это ты скажешь?

И Сытов заглянул в синие насмешливые Жорины глаза, но своих не отвел. Глаза у Жоры были похожи на Клязьму в солнечный день.

— Чудной ты, — сказал Сытов влюбленно, — вот за это ты мне хорош, понял? Я почему постные щи не люблю?.. Понял?.. А Пузырьков твой — жулик.

— Он не жулик, — сказал Жора. — Он продукт.

— Этого я не понимаю, — сказал Сытов. — Жулик — и всё...

Жора засмеялся.

— Послушай, — сказал Сытов, — ты бы плюнул на это. Какие там вопросы?.. Чего ты всё куражишься?.. Мне бы твою голову!..

— Ах ты Сытов, Сытов, — сказал Жора.

- Вот эта, которая трамвай-то гоняет, она ведь тебя не ищет. Она сама по себе... Она строгая...
- Все ищут, Сытов.
- Одни ищут, другие ждут... Разница.
- Ждут, что достанется?
- Зачем?.. Чего им нужно, того и ждут.
- А если не дождутся?
- А и хрен с ним... Чего дешевить-то? Себе дороже... Зато такую любить можно. Не жалеть, значит, а любить... А ты говоришь.
- Ах ты Сытов!..
- Вот тебе и Сытов... Хотел я в шахматы играть научиться... Ладно, иду в кружок. Учусь... Ладно. С трех до пяти... по вторникам. И стало мне, понимаешь, противно... Почему по вторникам? Ну почему? Почему с трех до пяти?.. Почему обязательно?..
- Ах ты Сытов!..
- А в это время Вера встретила Таню у самого входа в метро.
- Ну что ты, как?..
- Живу...
- Хорошо тебе?
- Прекрасно.
- Квартира хорошая?
- Прекрасная.
- Не то что раньше, да?.. Лицо у тебя усталое какое-то...
- Устанешь тут...
- Может быть, что не так?..
- Я же тебе говорю: прекрасно. Мало ли что бывает? Ты заходи ко мне... Только днем... Ты ведь знаешь, как он к тебе относится.
- Может быть, мне лучше не заходить?
- Не знаю... Как хочешь...
- Уходи куда-нибудь. Зачем тебе тюфяк этот?
- Это он — тюфяк?

— Он к Жоре приходил, плакался. Говорил, что на коленях за тобой полз...

— А правда, полз...

— Ну, как знаешь.

— Да уж как-нибудь...

— Прощай...

— Прощай.

«Выше головы не прыгнешь», подумала Таня, входя в вагон метро.

«Каждому свое, подумала Вера. Ах, какая это глупость!» — и она вскочила в отходивший троллейбус.

А в это время Потехин поставил точку над «и». То есть, он действительно поставил точку под собственным приговором. Он швырнул записку на центр круглого обеденного стола и стал прощаться с уже почти обжитой квадратурой. Нет-нет, он не выстрелил в себя, не накинул петлю на шею... Он не из этих... Он просто осмотрел всё, и, может быть, будь у него побольше юмора, он не преминул бы церемонно раскланяться со всем, что покидал, и даже с самим собой, но с юмором у него было не всё в порядке.

И он, уходя, все-таки подумал о том, что сделал всё, что мог, и что просто остальное не в его власти, потому что человеку дается ровно столько, сколько он может, и иногда — лишь чуть больше.

Все женщины, которые попадались ему навстречу, казались счастливыми. Фонари светили ярче обычного. Троллейбусы были переполнены. Но мужчины не просто шли, а уходили. Так ему казалось. И все-таки в мире было счастье, только оно лежало не поровну на осенней земле.

«Впрочем, подумал Потехин, эта шутка для каждого разная. Мое счастье кому-то тесно. А чье-то — не для меня... Чего же мы диктуем и давим друг друга?..»

— ...Ах ты, Сытов, — сказал Жора и засмеялся.

Но Сытов ушел к себе. Он возился там с чем-то. Он говорил сам с собой вполголоса. О чем-то.

...А Таня, случайно забежав, словно ничего и не случилось, продолжала рассказывать главы своей судьбы...

— И тут я попала в детдом... И началось:

«Я хочу спать...»

«Нельзя».

«А я хочу!»

«Отбоя не было. Нельзя...»

«Купите мне вон такую куклу...»

«Бери, что дают».

«Ладно, погодите, когда вырасту, куплю себе всех кукол... Спать буду всё время!.. Я хочу есть...»

«Ты ведь уже все съела... Сколько можно?..»

«Ладно, погодите, я все-таки когда-нибудь наемся... всё себе куплю: масло, конфеты, и много белых булок, и сахару!.. Намажу белую булку маслом вот так, густо, потом в масле ложкой сделаю вмятины и полью свежим медом, зажмурюсь и откушу, и медленно буду жевать...»

«Чудовище... Сказала бы спасибо».

«Я хочу учиться дальше... Потом — в институт».

«Пойдешь в торговую школу... У нас такой порядок».

«А если я все-таки пойду в восьмой класс?»

«А кто тебя кормить будет?»

«Но почему же другие?!»

«После узнаешь».

«Ладно, погодите, вернется мой отец».

«Бедная девочка... Может, послать ее в среднюю школу в виде исключения?»

«Инструкция...»

«Мне холодно...»

«А другим не холодно?..»

«Ладно, погодите, когда буду большая, займу комнату свою, большую печь... Будет у меня жара... Все окна одеялами завешу... Буду на печке спать, в поту... И валенки у меня будут без дырок...»

Детдом остался позади. Но дух его меня сопровождал. Это ведь был особый детдом. Для детей, родители

которых не просто умерли или на войне погибли... Я как в тумане была...

«Скоро ты будешь продавщицей...»

«Спасибо...»

«Ну, довольна?»

«Спасибо...»

Я подала заявление в комсомол. Во время собрания вдруг заходит директор.

— Приняли?

— Приняли! — все кричат.

— Ну-ну... А рассказала Таня, где ее родители?..

— А причем это?

— Не мешало бы еще разок послушать... В протокол...

— Да мы все знаем!..

— А все-таки не мешало бы...

Я плачу. Все молчат. Помучили меня потом, но приняли... Радости не было. Я торгую галантереей. Я хорошая продавщица. Потом ночью магазин грабят. Меня вызывают к следователю.

— А где ваши родители?

— Будто вы и не знаете...

— Где?

— А причем мои родители?

— Видно птичку, — говорит следователь. — Может быть, вы за них мстите?..

— Да что это вы!

— Яблочко от яблоньки...

На мое счастье раскрыли жуликов, и пошла я, куда глаза... Потом — замужество... Потом вернулась мать... Чужая женщина... вернулась. Стали привыкать, оттаивать. Я уже отъелась, одевалась, но мало... мало... мало мне этого, я еще хочу, я не всё еще получила. Мало, мало... Я читаю, гуляю, всё себе позволяю... Мало, мало... Потом — ты...

— Ты так об этом говоришь, словно оправдываешься в чем-то, — сказал Жора.

— А ты все-таки едешь?

— Не еду, а уйду.

— Тебе это нужно?

— Просто необходимо.

— И мне, наверное, тоже. Только я не могу...

— Тебе не нужно. Это мне нужно, а тебе — нет...

Каждому ведь — свое...

— А мне?..

— Ну вот, тебе... А тебе, может быть, для этого нужно съесть пригоршню клюквы... Почему мне знать? А вот я должен пойти и размяться, — Жора засмеялся. — А другому, может быть, нужно стать дровосеком...

— У тебя специальность такая хорошая. Оператор... Кино... Живи в свое удовольствие...

Жора думал, что он еще возьмет, кроме белья... Надо как можно меньше. Только, может быть, фотографии, что давно сняты со стены, руки, как единственное воспоминание о наивности и честных ошибках...

— Потехин месяц назад ушел от меня. Наверное, тоже понял...

— Где же он?

— Вернулся.

— Ты рада?

— А мне всё равно... Впрочем, одной, конечно, хуже...

...Еще он возьмет с собой кусок хорошего мыла, на первое время...

— Ты будешь там научным работником?

— Что ты!.. Фотограф экспедиции...

— Это надолго?

— На год. Впрочем, не знаю.

...Нет, он не возьмет с собой трех сорочек... Только одну. И он будет стирать ее и надевать снова. А потом купит новую...

— Ну, прощай.

— Ты молодец, что зашла. Я сначала разволновался, когда тебя увидел...

— Может быть, ты останешься?.. Что-то есть детское в этом предприятии...

— Вот и чудно!.. Значит, это мне действительно надо.

— Ну, прощай.

— Это мне действительно надо...

— Может быть, писать тебе?

— Ну что ж, пиши...

— Ну, прощай...

— Впрочем, не надо... Я ведь не отвечу...

— Ты хоть сам напиши два слова.

— Не надо, не надо...

— Ну, прощай...

— Будь счастлива.

И он долго слышал, как она медленно спускалась по лестнице. «Так, так, так...» стучали ее каблукы. «А как она была одета?» подумал он, но не вспомнил. Его руки сами потянулись к рюкзаку. Он пошарил в глубине его. Выбрал то, что было отвергнуто. Потом взял чемоданчик. Стал торопливо укладывать туда фотографии. И посмеивался при этом. И еще он посмеивался, когда вспомнил растерянное лицо руководителя экспедиции. Жору оформили кинооператором по научной съемке. А через неделю, когда всё уже было на мази:

— Нам сняли должность оператора.

— Ну и что же?

Руководитель похлопывал себя по бокам от смущения.

— Ну и что же, что сняли? — спросил Жора.

— Вы ведь уже ушли со студии?

— Ушел.

Смущение выплескивалось через край.

— Может быть, вы согласились бы — фотографом?

— Фотографом?

— Да. К сожалению, простым фотографом. Ставка ниже...

— Да черт с ней!.. Простите. Мне всё равно.

Руки руководителя взлетели вверх в радостном изумлении.

— Послушайте, — сказал он Жоре несколько позже, — я думал, что вы на меня в суд подадите...

— Мне всё равно.

Потом Жора услышал, как помощник руководителя сказал своему шефу:

— Может быть, он просто никудышный специалист? Почему он так спокойно согласился?..

Но Жора не стал спорить и разубеждать заместителя. Всё это было смешно. И необычно. Дух захватывало...

Теперь он начнет всё снова. Всё снова. Ему некогда разубеждать остальных. Ему некогда сглаживать их сомнения. Пусть каждый идет, как ему предназначено, если он, конечно, настоящий человек. И вот тогда, когда он почувствует себя способным творить чудеса, пусть он и сотворит свое чудо, даже самое маленькое, даже самое пустяковое, ибо пустяковых чудес все-таки не бывает. И Викентий Трубников смотрел прямо в глаза Жоре. Он смотрел немного грустно, но твердо. Он смотрел так, как, наверное, смотрел тогда, там, перед своим последним шагом.

— ...Ух, Жора, — сказал Сытов, прощаясь, — крепкий ты, и всё в тебе живое... Книги я твои буду читать, благодаря того, что у меня нужда... Ну, Жорка!.. Кто это Америку-то открыл?.. Вот давай... Теперь давай... Жора... Потом, когда ты все про людей сфотографируешь, мы в книгу отзывов запишем свое мнение... И чтобы вся история, и моя личная, благодаря того, что я тоже продукт, и, конечно, без подписи, была бы всем, чтобы аж дух спирало бы!.. Ну, Жора...

Жора в последний раз оглядел комнату, где он неоднократно спотыкался за свои тридцать лет. Это была все-таки большая комната, если учесть, какой разбег взял он однажды. И это была все-таки светлая комната, потому что из нее вырвались однажды какие-то пестрые

краски, чтобы мучать, будоражить, звать и не даваться... И это был старый дом, и никто не смог бы гарантировать его долговечности, да это вовсе и не требовалось. Он уже успел сотворить свое маленькое чудо, может быть, даже и не понятное другим.

Возле вагона, в котором он должен был ехать, Жора встретил руководителя экспедиции. Тот стоял, и бил себя по бокам обеими руками, и топтался неуклюже.

— Представьте, — сказал он, задыхаясь, — в последнюю минуту нам отказали в ставке фотографа!..

— Ну и что же? — сказал Жора и счел нужным положить свою ладонь на плечо этому человеку.

— Боже мой, что мне делать с вами?!

— Ну возьмите меня чернорабочим, — посоветовал Жора. — Разве нельзя меня чернорабочим?.. Я ведь уже приготовился... ехать...

— И вы согласитесь?!

И он поскакал вдоль вагонов к своему замку, который шел навстречу.

И Жора не слышал, как зам сказал руководителю:

— Там рядом граница... Почему это ему всё равно? Ведь он будет получать еще меньше!.. Может быть, у него свои планы?..

И они вместе посмотрели на Жору. Он стоял у дверей вагона рядом с какими-то людьми и смотрел на вокзал. Он был в черном свитере, в черных брюках, в лыжных ботинках. В руках у него были рюкзак и небольшой чемоданчик... И даже отсюда было видно, какие у него синие глаза...

— Ах, да что вы в самом деле!.. — сказал руководитель экспедиции. — Граница, граница...

— Ну смотрите, — нехорошо как-то предупредил зам.

— Ах, да что вы в самом деле, — сказал руководитель. — Просто неудачная любовь...

— Послушайте, — сказал он Жоре, — значит, вы в самом деле?..

— Послушайте, — сказал Жора, — я не на должность еду, я просто еду... Вы понимаете?.. Еду. Я не мальчишка взбалмошный, не искатель приключений, я не от несчастной любви... Вы понимаете?..

И в это время он увидел, как по перрону семенит Пузырьков.

— Эгей! — крикнул Жора.

И Пузырьков подбежал к нему по-своему, слегка подпрыгивая, и пожал Жоре руку.

— Опоздал, — сказал он, — сейчас друга встретил... Когда мы Днепр форсировали...

И он увидел, как улыбнулся Жора.

— Вы напрасно смеетесь! — сказал он обиженно. — Вы просто меня не понял...

— Вы разве были на фронте?

— Был, — сказал Пузырьков, — был. На втором Украинском... Тогда еще... Марш на Запад... История...

— Вы что, в обозе там?..

— Жора, вы чудак, — сказал Пузырьков. — Вы меня не в том ракурсе себе представил... Жаль, что мы в «Арагви» не были...

— И раны были? — спросил Жора.

Пузырьков посмотрел на него досадливо, затем торопливо вздернул штанину...

— Ах! — воскликнула какая-то женщина.

— Ну надо же! — сказала девушка, стоящая с ними рядом, — форменный псих...

И Жора увидел вместо правого колена красно-синий нарост и тут же понял, почему так странно, пританцовывая, двигался Пузырьков по земле...

— Он со мной в разведку ходил, — сказал Пузырьков, — потом меня на спине волочил, когда я подорвался... — и он кивнул в сторону вокзала. — Встретились.

Пузырьков взглянул на Жору, и что-то жалобное скользнуло по его круглому лицу. А девушка, стоящая рядом, смотрела на Пузырькова с любопытством и с недоумением.

— Значит, вперед? — спросил Пузырьков.

— Да.

— Туда, в тайгу?

— Да.

Потом молчание.

— Вещей мало.

«Разве это мало?» — подумал Жора.

— Это не мало... Вот здесь те фотографии...

— Ого!.. И я тут есть?.. Мои руки?..

Жора открыл чемоданчик. Поставил его на асфальт. Сунул Пузырькову заветную пачку.

И тот сразу нашел свое. И Жора увидел, как вдруг исказилось его лицо.

— Какие руки были! — сказал Пузырьков и потряс фотографией. — Какие руки были золотые, — сказал он и заплакал.

«Это уже ни на что не годится...» — подумал Жора и вдруг увидел, как плачет Пузырьков.

— Какие руки... — сказал Пузырьков, размазывая слезы по щекам.

«Наверное, есть чего плакать, подумал Жора, да, наверное...»

— Меня шатает буря, — сказал Пузырьков, успокоившись, — вы понял?.. Буря. Эта буря называется: «чепуха на постном масле». Вы понял?.. Я хочу быть администратором в кино. Никаких семечек и шелухи... Культура. Вы понял?.. Свежие газеты, лучшие кинокартины... Номенклатура... Выдумали, монументы!.. Какие руки были!..

И тут подошло время садиться по вагонам.

И уже из раскрытого окна Жора смотрел на платформу. И поезд медленно отходил. И Пузырьков медленно шел следом, размахивая пачкой фотографий.

«Хорошо, что я и это оставил», подумал Жора.

И тут Пузырьков, словно опомнившись, закричал и стал торопливо засовывать фотографии в чемоданчик...

— Эй, эй! — кричал он и смешно бежал следом, припадая на правую ногу.

Но Жора покачал ему рукой, что обозначало «не надо», либо — «прощай...»

И еще не потеряв из виду пританцовывающей фигурки Пузырькова, он словно заново предстал перед старым домом в Арбатском переулке, где он побывал за два часа до отъезда. Там было шумно и весело. Весело, как на ярмарке. И грудились вокруг нарядно одетые люди с грустными выражениями на лицах. И подъемный кран торчал перед стеной дома, словно примериваясь... Все жители дома, бывшие жители, собрались тут же, только Тани не было...

Наконец подъемный кран качнул стрелу, и чугунная труба ударила о стену. И тотчас дом вскрикнул. Но остался стоять. И пожилая женщина рядом с Жорой прикрякнула даже и вытянула шею... Но дом продолжал стоять...

— А ну, еще разик! — крикнула эта женщина и еще сильнее вытянула шею.

— Не жалко? — спросил Жора.

— Чего его жалеть?..

И кран ударил снова. И облако пыли вырвалось... Штукатурка, бревна, обрывки обоев — всё перемешалось.

— Давай! — крикнула женщина.

Тумба тупо проламывала дому ребра. Потом стена рухнула. Кто-то закричал, глухо и странно. И запахло сыростью и духами.

И снова удар.

И снова — крик, и еще крики, далекие и неизвестно чьи.

Пахло духами. Дешевыми духами, что продаются в зеленых бутылочках с яркими этикетками. Сладко пахло духами. А дом оседал, скрипел, вскрикивал. Какие-то тени метались в облаках пыли, воздевая белые руки.

Пахло духами.

Перекатившись через голову, словно клоун в цирке, рухнула на зелень двора деревянная лестница из бывшего подъезда... Рухнула и застыла. Но скрип ее еще долго стоял в ушах, как много лет. Особенно сильно она скрипела под чужими ногами: они ведь не знали, куда ступать, чтоб меньше было шума. Теперь она успокоилась. И снова пахло духами, как озоном после грозы...

— Так его! — кричала женщина и убирала со лба пряди волос, чтобы лучше видеть. — Чего его жалеть!..

И дом разваливался. Но всё сильнее пахло духами. И этот запах был активнее запаха пыли, старости, пота, подсолнечного масла.

Тепло, привычное и вековое, постепенно поднималось к небу. Кирпичи и бревна холодели. Бульдозер сгреб их в одну кучу. Они лежали опять все вместе, рядом, но дома уже не было.

Пожилая женщина плакала. Она уже не кричала восторженных слов...

Дома не было. Только по-прежнему сильно пахло духами, что продаются в зеленых бутылках с яркими этикетками.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Ну вот. Я рассказал об этих людях то, что знал. Может быть, немного больше того, что они рассказывают о себе сами. Я не знаю, как сложится их дальнейшая жизнь. Я знал их в то самое время, когда в их жизни не происходило ничего сверхъестественного, необычного. Я старался не распространяться о том, что их связывает друг с другом, потому что это само собой разумеется и общеизвестно. Мне просто хотелось выяснить, насколько им необходимо жить, и если действительно необходимо, то как им видится это и видится ли... Ибо перед каждым есть нечто большее, чем просто суета сует, главное, но оно никогда не раскрывается полностью, потому что надо же и потомкам оставить что-нибудь.

1964 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Бедный Авросимов (<i>роман</i>)	7
Фотограф Жора (<i>маленький роман</i>)	333